

и  
о  
с  
к  
в  
а

# Москва

1

1961

1

1961

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ  
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ  
И  
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ  
ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ

ГОД ИЗДАНИЯ  
ПЯТЫЙ

# Москва

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ РСФСР И МОСКОВСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ

РЕДАКЦИОННАЯ  
КОЛЛЕГИЯ

Е. Е. ПОПОВКИН, *главный редактор*, Л. С. ОВАЛОВ, А. А. ЦЫГУЛЕВ, *заместители главного редактора*, Б. С. ЕВГЕНЬЕВ, Е. Ф. КНИПОВИЧ (*отдел критики*), В. Л. КУЛЕМИН (*отдел поэзии*), Е. В. ЛЕВАКОВСКАЯ (*отдел прозы*), Л. В. НИКУЛИН, С. А. САВЕЛЬЕВ (*ответственный секретарь*), П. К. ШАРИ (*отдел очерка и публицистики*), М. А. ШОЛОХОВ

Художественный редактор  
Н. И. БОБКОВА, технический  
редактор Г. Ю. ДУБМАН

Адрес редакции:  
Москва Г-2, Арбат, 20.  
Телефоны: Г 1-78-01  
Г 1-06-86

Рукописи объемом меньше печатного листа не возвращаются

Подписка на журнал принимается во всех учреждениях Министерства связи

ГОСУДАРСТВЕННОЕ  
ИЗДАТЕЛЬСТВО  
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ  
ЛИТЕРАТУРЫ

В ЭТОМ НОМЕРЕ:

**"ПОНЕДЕЛЬНИК-  
ДЕНЬ ТЯЖЕЛЫЙ"**

*Родинзон  
на острове*

**НОЛЬ ТРИ**

**ПУТЕШЕСТВИЕ  
В ДВЕ ТЫСЯЧИ ШАГОВ**

*Московский*  
**КАЛЕЙДОСКОП**

**ПРОГУЛКИ  
ПО МОСКВЕ**

*Моя  
новая  
роль*

**1**

**1961**

## СОДЕРЖАНИЕ

<b>ОБРАЩЕНИЕ К НАРОДАМ ВСЕГО МИРА . . . . .</b>	<b>3</b>
<b>ЖИЗНЬ ПОБЕДИТ ВОЙНУ. А. Маресьев. БДИТЕЛЬНОСТЬ, ЕДИНСТВО И НАСТОЙЧИВОСТЬ.— М. Кедров. ВО ИМЯ СВЕТЛОГО БУДУЩЕГО.— Б. Иогансон. УМНОЖИМ СВОИ УСИЛИЯ В БОРЬБЕ ЗА МИР . . . . .</b>	<b>8</b>

### *ПРОЗА*

<b>Арк. Васильев. «ПОНЕДЕЛЬНИК — ДЕНЬ ТЯЖЕЛЫЙ». Роман-фельетон . . . . .</b>	<b>13</b>
<b>Нора Адамян. НОЛЬ ТРИ. Повесть . . . . .</b>	<b>80</b>
<b>Евгений Пермяк. ДЕФИЦИТНОЕ ДАРОВАНИЕ. Рассказ . . . . .</b>	<b>134</b>
<b>Сергей Львов. ПУТЕШЕСТВИЕ В ДВЕ ТЫСЯЧИ ШАГОВ. Очерк . . . . .</b>	<b>142</b>

### *СТИХИ*

<b>Борис Ручьев. С ВЫСОТЫ ОКРЫЛЕННОЙ РОССИИ . . . . .</b>	<b>10</b>
<b>Анатолий Софронов. УМЕЙ ЛЮБИТЬ . . . . .</b>	<b>79</b>
<b>Александр Решетов. Я НЕ ЛЮБЛЮ БУМАЖНЫЕ ЦВЕТЫ . . . . .</b>	<b>132</b>
<b>Николай Рыленков. ЗЕМНОЕ ТЕПЛО . . . . .</b>	<b>140</b>

### *ЗАМЕТКИ ПУБЛИЦИСТА*

<b>Борис Агапов. РОБИНЗОН НА ОБИТАЕМОМ ОСТРОВЕ . . . . .</b>	<b>162</b>
--	------------

### *ДЕЛА И ЛЮДИ СЕМИЛЕТКИ*

<b>Л. Дарова. ЛАК И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ . . . . .</b>	<b>180</b>
--	------------

### *✓ ЖИВОЕ ПРОШЛОЕ*

<b>Бор. Ефимов. ТУШЬЮ И КАРАНДАШОМ . . . . .</b>	<b>184</b>
<b>П. Ухов. ЗАГАДКА ПУШКИНА . . . . .</b>	<b>213</b>

### *ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА*

<b>Е. Сурков. ЛЕОНИД ЛЕОНОВ О ТОЛСТОМ . . . . .</b>	<b>198</b>
<b>И. Гринберг. ДЕЙСТВИЕ СЛОВОМ . . . . .</b>	<b>201</b>
<b>В. Рымашевский. ИДИ В НАСТУПЛЕНИЕ (206).— Л. Аннинский. НАКОПЛЕНИЕ ИСТИНЫ (207).— Б. Дубровин. «И БОЛЬШИМ И ДЕТАМ» (208).— Евг. Леваковская. ЛУННАЯ ДОРОГА (209).— А. Мишин. РЕВИЗИОНИСТСКИЕ ВЫДУМКИ (209).— Вл. Бахтин. СТИХИ О СОЛНЦЕ, О ВЕСНЕ (212).— А. Хайлов. ОБЫКНОВЕННАЯ РОМАНТИКА (214).— ЧИТАЛИ ЛИ ВЫ? (211)</b>	

### *ИСКУССТВО*

**МОЯ НОВАЯ РОЛЬ. Н. Мордвинов (145), Э. Быстрицкая (155), В. Этуш (167), Т. Лаврова (170), Э. Марцевич (182), Р. Губина (183), В. Козлов (197), И. Кваша (203). Интервью и фото Елены Дрейер**  
**НА АТТЕСТАТ ЗРЕЛОСТИ. Выставка дипломных работ студентов художественных вузов СССР. (Вклейка)**

### *ЛЮБИТЕЛЯМ СПОРТА*

<b>А. Флеровский. БУДЕМ ОПТИМИСТАМИ! Заметки о хоккее . . . . .</b>	<b>216</b>
---	------------

### *ПРОГУЛКИ ПО МОСКВЕ*

<b>З. Хирен. ВЕЧЕР В ГОСТИНИЦЕ «УКРАИНА» . . . . .</b>	<b>220</b>
--	------------

### *МОСКОВСКИЙ КАЛЕЙДОСКОП*

**ПТИЦЫ ЗАСЕЛЯЮТ ГОРОД (156).— ЧУДЕСНЫЙ ПРИБОР (174).— ПИОНЕРСКИЙ ЗАВОД (176).— ДАР ДРУЖБЫ (222).— МАСТЕР ЗЕЛЕННОГО ПОЛЯ (224)**

### *ЮМОР*

<b>А. Волков. МЕЖДУ СТРОК. Ультракороткие рассказы . . . . .</b>	<b>161, 179, 197</b>
--	----------------------

---

# ОБРАЩЕНИЕ К НАРОДАМ ВСЕГО МИРА

Мы, представители коммунистических и рабочих партий пяти континентов мира, собравшиеся в Москве в 43-ю годовщину Великой Октябрьской социалистической революции, преисполненные чувства ответственности за судьбы человечества, обращаемся к вам с призывом **о всеобщей борьбе в защиту мира, против угрозы новой мировой войны.**

Три года тому назад коммунистические и рабочие партии обратились к народам всего земного шара с Манифестом мира.

С тех пор силы мира одержали выдающиеся победы в борьбе против поджигателей войны.

И сегодня с еще более твердой уверенностью в победе дела мира мы можем выступить против военной опасности, которая грозит миллионам мужчин, женщин и детей. Никогда еще в истории человечества не было столь реальных шансов претворения в действительность вековых чаяний народов — жить в условиях мира и свободы.

Перед лицом угрозы военной катастрофы, которая вызвала бы огромные жертвы, гибель сотен миллионов людей, превратила бы в развалины основные центры мировой цивилизации, вопрос о сохранении мира больше, чем когда бы то ни было, волнует все человечество.

Мы, коммунисты, боремся за мир, за всеобщую безопасность, за такие условия, в которых все люди и все народы будут пользоваться благами мирной и свободной жизни.

Цель каждой из социалистических стран в отдельности и всего социалистического содружества в целом состоит в том, чтобы обеспечить прочный мир для всех народов.

Социализм не нуждается в войне. Историческая борьба между старым и новым строем, между социализмом и капитализмом должна решаться не путем мировой войны, а в мирном соревновании, в соревновании за то, какой общественный строй добьется более высокого уровня экономики, техники и культуры, обеспечит народным массам наилучшие условия жизни.

Мы, коммунисты, считаем своим священным долгом сделать все, что в наших силах, чтобы спасти человечество от ужасов современной войны.

Все социалистические страны, следуя учению великого Ленина, положили в основу своей внешней политики принцип **мирного сосуществования** государств с различным общественным строем.

В нашу эпоху у народов и государств только один выбор: мирное существование и соревнование социализма с капитализмом — или чело-векоубийственная ядерная война. Иного пути нет.

Откуда исходит угроза миру во всем мире?

О мире говорят все правительства, но в счет идут не слова, а дела.

Как и в прошлом, в настоящее время организаторами и инициаторами агрессивных войн являются реакционные, монополистические и военные круги империалистических стран. Миру угрожает политика правительств империалистических держав, которые, вопреки воле своих народов, навязывают странам губительную гонку вооружений, раздувают «холодную войну» против социалистических и других миролюбивых государств, подавляя свободололюбивые стремления народов.

### **ПУСТЬ ГОВОРЯТ ФАКТЫ!**

Народы приветствовали предложения о всеобщем, полном и контролируемом разоружении, выдвинутые Советским Союзом и горячо поддержанные всеми социалистическими странами. Кто противится осуществлению этих предложений? Правительства империалистических государств во главе с Соединенными Штатами Америки, которые вместо контролируемого разоружения предлагают контроль над вооружением и пытаются превратить переговоры о разоружении в пустую болтовню.

Народы радуются тому, что три великие державы вот уже два года не проводят испытаний ядерного оружия. Кто противится тому, чтобы был сделан новый шаг и было принято решение об окончательном запрещении этих смертоносных испытаний? Правительства империалистических держав, которые без конца провозглашают свое намерение возобновить испытания атомного оружия и постоянно угрожают сорвать переговоры об их запрещении, на которые они вынуждены были пойти под давлением народов.

Народы не хотят, чтобы на их суверенных территориях оставались иностранные военные базы; они выступают против агрессивных военных пактов, которые ограничивают независимость их стран и ставят их в опасное положение.

Кто противится этому?

Это правительства государств атлантического блока, которые предоставляют западногерманским милитаристам и реваншистам военные базы на чужих территориях, дают им в руки оружие массового уничтожения, форсируют атомное вооружение войск НАТО.

Это правящие круги Соединенных Штатов Америки навязали агрессивные военные пакты Японии, Пакистану и другим государствам Среднего и Дальнего Востока, подстрекают их против миролюбивых стран, оккупируют Южную Корею и превратили ее в свой военный плацдарм, возрождают японский милитаризм, вмешиваются во внутренние дела Лаоса и Южного Вьетнама, поддерживают голландских империалистов в Западном Ириане, бельгийских — в Конго, португальских — в Гоа и других колонизаторов, готовят вооруженную интервенцию против кубинской революции, втягивают в военные пакты страны Латинской Америки.

Это США оккупируют китайский остров Тайвань, постоянно засылают свои военные самолеты в воздушное пространство Китайской Народной Республики и одновременно попирают ее законное право иметь свое представительство в Организации Объединенных Наций.

Готовые к действию ракетные установки, заполненные ядерным оружием склады, курсирующие в воздухе самолеты с водородными бомбами на борту, плавающие в морях и океанах готовые к нападению военные корабли и подводные лодки, сеть военных баз на чужих территориях — вот как выглядит современная практика империализма. В такой

обстановке любая страна земного шара, большая или малая, может быть внезапно охвачена пламенем ядерной войны.

Империализм толкает мир на грань войны ради эгоистических интересов горстки крупных монополий и колонизаторов.

Враги мира распространяют лживые измышления о мнимой «коммунистической агрессии». Такая ложь нужна им для того, чтобы скрыть свои подлинные цели, парализовать волю народов и оправдать в их глазах гонку вооружений.

### **РАБОЧИЕ, КРЕСТЬЯНЕ, РАБОТНИКИ УМСТВЕННОГО ТРУДА! ЛЮДИ ДОБРОЙ ВОЛИ ВО ВСЕМ МИРЕ!**

Для человечества нет в наши дни более неотложной задачи, чем борьба против угрозы ракетно-ядерной войны, за всеобщее и полное разоружение, за сохранение мира. Нет в наши дни более благородного долга, чем участие в этой борьбе.

Возможен ли прочный мир во всем мире?

Мы, коммунисты, отвечаем:

**Война не является неизбежной, войну можно предотвратить, мир можно защитить и упрочить.**

Это наше убеждение продиктовано не только нашей волей к миру и ненавистью к поджигателям войны. Возможность предотвращения войны вытекает из реальных фактов новой обстановки в мире.

Все более решающим фактором современности становится мировая социалистическая система. Охватывающая свыше одной трети человечества, социалистическая система, ее главная сила — Советский Союз — использует свою непрерывно растущую экономическую и научно-техническую мощь, чтобы сковывать действия империализма, связывать руки сторонникам военных авантюр.

Международное рабочее движение, высоко несущее знамя борьбы за мир, повышает бдительность народов, вдохновляет всех честных людей на земле на активные действия против агрессивной политики империалистов.

Многочисленные народы Азии, Африки и Латинской Америки, завоевавшие свою свободу и политическую независимость, и народы, добивающиеся национальной свободы, становятся все более активными борцами за мир, естественными союзниками миролюбивой политики социалистических стран.

За мир и мирное сосуществование выступают нейтральные государства, которые не соглашаются с агрессивной политикой империалистов.

Всемирное движение сторонников мира объединяет ныне миллионы людей. В каждой стране участники этого движения стремятся защитить свою родину от нового военного пожара.

Все эти миролюбивые силы, сплотившись на решительную борьбу, в состоянии сорвать преступные военные планы, сохранить мир и укрепить дружбу между народами.

Мир не приходит сам собой. Его можно защитить и упрочить только совместной борьбой всех миролюбивых сил.

**Мы, коммунисты, обращаемся с призывом ко всем трудящимся, к народам всех континентов:**

Боритесь за разрядку международной напряженности и мирное существование, против «холодной войны», против гонки вооружений! Если огромные средства, растрачиваемые на вооружение, использовать в мирных целях, это позволило бы улучшить положение народных масс, сократить безработицу, поднять заработную плату и жизненный уровень, увеличить жилищное строительство, шире развернуть социальное страхование.

Не допускайте расширения атомных вооружений, вооружения германского и японского милитаризма оружием массового уничтожения!

**Требуйте заключения мирного договора с двумя германскими государствами и превращения Западного Берлина в демилитаризованный вольный город!**

**Боритесь против попыток правительств империалистических держав втянуть новые страны в холодную войну, в орбиту военных приготовлений!**

**Требуйте ликвидации иностранных военных баз и вывода войск, находящихся на территориях других государств, и запрещения создания новых военных баз. Боритесь за освобождение стран от навязанных им агрессивных военных пактов! Добивайтесь соглашений о зонах, свободных от ядерного оружия!**

**Не дайте задушить свободу героического народа Кубы ни путем экономической блокады, ни путем вооруженной интервенции американских монополий!**

**Мы, коммунисты, борясь за дело рабочего класса и народов, протягиваем руку социал-демократам, членам других партий и организаций, выступающим за мир, всем членам профессиональных союзов, всем патриотам: Действуйте вместе с нами в защиту мира, за разоружение. Добьемся согласованных действий!**

**Создадим общий фронт борьбы против подготовки империалистов к новой войне!**

**Будем совместно защищать демократические права и свободы, бороться против темных сил реакции и фашизма, против расизма и шовинизма, против всевластия монополий, против милитаризации в экономике и политической жизни.**

**Борьба народов за свою свободу и независимость ослабляет силы, стремящиеся к войне, и умножает силы мира.**

**К новой жизни пробуждается Африка, народы которой больше всех страдали под бичом колониального рабства и варварской эксплуатации. Создавая свои независимые государства, народы Африки выходят на историческую арену как молодая, все более самостоятельная и миролюбивая сила.**

**Но обреченный историей колониализм еще не уничтожен до конца.**

**Грубое насилие и террор преграждают путь к свободе народам Восточной Африки — в британских и португальских колониях. В Южно-Африканском Союзе свирепствует расистский режим. Вот уже шесть лет мужественный алжирский народ борется за право на национальную независимость, истекая кровью в войне, навязанной ему французскими колонизаторами, которых поддерживают их атлантические сообщники. В Конго империалисты не брезгают никакими средствами, чтобы путем мошеннических махинаций и подкупов свергнуть законное правительство и передать власть своим послушным марионеткам.**

**Народы, завоевавшие право на самостоятельное государственное существование, продолжают вести тяжелую борьбу против колониализма в новых его формах, против американских и западногерманских колониалистов, против старых английских, французских и других угнетателей, пытающихся любой ценой удерживать в своих руках естественные богатства, шахты и плантации, помешать промышленному развитию освободившихся стран, навязать им продажные и реакционные правительства.**

**Братья в странах, освободившихся от колониализма, и в странах, борющихся за свое освобождение!**

**БЬЕТ ПОСЛЕДНИЙ ЧАС КОЛОНИАЛИЗМА!**

**Мы, коммунисты, с вами! С вами могучий лагерь социалистических государств!**

**Вместе с вами мы требуем немедленного и безоговорочного признания за всеми народами права на независимое существование.**

Пусть богатства ваших стран и усилия трудящихся будут обращены только на благо ваших народов!

Ваша борьба за полный суверенитет и экономическую независимость, за свою свободу служит священному делу мира!

**МЫ, ПРЕДСТАВИТЕЛИ КОММУНИСТИЧЕСКИХ И РАБОЧИХ ПАРТИЙ, ОБРАЩАЕМСЯ С ПРИЗЫВОМ**

к мужчинам, женщинам и молодежи,

к людям всех профессий и общественных слоев,

ко всем людям, независимо от их политических убеждений и вероисповедания, независимо от их национальности и цвета кожи,

ко всем, кто любит свою родину и ненавидит войну.

Требуйте немедленного запрещения испытаний, производства и применения ядерного оружия, а также других видов оружия массового уничтожения.

Требуйте немедленного заключения договора о всеобщем, полном и контролируемом разоружении.

Пусть современная наука и техника не содействуют больше производству орудий смерти и уничтожения, пусть они служат на благо людей, прогрессу человечества!

Пусть вместо военных группировок восторжествуют дружественное сотрудничество, широкий торговый и культурный обмен между всеми странами!

В нашу эпоху

**СИЛЫ МИРА ПРЕВОСХОДЯТ СИЛЫ ВОЙНЫ!**

Народы добьются благородной и желанной цели — отстоят мир, если они объединят свои усилия и будут настойчиво и активно бороться за мир и дружбу между народами.

Коммунисты отдадут этому делу все свои силы.

**МИР ПОБЕДИТ ВОЙНУ!**



## **ЖИЗНЬ ПОБЕДИТ ВОЙНУ**

**А. Маресьев**

*Герой Советского Союза*

### **БДИТЕЛЬНОСТЬ, ЕДИНСТВО И НАСТОЙЧИВОСТЬ**

Заявление Совещания представителей коммунистических и рабочих партий 81 страны и Обращение к народам всего мира — это развернутая программа борьбы за всеобщий мир и призыв к сплочению в этой борьбе.

В настоящее время силы мира способны остановить любого агрессора. Самое верное оружие сторонников мира — неустанная бдительность, единство и настойчивость.

И я как бывший участник минувшей войны, который на себе испытал самые ужасные ее последствия, всецело присоединяю свой голос к призыву всех советских людей, идущих в едином строю вместе со всеми народами в борьбе за мир, против гонки вооружений, за устранение опасности ядерной войны.

**М. Кедров**

*Народный артист СССР*

### **ВО ИМЯ СВЕТЛОГО БУДУЩЕГО**

Сколько надежд, мыслей, пожеланий возникает у советских людей в связи с приходом Нового года!

И надежды эти тем более велики, мысли яснее и пожелания горячее, чем ошутимее успехи нашей страны в строительстве коммунизма, в выполнении грандиозной семилетней программы.

Именно поэтому с особой остротой перед советскими людьми, как и перед всеми простыми людьми земного шара, встает вопрос о мире. Дело мира, забота о счастье и благе человечества объединяют людей разных национальностей и различных государственных систем.

Но жизнь складывается так, что мир не приходит сам собой. Нужно приложить много усилий, чтобы из области мечтаний и страстного желания народов он навсегда вошел в нашу действительность.

В этом смысле очень важным документом, действенной программой борьбы за мир является Обращение к народам всего мира, принятое представителями коммунистических и рабочих партий — могучих организаций, которые ведут за собой более половины человечества под знаменем борьбы за мир.

Именно поэтому Обращение к народам всего мира находит горячую поддержку и самый живой отклик в сердцах людей.

Светлое будущее, о котором мечтает каждый советский человек, несовместимо с мыслями о войне. Нам, работникам искусства, которые по самому смыслу своей деятельности призваны освещать словно лучом

прожектора наше будущее, для которых нет ничего благороднее и выше, чем воспитание людей для этого будущего.— хочется, чтобы Новый год принес уверенность в прочном мире на всей земле.

## **Б. Иогансон**

*Народный художник СССР,  
президент Академии художеств СССР*

### **УМНОЖИМ СВОИ УСИЛИЯ В БОРЬБЕ ЗА МИР**

Борьба за мир является основой политики народов Советского Союза. Это понятно всему прогрессивному человечеству, понятно всем людям, радующимся свету солнца, благоуханной природе, радостному труду, детской улыбке, радующимся всему тому, от чего легко дышится. Имя этому — мир, счастье человечества.

Наша Коммунистическая партия делает все, чтобы приблизить приход коммунизма. За сорок три года Советская страна сделала чрезвычайно много. За всю историю никто и никогда не сделал и сотой доли этого. Пройдя через разруху, голод, гражданскую войну, через саботаж, контрреволюцию, через Отечественную войну, через потерю городов, сел, деревень, фабрик, заводов, гидроэлектростанций.— всего не перечислить,— коммунисты Советского Союза вместе со своим народом все вынесли и победили.

И не случайно теперь представители коммунистических и рабочих партий обратились к народам всего мира с набатным призывом — страстным и гневным.

Миллионы людей доброй воли понимают, откуда идет угроза термоядерной войны. Держать народы на грани войны выгодно только кучке империалистов, жиреющих от «астрономических» прибылей, выжимающих последние соки из народа.

...Мне пришлось побывать во многих зарубежных странах, встречаться с людьми самых различных профессий. Не приходится и говорить о том, как восторженно встречает посланцев нашей страны рабочий класс — особенно я наблюдал это в Италии. Интеллигенция тоже стоит за мир. Даже и среди капиталистов есть люди, которые понимают, что в случае термоядерной войны им не сдобровать.

Что такое термоядерная война — мы и представить себе не можем! Я видел выставку японских художников, изобразивших последствия взрыва атомной бомбы в Хиросиме. Это страшное зрелище. Но говорят, что атомная бомба — это еще не самое ужасное средство массового истребления людей...

Чтобы не случилась катастрофа, чтобы какому-либо бесноватому не попало в руки это дьявольское оружие, надо всем людям доброй воли ежедневно, ежечасно думать о том, что каждый из них сделал, может и должен сделать во имя сохранения мира.

Любой человек любой профессии, умножая усилия в своей области труда, зорко охраняя мир, обуздывает агрессора, срывает его попытки развязать войну.

Мы, советские художники, еще очень мало написали картин на тему борьбы за мир. Это предстоит сделать. Это наш долг, и мы выполним его.





БОРИС РУЧЬЕВ

## С ВЫСОТЫ ОКРЫЛЕННОЙ РОССИИ

Из „Лирического дневника“

\* \* \*

*Летят перелетные птицы...*

М. Исаковский

Вновь летят перелетные птицы,  
вновь заходит в свой сказочный круг,  
не тревожа земные границы,  
третий спутник — звезда наших рук.  
Вот он — честно сработанный нами,  
надо всем, что открыто с высот,  
будто глядя моими глазами,  
свою мирную вахту несет  
даже там,

где по прихоти моды  
враз напялив жандармский мундир,  
мертвый идол нью-йоркской свободы  
замахнулся дубинкой на мир;  
где — признав государственным делом  
ложь, наживу, захват и погром,  
до сих пор именуется — Белым  
самый черный в Америке дом;  
где фашистские мертвые души  
закупаются в срочный запас;  
дом, что проклят на море и суше  
за нутро своих атомных баз...  
...Сам — ни разу не ведавший счастья  
видеть мир, будто в капле воды,  
в силу прав своего соучастья  
в сотворении новой звезды, —  
не могу я, здоровый и сытый,  
безмятежно — отныне и впредь —  
с колеи рукотворной орбиты  
на раскрытую землю смотреть.  
Не могу, как чужой и бессильный,  
перелетным касаткам подстать,  
с высоты окрыленной России —  
въявь — не видеть, не слышать, не знать:  
как, от самых глубин непокорный,  
вечным сердцем  
под ребрами крыш,  
бьется с петлею НАТО на горле  
город первой Коммуны —

Париж.

Как нацелясь солдатскою каской  
на чужой нефтеносный фонтан,  
битый собственной цепью — Багдадской,  
мистер Доллар грабастал Ливан.  
И глазели на звездное небо —  
с пьяным ужасом, с дикой тоской  
истребители легкого хлеба —  
«янки дудль» из пехоты морской.

Как по дальним морям-океанам,  
отпуская товар огневой,  
бродит нынче разбойным тараном  
Уолл-стрита имперский конвой.  
Как лютует наемный задира,  
безработный изгой Чан-Кай-ши,  
и у тоненькой кромочки мира,  
ради жизни — для каждой души,—  
вал войны становя на колени,  
стиснув зубы от ран и обид,—  
весь Китай, даже в белом каленьи  
на вершине терпенья стоит.

Над землей рубежей и таможен,  
над страстями людей и волков —  
поднят нами как спутник надежный —  
атом жизни на веки веков.  
Наш! Советский. С гербом — словно знамя.  
И — полет его, зримый на взгляд,  
видят люди своими глазами  
и на всех языках говорят:  
— Здравствуй, друг!..

И от чистого взгляда  
мир становится твердью земной...

И награды иной — нам не надо,  
и не надо нам — чести иной.

Лишь одни перелетные птицы,  
по дикарской своей простоте,  
зрят все те же людские станицы,  
да не чувят, что люди не те.  
Да не чувят — какая погода,  
волчьим оком войны замерцав,  
строгой осенью этого года —  
встрепенула людские сердца.  
Да не чувят, как нынче привычней —  
человечьи глаза озаря,  
дюже крепок — сквозной, безграничный,  
мировой сиверок Октября.

Осень 1958 года

## НАШ КОМСОМОЛЬСКИЙ ГОРКОМ

*Магнитогорскому городскому  
комитету ВЛКСМ в день 30-летия*

Я — из тех горожан,  
у которых  
в первый раз — под Магнитной горой  
юность в сердце зажглась будто порох  
и просилась у Партии в строй.  
Вместе с нами,  
в палатке, как дома,  
со штабным телефонным звонком,  
ни на час, по примеру Парткома,  
не смолкал комсомольский Горком.

С каменистого дна котлованов,  
с тяжким грузом работ и забот,  
день и ночь по ступенечкам планов  
поднимались мы, строя завод.

Наше —

с ленинским профилем —

знамя,

становя во дворе заводском,  
зяб ты с нами и парился с нами  
на ветру,  
комсомольский Горком.

В пору фронта, не мысля о тыле,  
промедление ставя в вину,  
словно в песне

и мы уходили...

Комсомольцы твои... На войну!..

Сгоряча не жалеющих силы,  
нас, порою обжатым врагом,  
будто чудом — спасал от могилы  
твой металл,

комсомольский Горком.

Тылом битвы, как видно, недаром  
оставался ты, мир сторожа.  
Был строителем.

Стал сталеваром.

Стал броней для своих горожан.

Не стареет душа в человеке,  
если шел он с тобой напрямиком...

Побратался ты с нами навеки,  
дорогой комсомольский Горком.

Сколько душ

снарядил ты в дорогу,

вывел к Партии — в люди, в бой!

И, сменяясь в рядах понемногу,

молодеют отряды твои.

Значит, здравствуй на радость и славу,

в каждом сердце гори огоньком,

молодой,

но партийный по нраву,

старый друг, комсомольский Горком.

Арк. Васильев

# „ПОНЕДЕЛЬНИК— ДЕНЬ ТЯЖЕЛЫЙ“

РОМАН-ФЕЛЬЕТОН

## ГЛАВА ПЕРВАЯ

*из которой вы узнаете, какой красивый город Краюха  
и еще кое-что*

Краюха город красивый. Это особенно заметно на фотографиях артели «Наше фотоискусство» и на картинах певца родного края Полукта Безбородова.

Великолепна Краюха зимой — вся в сказочном инее. Еще прелестнее она летом, опоясанная серебристо-синеватой лентой малосудоходной реки Сети, в зелени садов, с тенистыми аллеями двух бульваров и Центрального парка культуры и отдыха. Самое подходящее время для осмотра Краюхи утро, часов так в пять-шесть. Хороша Краюха в эти утренние часы. Она еще не совсем проснулась, но уже открыла глаза, потянулась слегка. Толчеи на улицах еще нет. Колхозные автомашины и три грузовика райпотребсоюза, доставившие на рынок на комиссионных началах дары щедрой земли, уже прогромыхали. Над пробуждающейся Краюхой тишина, только скрипят двери вырезвителя, выпуская двух малоизвестных кратковременных посетителей и одного завсегдатая, бывшего парикмахера, ныне пенсионера Сафончикова. Дежурный милиционер, увидев, что Сафончиков, подтягивая на ходу черные брюки из чертовой кожи, понесся по привычному маршруту на рынок, — ибо именно там раньше всех открывается пивной ларек, — с досадой закрыл за ним дверь.

Дворники полили центральные улицы. По асфальту на солнечной стороне бежит легкими облачками пар. С Горелой улицы въехал было на Центральную запоздалый представитель некоего обоза, но соловьиная трель бдительного постового решительно повернула его в объезд на боковые транспортные пути.

Из раскрытых дверей пекарни вкусно пахнет свежими булками и ванильными сухарями. По ступенькам почтамта слетела веселая стайка девушек-письмоносец — пора разносить вчерашние центральные газеты и сегодняшний, пахнувший краской номер «Трудового края».

Пройдемтесь по улицам Краюхи, полюбуемся ее новыми домами, недавно сданным в эксплуатацию кинотеатром «Спартак», заново отремонтированным фирменным магазином «Свежая рыба». Повсюду высятся краны: на Суворовской строят дорожный техникум, на Советской — ремесленное училище и жилой двадцатичетырехквартирный дом, на Го-

релой — два дома, на Пушкинской — пристраивают к ветеринарной лечебнице новый корпус, на Некрасовской — возводят, правда уже пятый год, картинную галерею, на Спортивной — заканчивают баню, при которой, согласно информации «Трудового края», будет бассейн для плавания.

А сколько застройщиков без всяких кранов с минимальным применением современной строительной техники сооружают разукрашенные деревянной резьбой индивидуальные особняки, повергая в мучительные размышления работников горплана! Размышлять есть над чем: лесу, цемента, кирпича, разной кровли, стекла и прочих материалов продано домов на сто с небольшим, а возводится в два раза больше...

Впрочем, не будем в розовые утренние часы углубляться в торговостроительную статистику, а спустимся по Центральной улице к новому железобетонному мосту через Сеть. Гранитные парапеты влажны от росы. Хотите получить удовольствие — бросьте с моста в воду окурков и проследите за ним. Сначала он немного покружится около сваи, потом плавно двинется в путь и, кивнув на прощанье, скроется за поворотом. Сразу вспомнится детство, бурный весенний ручей, лодочка, вырезанная из толстой красноватой сосновой коры, с мачтой из спички и парусом, сшитым из утерянной старшей сестрой платочка...

Кто это торопливо шагает по левой стороне моста? Да ведь это Кузьма Егорович Стряпков, заведующий сектором гончарных изделий горпромсовета. Куда это он в такую рань? Какая сила извлекла его из теплой, пуховой перины, купленной по случаю в прошлом году у молодой вдовы отставного полковника Ястребова?

— Кузьма Егорович! Товарищ Стряпков! Куда вы?

Нет, не оглянулся. Видно, спешит по важному делу.

Надо вам сказать, что Кузьма Егорович в последнее время чрезвычайно изменился: всегда чем-то озабочен, даже насторожен, больше помалкивает, словно боится лишнее слово сказать. Куда пропал его смех, залихватистый, легкий, как у дошкольника?

С Тонечкой, с его племянницей, которая прожила у него больше полугода, а потом невесть чего на него наговорила, как будто все уладилось. Тонечка отбыла к мамаше. Сейчас у Кузьмы Егоровича живет Капа, очень миловидная, пухленькая такая и, судя по всему, умненькая. Ну что ж, стареть ему рано — до пятого десятка еще не дотянул. Смотрите, как он в гору поднимается — как на парусах... Но оставим пока Кузьму Егоровича — он еще не раз появится на нашем пути... Перейдем к более подробному описанию Краюхи, ее окрестностей и достопримечательностей.

## ГЛАВА ВТОРАЯ

*где автор считает своим долгом подробнее рассказать  
о месте и времени действия*

Писатели, особенно сатирические, иногда хитрят. Вместо того чтобы прямо сказать: «В один прекрасный летний день на шумной улице Костромы симпатичный блондин Иван Иванович Носков неожиданно встретил очаровательную шатенку Оленьку...», морочат читателям головы: «В один прекрасный летний день на шумной улице города Н...».

Один из ныне здравствующих писателей на расспросы, почему он пользуется этим самым Н..., охотно ответил:

— Для удобства. Представьте, что может получиться, если я напишу — «на шумной улице Костромы». Сразу же пойдут письма, причем многие без марок, доплатные: «Шумных улиц в Костроме много, инте-

ресно знать, какую вы имели в виду?», «Иван Иванович Носков вовсе не блондин и, состоя в законном браке, встречаться с очаровательными Оленьками избегает и уж во всяком случае не делает этого днем...»

А если еще профессию товарища Носкова указать — врач, например, или агроном, тогда ждите писем с угловым штампом из горздравотдела или из управления сельского хозяйства, что Ивана Ивановича Носкова в списках личного состава не было и нет. А «город Н...» от этих серьезных недоразумений спасает полностью. Попробуй придержишься — Н..., и все тут.

— Не вышло бы обобщения! Кострома, Ярославль или Калуга — это все-таки локально, а «город Н...» — обобщающе. Как тут быть?

Собеседник мой слегка задумался, но потом нашелся:

— Это как повезет. Смотря какой критик попадет. Если доброжелательный, тогда, конечно, легче, а если...

— Как же вы мне посоветуете?

— Я бы прибег к проверенной формулировке — «город Н...», и баста.

Каюсь, меня долго терзали сомнения. С одной стороны и с другой... И я уже было написал: «Случилось все нижеследующее в городе Н...». Потом вспомнил о критиках и решил: «Ладно, на письма читателей я сам отвечу как-нибудь, а критикам вряд ли придется, потому еще нет у нас такого обычая, чтобы автор критику печатно отвечал. До такого равноправия мы еще не дожили — только критик может автора как угодно рассматривать. Со всех точек зрения. А чаще всего со своей собственной, называя ее объективной».

Подумав, я не побоялся в своем повествовании точно указать место и время действия. Итак, случилось все нижеследующее летом тысяча девятьсот пятьдесят четвертого года в городе Краюхе.

\* \* \*

Первое упоминание о Краюхе как о населенном пункте обнаружено в одной из грамот царя Ивана Васильевича Грозного: «И того боярина за хулу и лай на великого государя смерти предати. Дворы у жены, детей и братьев отымати и, хотя они по сыску смерти повинны, живота не лишати и назначить жить в Краюху».

Во времена царя Алексея Михайловича на жительство в Краюху был определен за сквернословие и прелюбодеяние расстрига Антип. Одна из краюхинских улиц до сих пор называется Антипинской, хотя ее давно официально провозгласили Спортивной.

При Петре Первом сюда пригнали стрельцов, случайно уцелевших от царского гнева. На память об этом событии осталась Стрелецкая гора. Позднее ее называли Осиновой — из-за густого осинника, покрывавшего ее склоны. Лет двадцать пять назад тогдашнему председателю горсовета товарищу Сараеву пришла мысль заменить осину березой. Работники гортопа, обрадовавшись случаю выполнить план без дальних ездов, быстро и начисто вырубил осинник, а попутно прихватили и липы на Садовой улице, сославшись на то, что они, дескать, мешают движению городского транспорта. Сараева сняли за недостаточную заботу о детских яслях и начальном образовании, и поэтому берез вместо осин не посадили. Лысую гору до недавних пор все называли Сараевской рошей. Но название это забывается, потому что теперь там буйно поднимается молодой сосняк.

При Николае Первом в Краюху привезли замеченного в вольнодумстве сенатского чиновника Чекина. Из этого можно судить, что Краюха в древние времена благоустройством не отличалась — место ссылки, это, понятно, далеко не курорт.

О происхождении самого слова Краюха идет много споров, суще-

ствуют разные гипотезы. В научно-исследовательском институте краеведения в связи с этим возникли два лагеря.

Одни ученые доказывают, что слово «Краюха» тождественно понятию «край света» и что этот населенный пункт так окрестили еще в незапамятные времена. Как бы там ни было, но семь диссертаций на соискание ученой степени кандидата исторических наук были посвящены именно этой гипотезе.

Другие, опровергая столь вульгаризаторское понимание истории, утверждают, что в слове «Краюха» лежит административное начало — край, область.

Двум лагерям из одного института противопоставляет свою точку зрения ученый краевед-одиночка Быков. По его мнению, «Краюха» произошла в результате необдуманного поступка одного боярского сына, влюбившегося в простую крестьянскую девушку. Отец-феодал выставил сына за дверь, начисто лишив его наследства. Потом, несколько одумавшись, подкинул деревеньку: «Каравая я тебе не дам, а краюху — на, получи». С того дня, дескать, и пошла Краюха.

Конечно, Краюха сейчас не та, что четыреста лет назад, — в ней есть электричество, радио, телефон, телеграф, железная дорога, кинотеатры «Краюха», «Арс» и «Спартак», рестораны «Сеть» (бывш. «Эльдорадо») и «Чайка» (бывш. «Мавритания»), пивной зал, союз художников, литературное объединение «Основа».

Сказать, что Краюха — крупный город или еще того больше — значительный промышленный центр, было бы не только несерьезно, но и неправильно. Гигантов индустрии в нем нет. Имеются мясокомбинат, пивной завод, завод фруктовых вод и безалкогольных напитков, гончарный завод с художественным цехом, много промысловых артелей, изготавливающих мебель, игрушки, бутылки, пузырьки, ламповое стекло, трикотаж и еще массу различных полезных предметов.

Гордость Краюхи — элеватор и новый, оборудованный по последнему слову техники крахмалопаточный завод.

В городах с крупными заводами фамилии директоров всем известны.

Уезжает директор завода-гиганта в командировку — все знают, на какой срок. Уехал в отпуск — известно, в какой санаторий. Иногда сведения не сознательно, а исключительно из симпатии к руководителю слегка преувеличивают. Заболел у директора зуб, говорят — вся челюсть. Убил на охоте зайца, говорят — медведя или пять зайцев. Были гости, выпили по маленькой — передают: «Вчера у нашего-то что было!»...

Такой популярностью в Краюхе пользовались двое: директор элеватора Коноплянников,

в меньшей степени, и в большей — председатель горпромсовета Бушуев. О нем все было известно — тридцать шесть лет, женат — супруга моложе на два года, двое детей — умные, воспитанные. За две недели до описываемых событий Бушуев взял в облизполком заместителем председателя.

Первое произведение АРКАДИЯ ВАСИЛЬЕВА — пьеса «Арсений» была показана зрителям в 1940 году. Затем им была написана пьеса «Гордиев узел».

В 1948 году появился сборник сатирических рассказов «Бархатная дорожка». С тех пор вышло несколько сборников таких рассказов: «Личное местимение», «Основная профессия», «Люфа», «Хрустальная ваза», «Бывает случается» и сборник памфлетов и фельетонов на международные темы «Старая приманка».

Арк. Васильев работает в историко-революционном жанре. Ему принадлежит трилогия «Есть такая партия». В нее вошли романы «Смело, товарищи, в ногу!», «Генеральная репетиция» и «Есть такая партия!».

Для детей Арк. Васильевым написаны рассказы о М. В. Фрунзе. Недавно в «Библиотеке «Огонька» вышел сборник рассказов «Юность полководца».

Арк. Васильев постоянно сотрудничает в журнале «Крокодил», «Литературной газете», газете «Литература и жизнь».



Не случись этой передвижки, Андрей Иванович Бушуев занял бы в нашем повествовании солидное место. Но, как говорится, от судьбы не уйдешь, и вместо Бушуева горпромсовет временно возглавляет заместитель председателя Анна Тимофеевна Соловьева.

До Бушуева на краюхинской земле выросло много славных деятелей, выдвинутых в область и даже в столицу. Первым в списке знатных земляков значится Петр Михайлович Каблуков. В печати о нем часто сообщается так: «...Кроме того, с советской стороны на обеде присутствовали...»

Среди земляков — два летчика, Герои Советского Союза, ученый-географ, два крупных актера, причем один из них в силу преобладания организаторского таланта, по совместительству является директором столичного театра. Краюхинцы поговаривали о молодом математике Носове, но его перехватили соседи, доказав, что он родился в их городе, а в Краюху только навещался в гости к бабушке. В список знатных земляков входят два журналиста и один средний театральный критик.

И удивительное дело! Пока эти люди жили в Краюхе, их не замечали, как будто их вовсе не было. Стоило им покинуть родные места и получить московскую прописку, как о них начинали вспоминать с гордостью.

Взять хотя бы театрального критика Ник. Запольского. Пока он писал рецензии в местной газете «Трудовой край», его поругивали, обвиняли в предвзятости, подозревали даже в том, что источником вдохновения для хвалебных рецензий, посвящаемых во время летних гастролей актеру Благовидову, является коньяк три звездочки, распиваемый актером в соавторстве с Запольским.

Все это, конечно, чепуха на постном масле. Запольский по слабости здоровья принимал только томатный сок, а когда его не оказывалось, пил яблочный и настойку на цветах бессмертника.

Особенно доставалось критику за язык. В этом краюхинцы отчасти были правы — писал Запольский туманно, витиевато.

Вместо того чтобы сказать три слова: «спектакль не удался», Запольский сочинял:

«Смотря спектакль, трудно понять характер главного героя. Стремясь обосновать метаморфозу характера, Собакин внес новый рисунок в решение положительного образа, и тем не менее отсутствие напряженности мысли, динамики действия...»

В Москву Ник. Запольский попал по семейным обстоятельствам. В Краюху прибыла из Москвы на гастроли хорошая эстрадная группа. Ее душой была симпатичная администраторша Алла Павловна. Через два часа после прибытия Алла Павловна знала по имени и отчеству всех руководящих деятелей, директоров магазинов, начальника вокзала, дежурного по милиции. И ее все узнали и даже успели полюбить.

Алла Павловна обладала многими достоинствами: веселым нравом, добротой, пышным бюстом, приличным заработком, отличной однокомнатной квартирой на Новопесчаной улице, в обмен на которую ей предлагали две роскошные комнаты в коммунальной квартире в Новых Черемушках.

Ник. Запольского она полюбила с первого взгляда, увидев его перед концертом, когда он подошел к ней расспросить о плане гастролей.

Ее сердце екнуло — он! Серые, навывкате, грустные глаза Ник. Запольского довершили дело. Алла Павловна, сияющая от счастья, увезла из Краюхи благодарность местных властей за приятные концерты и свидетельство о законном браке с гр. Николаем Петровичем Ватрушкиным (Запольским).

Вскоре краяхинцы, читая в московских газетах статьи Ник. Запольского, восхищенно делились впечатлениями:

— Знай наших! Читали, как он драматурга Яблокова разложил! Не читали? Да вы посмотрите, что он пишет: «Конфликт удручающе привычен, характеры бледные, мысли прописные. Великое отражается в обыденном, но оно отражается и в великом. Это понимает Погодин, а Яблоков не понимает. Действующее лицо — это характер. Это превосходно понимают Арбузов и Штейн. А Яблоков не понимает. Действие тоже нужно. Это понимает даже Шток, а Яблоков не понимает...»

Видели? Вот вам и Запольский!

Рассказывали, что редактор «Трудового края» Курагин и начальник отдела культуры исполкома Плаксин получили в соответствующих инстанциях нахлобучку за то, что не смогли удержать в Краюхе такого ценного литературного работника. И правильно! Если по совести говорить, сколько раз Ник. Запольскому отказывали в квартире...

Впрочем, пора главу кончать. А то автор увлекся: начал с Ивана Грозного, а кончил театральным критиком. Точь-в-точь как Завиалов — секретарь краяхинского городского совета. Соберется речь держать о решениях сессии по благоустройству, а потом разоидется и пойдет чесать про лодочную станцию да о страховых платежах. Не дай бог, если сядет на любимого конька — про задолженность квартирной платы — не унять.

\* \* \*

Да и Кузьма Егорович Стряпков все еще торопливо шагает в гору. Дело у Кузьмы Егоровича действительно неотложное. В полночь к нему постучалась дочь Юрия Андреевича Христофорова — Зойка.

— Папа просит вас срочно прийти.

Боже ты мой, как не хотелось Стряпкову выходить из дому! Вечером Кузьма Егорович сводил Капу в кино, потом немножко прогулялись по набережной. Вернулись почти в одиннадцать, напились чаю. И только-только заснули, вдруг, нате вам, стучат.

У калитки Христофоровых Стряпков встретил директора заготконторы Коромыслова. Коромыслов усмехнулся, кратко сказал: «Привет!» и пошел своей дорогой.

Христофорова Кузьма Егорович нашел в беседке. Хозяин собирал со стола осколки разбитого стакана.

— Видел гуся? — со злостью спросил Христофоров.

— Не уступил?

— Уступит такой мерзавец, дождешься... Черт с ним. Давай собирай всех. Как всегда.

— Слушаюсь.

— Выпьешь?

Пить теплую, противную водку, да еще ночью Стряпкову не хотелось. Он вспомнил про Капу: «Неудобно, приду с запахом...» Но он с готовностью ответил:

— Отчего ж не выпить.

Кузьма Егорович приподнял со стола глиняный кувшинчик.

— Что это?

— Бальзам. Черный рижский.

— Что с ним делают?

— Это Коромыслов любит водку разбавлять. Хочешь, попробуй.

— Нет, лучше уж натуральной. Только не из чего. Это он стакан кокнул?

— Я сам. Сходи к жене, возьми стопки. Огурцов захвати.

— Слушаюсь...

И вот сейчас, на рассвете, Кузьма Егорович извинился перед полусонной Капой за беспокойство, нежно поцеловал ее в ушко, бережно укрыл ее розовые плечи пуховым одеялом и покинул теплую постель. Ему надо обойти квартиры некоторых заинтересованных лиц и сообщить приказ Христофорова: «Собираемся, как всегда!»

Конечно, всего бы проще воспользоваться телефоном, но, к сожалению, краюхинская полуавтоматическая станция еще не полностью удовлетворила все заявки на установку домашних телефонов, и, кроме того, Христофоров раз и навсегда запретил Стряпкову обращаться к заинтересованным лицам по проводам.

— Вдруг кто-нибудь случайно вклинится? Береженого и бог бережет!

## ГЛАВА ТРЕТЬЯ

### *рассказывающая, где Юрий Андреевич Христофоров хранил свой капитал*

Пора сообщить, кто такой Юрий Андреевич Христофоров, какое он имеет право ночью беспокоить Стряпкова и почему Кузьма Егорович опасается отказываться даже от теплой водки.

Христофоров появился в Краюхе после войны. В довоенные годы он находился за тридевять земель на сибирских и дальневосточных просторах, и старые милицейские работники в этих отдаленных краях до сих пор рассказывают молодым оперативникам о том, как от них уходил в самый последний момент «деловой человек», оставляя в разных «снабах», «сбытах» акты на списание: «на порчу продуктов в пути», «на нормы отходов», «на потери от грызунов». Подвизаясь в одном глубинном леспромхозе, Юрий Андреевич списал однажды по акту живую четырехлетнюю лошадь. Много месяцев этот акт цитировали на районных и областных совещаниях и конференциях: «Лошадь по кличке Дунька поздно ночью возвращалась домой и, потеряв условные рефлексy, свалилась в канаву и скончалась навсегда и по таковой причине была прирезана и захоронена». Навсегда скончавшаяся Дунька, переименованная в «Злюку», была через год обнаружена в другой области, а следы Юрия Андреевича, прихватившего с собой около ста тысяч рублей, как всегда, словно растаяли.

Меняя жительство, Юрий Андреевич никогда не оставлял на старом месте жены, денег на личном счету в сберегательной кассе и фотоснимков. Жену он нежно любил и не мог обходиться без нее более трех дней; сберкассy у него доверием не пользовались; а фотографироваться он не терпел ни в профиль, ни тем более анфас.

Единственный снимок докраюхинского периода жизни Юрия Андреевича, хранившийся в семейном архиве Христофоровых, был сделан в начале XX века, перед первой мировой войной.

На пожелтевшей картонке через дымку, нанесенную временем, можно было рассмотреть семью из трех человек. Папа был запечатлен стоя. Его щеки подпирал высокий тугой воротничок. Волосы гладко причесаны на прямой пробор с «бабочкой», уложенной на низеньком лбу. Кончики усов лихо подняты, совсем как в ранней молодости у кайзера Вильгельма. Цепочка, соединявшая жилетные карманы, перстень с квадратным камнем «под печать» на безымянном пальце левой руки, широкое обручальное кольцо — все говорило о зажиточности. Пухлые, широко расставленные пальцы правой руки опирались на стопку лежавших на

высоком столике книг, которые давали понять, что печатное слово не чуждо господину Христофорову.

Мама сидела. Ее лицо с тонкими поджатыми губами выражало неопи-суемый испуг. Круглые часики, подвешенные почти у самого подбородка, бархотка с крестиком на полной шее, сложенный зонтик в левой руке и ридикюль в правой свидетельствовали о стремлении мадам Христофоровой следовать новейшей моде.

Рядом с мамой стоял наголо стриженный гимназист с оттопыренными ушами, с угрюмым насупленным взглядом. На согнутой в локте левой руке лежала форменная фуражка со значком из двух веточек и букв ШИМГ. Какая это была гимназия: Шуйская, Шахтинская, Шелоньская, Шкловская или еще какая другая, мог сказать только сам Юрочка Христофоров, но его тонкие, как у мамы, губы были плотно сжаты.

На обороте картонки на двух языках — русском и французском — золотом сообщалось, что «фотография Мищенко самая лучшая не только в городе... но и во всей... губернии». Название города и губернии было предусмотрительно соскоблено перочинным ножиком.

Дополнительно сообщалось, что М. Н. Мищенко прошел курс у производного фотографа, принимает заказы на увеличение портретов, производит съемки как у себя в павильоне, так и с вызовом на дом, на пикники, в учебные заведения, на кладбища и к месту деятельности гг., желающих сфотографироваться.

В последнем легко было убедиться, взглянув на семейную фотографию: папа Юрия Андреевича был сфотографирован как раз у места своей деятельности — в левом углу фотографии, сверху, виднелись буквы: «Магазин А. Н. Христофорова». Не мог же А. Н. Христофоров прийти сниматься со своей вывеской?

Жене эту фотографию Юрий Андреевич показал на пятый год совместной жизни, убедившись, что Марья Павловна, когда надо, умеет молчать не хуже его самого.

Единственная дочь Зоенька снимка не видела. Ее сведения о предках с отцовской стороны ограничивались тем, что бабушка и бабушка сгорели в огне гражданской войны, а мама родителей вообще не помнила, поскольку воспитывалась сначала в сиротском приюте, а затем, при советской власти, в детском доме. Знай Зоенька прошлое мамы поподробнее, она бы искренне удивилась, как это можно спутать общую тюремную камеру с домом младенца.

Зоенька, к счастью для нее, многого не знала: прошла все советские ступеньки, была октябренком, пионеркой, стала комсомолкой. Подружки и товарищи у нее были преотличные, но греха таить не будем — больше всех отличала Зоенька Васю Каблукова. Вася считался в Краюхе первой ракеткой, блестяще бегал на лыжах и имел медаль за спасение утопающих.

Когда ходили в кино или на водной станции приходилось расплачиваться за прокат лодки, Зоенька нередко замечала, как волновался Вася: хватит ли у него капиталов?

Зоенька не предполагала, конечно, что могла бы выручить в тяжелую минуту не только Васю, но всех своих многочисленных друзей. Стоило ей забраться на чердак родительского дома, приподнять крышку старой дорожной корзины, набитой бутылками, аптекарскими пузырьками (мама любила лечиться), и, запустив под стеклянки руку, достать пачку сторублевок — в корзине хранился миллион рублей. Второй миллион, завернутый в старые газеты и перевязанный шпагатом, находился в потрепанном фибровом чемодане. Это был, так сказать, основной капитал Юрия Андреевича. Обратные средства, мелочь на текущие расходы — около пятидесяти тысяч рублей — лежали в футляре от радиоприемника. Футляр для удобства стоял у самого лаза.

Юрий Андреевич семью держал в строгости и баловства не допускал. Не отказывал только в хорошем питании — в доме всегда было вволю вкусенького: варенья, сдобных сухариков, полный ассортимент конфет, представленных в краяхинском «Гастрономе».

Обеды Марья Павловна готовила вкусные, сытные, с учетом сезона. Летом часто подавала ледяную окрошку, то мясную, то рыбную и, понятно, не с воблой, а с рыбами самых высших сортов, опять-таки из тех, какие оказывались в магазине главрыбсбыта. Юрий Андреевич летом любил еще холодный свекольник со сметаной, фруктовые супы. Зимой шли наваристые суточные щи с говядиной, рассольник с почками. На второе Марья Павловна отлично отбивала бутылкой из-под венгерского «Токая» свиную котлету, хорошо разделявала поросенка, умело сопровождая его гречневой кашей. Однажды шеф-повар из ресторана «Чайка» показал Марье Павловне, как свертывать котлету по-киевски. Ученица оказалась толковая — и сочные, с хрустящей корочкой котлеты часто радовали Юрия Андреевича.

Нередко делались заливные — то судачок, то осетринка, то телятинка. В желе клались лимонные дольки и звездочки из моркови. Под водочку ставилась селедочка в горчичном соусе домашнего приготовления, холодец, покрытый тонким, словно изморозь, слоем жирка, и свиное сало, натертое черным перцем.

Марья Павловна грибов терпеть не могла, рассказывала, что в юности наелась поганок, приняв их по неопытности за шампиньоны. Но Юрий Андреевич и Зоенька грибы обожали во всех видах. Тот же шеф-повар научил готовить из черных сухих грибов маслянистую икру, показал, сколько надо добавлять в нее лучку и уксуса, и Юрий Андреевич только крякал от удовольствия.

А какие пироги пекли по воскресеньям! Какие ватрушки!

Заботу о фруктах Христофоров принял на себя. Поздней осенью, по первой пороше ездил он в отдаленный район и привозил мешка три антоновки. И не какой-нибудь мелочи, а отборной, яблоко к яблоку, воскового цвета, почти прозрачной и красивой, как муляжи. Яблоки сортировались и осторожно, упаси бог побить, укладывались в ящики и отправлялись в чулан. Похуже шли в мочку. И тут помог искусник повар — посоветовал устлать дно бочонка ветками можжевельника. По всему дому, даже по двору разносился бодрый запах антоновки. Не было случая, чтобы Юрий Андреевич укорил супругу за излишества в питании. У него был солидный запас подходящих афоризмов: «Что в нас — то в нас», «Не лошадь возит, а овес», «От хорошей еды не бывает беды».

Не только по воскресеньям, но даже в будни, несмотря на занятость, Юрий Андреевич обедал дома. Он тщательно мылся любимым мылом «Красный мак», крепко вытирался махровым полотенцем, бережно расчесывал редкие волосы и шел к столу, приговаривая:

— После честного труда — выпить рюмку нет вреда...

И слегка дрожащей рукой наполнял рюмку водочкой.

А вот на наряды для дочери и жены Юрий Андреевич был скуповат. У Марьи Павловны имелось всего два платья — домашнее из цветастого штапельного полотна и выходное — из голубой шерсти. Марья Павловна пятый год просила мужа купить ей шубу из цигейки, но он в ответ зло сверкал глазами и отвечал лаконично:

— Рано!

У Зоеньки, кроме коричневой ученической формы, в которой она ходила и в техникум, была еще юбка из той же голубой шерсти, что и мамино выходное платье, и белая капроновая блузка. Зимой Зоя наде-

вала коротенький залоснившийся овчинный тулупчик. Весной и летом носила бежевое пальто из габардина, переделанное из папиного макинтоша.

Ни одной пары хорошеньких туфель не было у Зоеньки, только грубые, уличные на микропористой подошве. Однажды Зоя попросила у подружки красненькие лодочки. Юрий Андреевич, увидев Зойку, побледнел от гнева и приказал лодочки снять, неслыханно оскорбив дочь:

— Вырядилась как шлюха!

Сам Юрий Андреевич тоже щеголем не был, выглядел, как говорится, зимой и летом одним цветом: синие диагоналевые галифе с малиновым кантом, купленные по случаю в скупке, синяя сатиновая рубаша и черный галстук военного образца, протертый на узле, коричневый пиджак с ватными, по старой моде, квадратными плечами — вот и весь наряд. Что бросалось в глаза — так это начищенные до умопомрачения ладные хромовые сапоги. Чистил он их сам, причем ежедневно, мазь употреблял самую лучшую. В холода он носил серую полковничью папаху и шинель, понятно, без погон, со штатскими пуговицами. Когда он шел по улице — высокий, все еще статный, с суровым лицом — многие принимали его за старшего офицера, ушедшего на покой с приличной пенсией. Некоторые, хорошо воспитанные молодые военные, прибывавшие в Краюху в отпуск, и милиционеры, охранявшие отделение банка, ему козыряли. Для усиления впечатления Юрий Андреевич носил пшеничные усы, совсем как у лихого кавалериста. Дома Юрий Андреевич немедленно переоблачался в полосатую черно-зеленую пижаму и в спортивные тапочки с дырками для шнурков.

Дом у Христофоровых был свой. Юрий Андреевич купил его удачно. До него в доме этом тихо доживала век пенсионерка-учительница, дети которой давно разлетелись из Краюхи. Христофоровы внимательно приглядывались к будущему своему владению, прикидывали, как оно будет выглядеть, если его по-настоящему обиходить — подвести три новых бревна, обшить тесом, оштукатурить да покрасить крышу медянкой или суриком.

Дом достался Юрию Андреевичу формально хотя и дорого, а по существу за пустяк. Пенсионерка отдала богу душу в мае 1947 года, и через полгода торопливые наследники за дом на каменном фундаменте в три комнаты, с садом и беседкой взяли пятьдесят тысяч.

А через месяц денежная реформа.

Сейчас домик как игрушка, крыша блестит, ворота новые. Внутри чисто, но красного дерева, конечно, нет. Мебель только самая необходимая — березовый стол, стулья местного производства, на окошках недорогие тюлевые занавески, на полу половички из разноцветных тряпок. Зато много цветов — два роскошных фикуса, куст китайской розы, три горшка с геранью и гордость Марьи Павловны — великолепная бегония.

Конечно, читателя сейчас интересует не гардероб Христофоровых, и даже не покупка дома, и уж, понятно, не герань, а как Юрий Андреевич добыл миллионы?

Можно ли, получая хотя и приличную заработную плату — тысячу четыреста рублей, — с семьей в три человека скопить два миллиона? Конечно, не скопить. Значит, Юрий Андреевич эти деньги не заработал. Тогда где же он их добыл? Украл? Ну, зачем же так грубо судить Юрия Андреевича. Даже представить нельзя, чтобы этот солидный пожилой человек запустил руку в чужой карман, лез ночью в чужое окно, выгребал из учрежденческой кассы крупные купюры. Все это исключено. Деньги к Юрию Андреевичу плывут сами. Он, поразмыслив над некоторыми вопросами краюхинского товарооборота, слегка организовал этот денежный поток, направил его в нужное русло. Вот и все!

На всю жизнь запомнил Юрий Андреевич запах отцовского магазина, а пахло в нем по-особенному — дрожжами, льняным маслом, халвой, мукой.

До сих пор, входя в продовольственный магазин краюхинского торгова, Христофоров с удовольствием вдыхает этот волнительный для него букет. Так и видит, как его располневшая мамаша нацеживает из оцинкованного бака фунтовую кружку льняного масла, а потом бережно, через воронку, переливает покупателю в бутылку. И сам Юрочка Христофоров, гимназист третьего класса, скинув ранец и переодевшись, помогает приказчику принимать товар. Приказчику далеко за пятьдесят, но все — и покупатели и хозяева — зовут его Платоша.

Был один момент, на долгие годы осветивший Юрочке смысл жизни. Привезли новый товар и среди прочего новинку — карамель «Каприз» в яркой, глянцевой красно-синей обертке. Юрочка без разрешения развернул карамельку и положил в рот. Приказчик, покачав головой, заметил:

— Не дело, Юрий Андреевич! Папенька не любит, когда в магазине кушают, да и покупатели это не уважают.

Маменька разъяснила:

— Что ты, Платоша, ребенка оговариваешь? Он свое добро скушал, не чужое... Возьми, Юрочка, еще, или хочешь бонбошек...

И посмотрела вокруг умиротворенно — вон, мол, сколько своего добра. Юрочка, однако, больше карамелек не взял и бонбошками тоже пренебрег. Платоша маменьку не особенно уважал и мог доложить папеньке, а папенька во гневе бывал лют и несмотря на третий класс мог всыпать как приговишке.

Но маменькины слова про свое добро в душу запали крепко.

А какое удовольствие было помогать отцу подсчитывать выручку! Ассигнации старший Христофоров считал сам, доверяя сыну только серебро и медяки. Юрочка сортировал полтинник к полтиннику, четвертак к четвертаку, завертывал тяжелые столбики в бумагу и химическим карандашом писал сумму.

Правда, однажды этого удовольствия Юрочку лишили почти на всю зиму — не оправдал доверия.

Ежедневно после подсчета папенька выдавал сыну пятак, приговаривая:

— Получи заслуженные.

Пятаки Юрочка менял, по мере накопления, на серебро, а с рублем шел в сберегательную кассу. Случилось, что до десяти рублей не хватило всего двадцати копеек, а хотелось поскорее округлить вклад, и Юрочка не выдержал, самовольно позаимствовал из выручки двугривенный и незаметно опустил его в карман. А папенька как назло увидел.

Боже ты мой, что потом было! Папенька приказал выложить двугривенный на стол, спустить штаны и молча высек наследника сыромятным ремнем до кровавых полос, дополнил экзекуцию подзатыльником и подвел итог:

— Забудешь, сукин сын, как у своих воровать!

Маменька вечером мазала Юрочкин зад прокипяченным льняным маслом и шептала:

— Дурачок! Ты бы у меня попросил.

Сыну и больно было, и стыдно, но чувство реальности даже в этот трагический момент ему не изменило. Он совершенно трезво внес поправку:

— Не говорите, маменька, глупостей. У вас же ни гроша нет.

И уязвил мать в самое больное место: Христофоров жену от денег избавил раз и навсегда. Но мать сдалась не сразу.

— Нет, есть... надо уметь.

В Краюхе Юрий Андреевич появился в конце войны. Осесть в одном месте, прекратить скитания по городам и весям вынудила дочь, появившаяся в 1938 году. Да и надоело мотаться по Дальнему Востоку, по глубинным леспромпхозам, базам райпотребсоюзов, заведовать сельмагами в таежных селах. Краюха, понятно, не столица, но все же город.

Первые два года Юрий Андреевич волновался, вскакивал по ночам от шагов запоздалых прохожих, вообще нервничал. Потом мысли о всесоюзном розыске стали навещать его все реже и реже. Средства на обустройство были, хватило и на дом и на многое другое.

На работу Юрий Андреевич определился только спустя месяц после приезда, когда пригляделся, принялся к обстановке. На первое время взялся руководить сапожной мастерской артели инвалидов «Коопремонт». Новой обуви в мастерской не шили — не было ни материала, ни опытных мастеров. Чинили обувь до прихода Юрия Андреевича скверно, на подметки ставили тяжелую, как свинец, резину, материалов не хватало — даже дратву не смолили, нечем.

Через полгода мастерскую нельзя было узнать. Сначала Юрий Андреевич организовал закупку старой обуви у населения и пустил ее на материалы, умаслил работников горплана — и ему подбросили микропорки. Его внушительная фигура, серьезность действовали убеждающе. И пошло: вместо уволенных двух пьяниц-мастеров нашел хорошего старичка пенсионера, а тот обучил девчат.

В мастерской появился репродуктор, ввели политминуту. Юрий Андреевич за перегородкой принимал у ваказчиков обувь, мелком обводя израненные места, выписывал квитанции, указывая цены строго по прейскуранту: все честь честью.

Христофоров открыл пункт для варки гуталина и обязал мастеров сдавать заказчикам обувь в начищенном виде.

Как-то жена заместителя председателя горсовета Борисова принесла выдавшие виды сапоги мужа и заодно попросила пришить к сумочке ремень. Ремешок, понятно, по указанию Христофорова пришили тотчас же и бесплатно, а за сапогами пришел сам Борисов.

Увидев до блеска начищенные сапоги, он даже засмеялся от удовольствия:

— Лучше новых! Ай да мастера! Золотые руки...

И пригласил Христофорова выступить на сессии горсовета, поделиться опытом.

Через год Юрия Андреевича избрали председателем артели. Фундамент под карьеру — добытая репутация честного, заботливого руководителя, «работяги» — был заложен основательный и сцементирован неплохо — общественным доверием.

Оставалось запастись терпением в ожидании «хорошего куска».

Появление дочери изменило и Марию Павловну. Когда-то она за вечер могла просадить в «очко» пять-шесть тысяч и, не поморщившись, опрокинуть граненый стакан водки, закусив ее по-ивановски «мануфактурой», то есть вытерев губы рукавом кофты. Торговые связи у нее были, как она выражалась, грандиозные — в Москве, Ленинграде, Киеве, Тбилиси — во всех крупных городах. Она могла из Киева срочно примчаться в Ленинград, выставить у магазина тканей десять знакомых дворничих, растолковав им предварительно, что «хватать». Вечером, расплатившись со своими помощниками в белых фартуках, она катила в Горьковскую область — втридорога сбывать отрезки дефицитной шерстя-

ной ткани и входившего в моду штапеля. Из Тбилиси везла «лакировки» на толстой слоеной подошве. Однажды соблазнилась, привезла с юга в Вологду два мешка лаврового листа — и повезла домой мешок трехрублевков.

Потом был краткий отдых во Владимирской тюрьме и вынужденная экскурсия на Дальний Восток. В лагере она быстрехонько захороводила оперуполномоченного — да как ей было и не захороводить — ни дать ни взять артистка оперного театра: глаза с поволокой, на щеках ямочки, локти круглые, вся пышная, и на груди, в ложбинке, крупная черная родинка. Опытности она была дьявольской, и молоденький уполномоченный обалдел после первого же поцелуя.

Через неделю Марья Павловна хозяйствовала на лагерной кухне, а это не в лес на заготовку ходить. Тепло, уютно, сытно и у начальства на виду.

После амнистии уполномоченный долго уговаривал остаться в лагере вольнонаемной, но разве могла Марья Павловна с новым паспортом, с дорожными документами усидеть в опостылевшем лесу.

И очутилась она в купейном вагоне скорого поезда Владивосток — Москва. В купе оказался сосед, сразу уступивший нижнее место. Ехать долго, разговорились, сосед представился — Юрий Андреевич Христов — и добавил с легкой улыбкой:

— Извините за интимную подробность — пока холост!

\* \* \*

Зойка появилась на свет против желания родителей, даже наперекор им. Жили они в то время в глуши — сто восемьдесят километров от железной дороги, и не было никого, кто бы помог Марье Павловне избавиться от беременности. Посылали ее к бабке. Марья Павловна сгоряча согласилась, но всю ночь проплакала — страшно было идти к грязной, противной старухе. Так и не пошла.

Родилась Зойка дома — до ближайшей больницы было около двадцати километров, а мороз в эту февральскую ночь стоял невероятный даже для тех мест — сорок восемь градусов.

На рассвете Юрий Андреевич, просидевший всю ночь у соседей, вошел в свою комнату, и сердце у него дрогнуло: рядом со счастливой, сияющей Марьей Павловной лежало крохотное существо с большими голубыми глазами, чуть заметно шевелило пухлыми губами, словно пыталось причмокивать.

— Посмотри на нашу доченьку! Посмотри, — сказала Марья Павловна. — Она мне теперь всего дороже, а я, дура, хотела ее выковырнуть...

Прошло недели две. Как-то ночью Юрий Андреевич все ворочался, кричал, потом сел у жены в ногах и сказал ласково:

— Надо, Маша, собираться, пока не засыпались. Нам с тобой теперь в казенную квартиру садиться немудрено, а такое может каждый день случиться, я последнее время не совсем чисто работал. Пора...

И они очутились в Краюхе.

\* \* \*

Несколько лет Юрий Андреевич «воздерживался». Хватало ранее накопленного и связал руки страх — в случае неудачи навсегда расстаться с женой и дочерью. С непривычки пришлось по душе и слава неутомимого труженика, бескорыстного радателя за артельное дело. Он надолго запомнил аплодисменты, которыми проводили его с трибуны городского совета.

Ему несколько раз предлагали более крупные должности, сватали даже в заместители председателя горпромсовета, но он, помня о своей бурной биографии и о некотором несоответствии анкетных данных с житейской практикой, вежливо, но твердо отказывался.

А когда Бушуев уж очень насел на него, Юрий Андреевич находчиво отпарировал:

— Я человек беспартийный, могу не ту линию загнуть.

Бушуев, однако, не успокоился.

— Линию мы выправим, а беспартийность твоя не на всю жизнь.

Юрий Андреевич от активных действий воздержался, но предложение запомнил.

Но вот однажды зимой командировали его по кооперативным делам в Ленинград. Дел у него было немного — согласовать в одном учреждении поставки ножевой фанеры для мебельной фабрики горпромсовета и добиться скорейшей отгрузки вагона толя для «Коопремонтстроя».

В ночь перед отъездом, дождавшись, когда жена и дочь уснули, Юрий Андреевич «снял остатки». Как ни осторожно расходовал он деньги, все же покупка дома, денежная реформа и ежемесячные дотации к зарплате свели почти на нет дальневосточные запасы — в христофоровской кассе оставалось около пятнадцати тысяч рублей.

В Ленинград Христофоров приехал в грустном настроении — словно голодный вылез из-за стола.

В служебных делах, правда, повезло — работники в обоих сбытах оказались оперативными, решительными, все уладилось за день, и можно было спокойно заняться своими делами.

Утром следующего дня Юрий Андреевич пошел купить подарки жене и дочери.

Прямо из «Европейской», где ему удалось получить номер, он, перейдя Невский, попал в Гостиный двор.

В галантерейном отделении молоденький продавец отмеривал покупательнице узкую резинку для вздержки. Покупательница попросила показать черные ленты для кос и пожаловалась на строгие порядки в школе: «Не понимаю, почему девочки должны ходить в класс только с черными лентами. С алыми или с голубыми не позволяют. А это так нарядно». Продавец отшутился: «Начальству виднее!» — и, завернув покупку, сам получил деньги. Покупательница поблагодарила и ушла. Продавец с вежливой улыбкой обратился к Христофорову:

— Что прикажете?

Юрий Андреевич не успел ответить. Продавец с беспокойством вдруг прикинул на счетах и, подбежав к двери, крикнул:

— Гражданочка! Вернитесь!

Он постоял на пороге и смущенно сказал Христофорову:

— Ушла...

— Не доплатила?

— Я с нее лишки взял. Ленты с первого числа уценены, а я по старой цене подсчитал...

— На много?

— Почти на пять рублей.

— Не разорится. Видал, какая на ней шуба?

— Неловко...

— С миру по нитке... Сколько, примерно, через вашу лавочку покупателей проходит?

— Проходит много, да не все покупают. Многие только интересуются...

— А сколько вот таких лопоухих, вроде этой дамочки, которую вы обшелкали?

— Не понимаю, о чем вы... Я же вам сказал — новая цена...

— Возможно. Если таких дамочек до ста в день пропустите, большой барыш можно иметь.

— Гражданин! Я бы просил вас...

— А ты помалкивай... А то я мигом постового крикну. Новые цены! Не на таковского напал.

— Если вы не прекратите, я сам милицию приглашу!

— Черт с тобой. Неохота связываться... Времени у меня в обрез.

Юрий Андреевич хлопнул дверью и вошел в соседнее отделение — писчебумажных и канцелярских товаров. Делать ему тут было ровным счетом нечего. Но сердце колотилось, стало трудно дышать. Продавец из галантерейного отделения не выходил из головы: за минуту почти пять рублей заработал! Сколько же он за смену отхватывает? А все почему? Без кассы, сам даю, сам беру...

Часа три бродил он по Гостиному, прикидывая: сколько тут можно заработать, если действовать с умом, остороженько.

К полудню попал в Дом торговли, поднялся на последний этаж и сверху начал обозревать этаж за этажом, все с теми же мыслями: «Да тут озолотиться можно!»

Из Дома торговли прошел в большой «Гастроном» на Невском. Здесь он совсем потерял голову, так захотелось ему самому встать за прилавок, резать колбасы, отвешивать семгу.

— Если бы все это было мое! Да что я... С ума, что ли, схожу? Зачем мне все это? А хорошо бы...

Он подошел к контрольным весам, окрашенным под цвет слоновой кости, и не удержался — погладил их.

Вскоре он сидел в ресторане «Восточный». Пахло жареным луком, помидорами. За соседним столиком сначала тихо, а потом все громче и громче спорили трое веселых здоровяков. Два тугих портфеля лежали на стуле. До Юрия Андреевича доносилось:

— Зачем ему наряд? Пусть он позвонит Крылышкину, а еще лучше сам к нему пойдет... Отпустит! Я же его всю жизнь знаю... Мужик деловой...

Ночью в поезде Юрий Андреевич долго не мог уснуть.

— Хватит мне разыгрывать «работягу». Занимаюсь черт знает чем! Пусть кто-нибудь другой политминуты и производственную гимнастику внедряет.

Он вспомнил про свой «остаток», и под ложечкой снова засосало как от голода: «На полгода, больше не хватит. А после что? Те трое в ресторане на сдачу даже не посмотрели. Зашибают, значит, здорово. И никто их не трогает. Надо только не зарываться. Благородно надо, и подо все лозунги современные подводить: «Расширяем производство для более полного удовлетворения нужд трудящихся!» И будем расширять, и этим самым трудящимся действительно поможем, но и себя не обойдем... Самолеты делать не надо, их советская власть без нас делает. Станки или машины — не наше дело. Даже зажигалки не будем осваивать — пусть советская власть сама осваивает, а вот про камешки она не вспомнит. Камешки наши. И вообще советская власть за всем углядеть не может — дел у нее миллионы, а мы выберем одно-два. А может, в производство вообще лезть не надо. Есть где руки приложить: пересортица, недовес, списания... Если с умом — никакой контроль не страшен. А прейскуранты? На одну только селедку, говорят, полсотни цен — и все разные. А мясо? А птица? Уточка или курочка третьей категории? А мы ей на лапку — бумажную браслеточку с первым сортом! Яблоки! Мандарины... Одному, понятно, ничего не сделать: нужны помощники. А где их взять? В отдел кадров не пойдешь, в техникум заявку не отнесешь. Надо самому. Постой, постой, кто это у меня недавно две сотни до поллучки просил? Кокин! Совершенно верно — Кокин, заведующий кол-

басной мастерской. Дурак, видно, иль может для отвода глаз просил? Колбасная — это же золотой прииск, жила... Скорее всего он дурак, не умеет разрабатывать. Я ему пятьсот для начала предложу. А если не возьмет? Возьмет. У него глаза жадные. Хорошо бы еще Латышева из «Сети». Цех кондитерский у него замечательный. Можно такие дела делать. А он на деньги лютый: хрусталь все скупает, картинки заказывает. Говорят, одних собственных портретов четыре штуки держит... А если Стряпкова захоронить... Ничего, кадры найдутся, важно их направить...»

Засыпая, Христофоров подумал:

«Пойду к Бушуеву. Скажу: «Давай рекомендацию, я теперь понял — без партии мне не прожить!» Или еще что-нибудь в этом роде. Найду, что сказать. Он, дурной, еще обрадуется... А может, не надо? На партийные документы фотоснимки нужны. Придется сниматься. Не хотелось бы... Нет, не надо, не пойду...»

## ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

### *объясняющая, почему директор ресторана „Сеть“ Алексей Потапович Латышев прервал свой завтрак*

Алексей Потапыч завтракал ровно в восемь. Он вообще жил по твердому расписанию: утром употреблял «Столичную», пополудни «Старку», вечером — коньяк. Отклонение допускалось в одном случае — отсутствующая по недосмотру буфетчицы «Старка» заменялась приблизительно по цвету «Охотничьей». Пива душа Алексея Потапыча не принимала вовсе. Для сопровождения «Столичной» шел боржом или нарзан. Коньяк и «Старка» проходили самостоятельно.

К сервировке утреннего стола Алексей Потапыч относился совершенно равнодушно: вся закуска подавалась на узкой длинной селедочнице.

— Важно что, а не на чем. Я ведь не клиент. Это гостя надо сервировочкой ударить, чтобы он сразу понял — тут тебе не чайная, а первый разряд... Лично мне важно качество.

К качеству и особенно к свежести продукции Латышев относился как молодой санитарный врач, впервые получивший участок.

— Если клиент животом начнет маяться — еще доказать придется, что он именно от нас пострадал. А если я занедужу — тень на наше заведение сразу упадет, потому все знают, что я, кроме как здесь, нигде больше не питаюсь...

Завтракал Алексей Потапыч не один, а в обществе своего любимца Васьки, огромного кота тигровой масти. Ваське подавались на маленькой тарелочке шпроты или крупные сардины южного улова. От тощих балтийских сардин он брезгливо отвертывался.

Когда Алексей Потапыч поднимал стопку «Столичной», на лице его одновременно отражались величайшая ненависть и глубокое сострадание. Торопливо опрокинув водку, он поспешно, с хрустом уничтожал соленый огурец и только после этого обстоятельно принимался за деликатесы: зернистую или паюсную икру, розовую семгу, поросенка под хреном, заливную осетрину, тамбовский окорок. А на кухне, конечно не на главной плите, которая в это время суток еще не отдыхала, а на электрической плитке шипела, урчала, даже взвизгивала картошка на свином сале со шкварками — любимое блюдо Алексея Потапыча.

Откушав и закулив «Краснопресненскую», Александр Потапыч спрашивал подававшую завтрак старшую официантку:

— Сколько с меня?

Официантка бойко стучала костяшками счет и называла солидную сумму. Алексей Потапыч кричал, хлопал себя по карманам, проверяя тут ли бумажник, и неизменно говорил:

— Дешевле похоронить. Никакой зарплаты не хватит.

Поднимаясь, добавлял:

— Запиши...

И, сопровождаемый меланхоличным Васькой, шел в свой кабинет.

Сегодня все шло по раз и навсегда установленному ритуалу: Васька вылизывал тарелочку, а Алексей Потапыч в ожидании жареной картошки просматривал поданное калькулятором общедоступное меню, действительно до пяти часов вечера.

Оставим Алексея Потапыча за этим серьезным занятием и проследим его тернистый, извилистый путь, приведший его в конце концов в «Сеть».

В Краюхе он появился четверть века назад. Был он тогда строен, кудряв, ловок. Первое лето до ледостава он пробыл матросом на водной спасательной станции. Здесь его заметила буфетчица с пристани Соня Богомолова, незадолго перед этим покинутая мужем.

Перезимовав у Сони, Латышев в половодье пришел снова наниматься на спасательную станцию. Его подняли на смех:

— Куда тебе! Под тебя, под борова, баркас надо подавать. Никакая шлюпка не выдержит...

Соня Богомолова постаралась — откормила возлюбленного за зиму на славу. С тех пор Алексей Потапыч начал повторять:

— Из всех видов спорта я признаю только два: еду и сон...

С водной стихией пришлось распрощаться навсегда и с помощью Сони бросить якорь на предприятии общественного питания.

Латышев переменял много должностей: был агентом по снабжению, кладовщиком, заготовителем, дежурным администратором. Последние годы Алексей Потапыч управляет «Сетью».

В собственном доме на окраине Краюхи хозяйствует теперь законная супруга Алексея Потапыча — Анастасия Петровна, крупная дама, известная на всю Краюху любовью к красному цвету и маленьким бархатным бантикам, которыми она в изобилии украшает свои огневые платья. Соня Богомолова, осужденная за солидную недостачу, давно забыта.

В отличие от Сони Богомоловой, больше всего заботившейся о том, чтобы у возлюбленного всегда был полон желудок, Анастасия Петровна немало потрудились над внешним и внутренним обликом своего супруга.

Вид у Алексея Потапыча самый что ни на есть респектабельный. Он всегда хорошо одет: модно и по сезону, ботинки у него отполированы до зеркальности, как, впрочем, и череп. Как-то приехав с курорта, Анастасия Петровна внимательно посмотрела на мужа и безапелляционно заявила:

— Тебе нужны бакенбарды! Да, да, именно бакенбарды. Я весь месяц мучительно думала: «Чем моему Алексею отличаться от остальных работников общественного питания?» Только бакенбардами. Ты увидишь, это поможет тебе выполнять план...

И действительно, после того как Латышев отпустил пушистые, слегка седые бакенбарды, дела в «Сети» пошли лучше. Вскоре официальное название ресторана упоминали только в официальных документах, а в повседневной жизни клиенты, как местные, так и приезжие, стали говорить: «Пойдем к бакам!», «Давайте тяпнем у баков!»

Но главное, что сделала Анастасия Петровна с супругом, — она приобщила его к искусству, вдохнула в его торговую душу начатки эстетики. Она познакомила его с художником Леоном Стеблиным, и тот,

вдохновенный бакенбардами, написал портрет Алексея Потапыча. Через Стеблина Латышев познакомился с Полуектом Безбородовым — тот тоже написал портрет. Так постепенно Алексей Потапыч втянулся в изобразительное искусство, посещал вернисажи, мастерские художников и даже рискнул на открытии отчетной выставки пейзажиста Анатолия Гнедина произнести речь.

С тех пор за Латышевым прочно закрепилась слава мецената: он охотно покупал натюрморты, сирени и автопортреты и легко давал художникам в долг.

\* \* \*

Два раза в месяц кассир приносит Алексею Потапычу зарплату. Один раз в месяц в кабинет к Латышеву, когда там нет посторонних, входит, отдуваясь, шеф-повар Сметанкин. Он молча садится на скрипящий стул, закуривает и задумчиво пускает кольца дыма. Посидев, все так же молча достает из-под грязной куртки и кладет на стол завернутый в газету плотный тяжелый пакет. Латышев выдвигает средний ящик стола и привычно сдвигает в него пакет. Сметанкин встает и деликатно освещается:

— Сегодня, кажись, двадцатое?

Алексей Потапыч столь же вежливо сообщает:

— Совершенно верно, двадцатое. Завтра будет двадцать первое... О господи, дни так и бегут. Так вот и жизнь пройдет. Оглянуться не успеешь...

После ухода Сметанкина Алексей Потапыч перекладывает пакет из ящика в карман и деловой походкой идет домой.

Анастасия Петровна никогда не пересчитывает содержимое пакета — в нем всегда одна и та же сумма — пять тысяч. Сметанкин за три года не подвел ни разу. Все основано на полном доверии.

Пять тысяч — это премия от Сметанкина и от кондитера Хорькова за невмешательство в их дела.

...Картошка готова. Алексей Потапыч опрокидывает еще одну стопку и вооружается вилкой. Но не тут-то было. К нему с виноватой улыбкой на широком, красном лице подходит мужчина лет сорока и сладчайшим голосом произносит:

— Приятного аппетита, Алексей Потапыч. Хлеб да соль.

— Едим, да свой. Рано ты, братец, позаботился.

— Как бы не упустить...

— Раз сказал, значит сказал.

— А я к вам с просьбицей... Рассрочку бы.

— Никаких рассрочек. Сразу и полностью.

— Где же я соберу?

— Это не мое дело. Не соберешь, другого найду. Свято место не будет пусто.

— Это ваше последнее слово?

— Как сказал...

Пять дней назад гардеробщик ресторана Иван Савельевич в одночасье отдал душу богу. Все эти дни в раздевалке временно работал гардеробщик из парикмахерской, находящейся в другом крыле гостиницы, отставной интендант Прохоров. Но как только он заговорил о постоянной работе, Алексей Потапыч уточнил условия:

— Восемь тысяч одновременно и зимой тысячу ежеквартально. В летнее время — половина.

В зал вошла старшая официантка, и Алексей Потапыч начальствующе продолжает:

— Принесете еще две рекомендации, справку с места жительства. И чтобы на работе ни-ни... У меня быть как стеклышко. Легкий запах — и, будьте ласковы, получите расчет. И чтобы с клиентом вежливо... Анюта, подогрей картошку, совсем остыла... Иди, товарищ Прохоров, иди... Как оформишься, так и начинай, действуй...

Съесть любимое блюдо не пришлось. Появился шеф-повар Сметанкин и многозначительно произнес:

— Христофоров к телефону требует. Немедля.

Алексей Потапыч побледнел, сжался, насколько позволяло его шестипудовое тело.

— Чего ему?

— Не сказал...

Алексей Потапыч в суматохе наступил своему любимцу на лапу. Тот рывкнул.

— Вертишься на ходу,— крикнул директор «Сети» и помчался к телефону, пнув по дороге стул.

Он осторожно, словно это была змея, взял лежавшую на столе трубку и сразу услышал голос Юрия Андреевича:

— Где ты ходишь? Опять, наверное, едой развлекался. Смотри, лопнешь... В пять часов соберемся у тебя, как всегда в третьем.

— Третий занят. Художники заказали. У них сегодня юбилей Нешева.

— Меня твои маляры не интересуют. Переседи их в пятый. А в третьем прикажи накрыть. Скажи официантам, Стряпков, мол, мальчишник устраивает. Жениться собрался...

## ГЛАВА ПЯТАЯ

### *объясняющая, что такое „Тонал“*

Три года назад в душный июльский день тогдашнего секретаря краюхинского горисполкома Фролова посетила гениальная мысль. К вечеру эта мысль была реализована — секретарю принесли из типографии изготовленную по его заказу табличку: «Тише! Идет заседание!»

Табличка всем понравилась, и тираж ее немедленно довели до трех экземпляров.

На другой день состоялась проба. Табличку повесили на дверях зала заседаний. Обычно каждый входящий в исполком считал своим долгом приоткрыть дверь и просунуть в щель голову. Некоторые чересчур любопытные граждане даже входили в зал. Когда зал был пуст, эти заглядывания раздражали постового милиционера, так как дверь немилосердно скрипела. Скрип у нее был особенный: на первых поворотах петель она издавала тонкий писк, затем шел легкий хрип, переходящий в низкие басовые звуки. Заканчивалась рулада чем-то похожим на всхлипывание. Чем только петли не смазывали: машинным маслом, колесной мазью, льняным маслом и даже сливочным. После сливочного дверь дня три отдыхала, затем принялась за старое с еще большей мурзыкальной выразительностью.

Представьте, что испытывали члены президиума исполкома на заседаниях! А ораторы? При каждом открывании дверей все повертывали голову — интересовались, кто вошел. Опытный оратор делал паузу, а неопытный сбивался со взятого тона и говорил не то, что хотелось председателю.

Как только табличка «Тише! Идет заседание!» появилась на двери, ее открыл только пожарник, проверявший состояние противопожарной охраны.

Фролова поздравили с успехом. А он, поняв магическую силу таблички, второй экземпляр повесил на дверях своего кабинета. Даже посетители, ранее не слушавшие технического секретаря и входившие к Фролову запросто, останавливались перед его дверью как вкопанные.

Третий, самый хороший экземпляр Фролов повесил на дверях кабинета председателя, и тот, наконец, получил возможность сосредоточить свое внимание на общегородских проблемах, а не разбрасываться по индивидуальным нуждам.

Нововведение с невероятной быстротой распространилось по многим городским учреждениям и немало способствовало укреплению дисциплины среди посетителей.

Месяца через два Фролов, посетив радиостудию, приятно изумился: и здесь его, правда, несколько измененная табличка нашла достойное применение. Над дверью радиостудии висело красное световое объявление: «Тише! Идет передача!»

Фролов вспомнил, что нечто похожее он видел у дверей рентгеновского кабинета. Короче говоря, в ход пустили электротехнику, и у кабинета секретаря исполкома вскоре запылало красно-зеленое, как светфор, предупреждение: «Тише! Идет заседание. Не входить!» Посетители были нокаутированы окончательно.

Развитие гениальной мысли Фролова и ее дальнейшее техническое усовершенствование самым безжалостным образом приостановил второй секретарь обкома партии Осокин. Секретарь рассказал о технической новинке на пленуме обкома и выразил сожаление, что такой талантливый рационализатор напрасно пропадает в канцелярии. Происходившая вскоре сессия исполкома поддержала Осокина и предложила Фролову перейти на новый пост — заведовать мастерской по ремонту электроприборов.

Сейчас в горисполкоме секретарствует Петр Иванович Завивалов, но изобретение Фролова, полностью ликвидированное в исполкоме, кое-где еще живет.

\* \* \*

Единственное учреждение, где рационализаторская мысль Фролова не нашла отклика, был «Тонап».

Кстати, не пора ли рассказать, что скрывается за этими пятью буквами?

«Тонап» — это товарищество на паях. Сокращение, да и само название придумал Кузьма Егорович Стряпков. О существовании товарищества знают только его члены. Оно нигде не зарегистрировано, у него нет ни уголовного штампа, ни круглой печати, ни постоянного места нахождения. Но оно существует. Это плод кипучей, неукротимой энергии Юрия Андреевича Христофорова.

Попробуем проникнуть на очередное заседание «Тонапа», проходящее и на этот раз в отдельном кабинете № 3 ресторана «Сеть».

Заседание еще не началось. Давайте познакомимся с обстановкой.

Юрий Андреевич с подчиненными вел себя строго и пьяных на работе не терпел. Еще строже он относился к соратникам по «Тонапу». Никто не имел права выпить и рюмки до окончания деловой части заседания. Разрешалось употреблять лишь почти не уступавшую нарзану местную краухинскую минеральную воду.

Поучения Христофорова на этот счет членам «Тонапа» были отлично известны.

— В нашем положении голову надо держать свежей. Это вам не на собрании писателей.

Поэтому бутылки, установленные на столе, стояли непечатыми.

Все члены «Тонапа» собрались, ждали Юрия Андреевича.

— Может, хватим по одной,— пересохшим голосом предложил заведующий ларьком около парка Поляков.— Авось не заметит.

Заведующий колбасной мастерской горпромсовета Евлампий Кокин укоризненно покачал головой.

— Куда ты торопишься, Владимир Семенович! У него нюх, как у сыскайной собаки. Охота тебе выговора выслушивать. Кончим — хоть купайся в ней.

— Много он взял на себя,— хорохорился Поляков.— Ть нельзя, это нельзя.

— В нашем деле без дисциплины пропадешь,— возразил Кокин.

— Задерживается наш главный,— сказал Поляков.— Взял моду.— И посмотрел на часы.— Опять стоят, окайнные. Сколько на твоих?

Кокин вынул из карманчика старинные золотые часы.

— Тоже стоят. Позавчера заводную головку потерял. Не знаю где. Лонжин. Семь медалей. Теперь таких не делают...

У дверей раздался голоса.

— Идет,— с облегчением сказал Поляков.— Сразу попрошу горло промочить. С утра маюсь.

Но вошел один Стряпков. Он осмотрел всех и весело спросил:

— Мучаетесь, мужики? Вы бы хоть нарзанчик открыли, все же жидкость.

Он прислушался, неожиданно рванул дверь и выглянул в коридор.

— Любят, дьяволы, подслушивать. Юрий Андреевич внизу, у Латышева. Сейчас поднимется. Поляков! Не грусти, улыбнись...

Вошел Христофоров — суровый, решительный. Коротко бросил: «Здорово!» Как будто не поздоровался, а приказал. Сел. Недоверчиво осмотрел: нет ли опороженной посуды?

Стряпков вооружился ключом и заискивающе предложил:

— Может, нарзанчику глотнешь, Юрий Андреевич?

Христофоров не обратил на него внимания и деловито спросил:

— Кто сегодня в коридоре будет? Давай ты, Ложкин.

Заведующий ларьком на привокзальной площади попытался обидеться:

— Почему опять Ложкин? Каждый раз Ложкин! Как будто Ложкину неинтересно.

Стряпков налил фужер пива, быстро намазал хлеб кетовой икрой и подал Ложкину.

— К самому интересному, к выпивке, мы тебя позовем. А сейчас давай приступай к исполнению служебных обязанностей. На, замори червячка.

Христофоров отодвинул прибор и обычным своим тоном произнес:

— Начнем.— И продолжил уже вполголоса: — Повестка дня у нас сегодня следующая: первое — об отказе Коромыслова понизить ставку, об открытии новой точки, персональное дело Латышева.— Христофоров вел заседание деловито.— По первому вопросу я скажу сам. Этот подонок и взяточник Коромыслов отказался понизить ставку. Вы все знаете, что за каждый килограмм мяса, полученного без наряда для нужд нашей колбасной мастерской, мы обязались вначале платить этой сволочи по тридцать копеек. Кокин, сколько мы тонн переработали в прошлом году?

Кокин на память, без запинки, с готовностью сообщил:

— Переработку мы начали в конце второго квартала. Всего прошло сто шестьдесят восемь тонн.

— Спасибо, Кокин. Так вот прикиньте сами. За это количество мы внесли Коромыслову свыше пятидесяти тысяч, если говорить точно — пятьдесят тысяч четыреста рублей. В этом году... Кокин, сколько?

— Сто восемнадцать тонн, но все уже по наряду.

— Совершенно верно. За сто восемнадцать тонн мы отдали этой прожорливой гадюке еще тридцать пять тысяч рублей. Но, как уже правильно заметил Кокин, в этом году мясо по удовлетворенному нашему ходатайству идет по нарядам. Поэтому мы предложили Коромыслову понизить ставку до десяти копеек. Он категорически отказался. И только после длительных уговоров согласился уступить пять копеек...

— Ну и черт с ними,— не выдержал Поляков.— Если по нарядам, обойдемся и без него.

Христофоров легонько постучал вилкой по стакану.

— Просил бы без разрешения прений не открывать, особенно глупых. Поляков не понимает, что наряд может и быть, а мяса не будет. Коромыслов в этом смысле царь и бог.

— Как же это он не даст по наряду? — снова не выдержал Поляков.— Попробуй не дай...

— Может, ты, Поляков, помолчишь? Все равно умного ничего не скажешь. Коромыслов не только попробует, но и не даст. Так что положение у нас безвыходное, придется продолжать платить... Сколько мы на колбасе заработали?

Кокин поорудовал карандашом на бумажной салфетке, порвал ее и, вздохнув, сообщил:

— Пятьсот семьдесят восемь тысяч. За вычетом сумм, перечисленных Коромыслову, чистая прибыль составила четыреста восемьдесят две тысячи, каковые распределены согласно договоренности: Юрию Андреевичу тридцать пять процентов...

Христофоров властно перебил его:

— Ясно. Я не об этом. Я хочу сказать, что наши прибыли могли быть больше, если бы кое-кто более честно относился к своим обязанностям и не занимался отсебятиной. Да, да, не удивляйтесь, особенно вы, Владимир Семенович Поляков! Вам улыбка совсем в данном случае не к лицу. Наблюдением совершенно точно установлено, что вы, пользуясь торопливостью гуляющих в парке, почти весь весенне-летний сезон чайную колбасу продавали за докторскую, хотя чесноком от нее так и прет.

— Безобразия! — не выдержал на этот раз Борзов.— Так можно подвести всю организацию.

И тут же получил отповедь от Христофорова:

— Я бы на месте Борзова воздержался произносить слова «организация» как сейчас, так и в будущем. Особенно при вполне возможных допросах в ОБХСС. За «организацию» суды дают намного больше... И если учесть, что Борзов сбывал пассажирам чайную за любительскую, недовешивая на каждом бутерброде по десять граммов... Вам ясно, Борзов?

— Ясно,— как эхо откликнулся Борзов.

— Так вот, пойдем дальше. Кое-кто в погоне за сверхприбылью отошел от главного нашего принципа: «Умеренность и аккуратность». В последние дни, Кокин, вы выпускаете такую колбасу, что ее можно отжимать, как мокрое белье. Не понимаю, зачем нарушать выработанный нами стандарт. Кому это нужно? Нам — не нужно. Потребителю, если разобраться, тоже не нужно. ОБХСС — тем паче. А сосиски? Моя Марья Павловна, знаете, как вас крыла? Так дело дальше не пойдет. Надо уметь владеть своим аппетитом. Всех денег не выбрать... Итак, я подвожу итог — с Коромысловым согласиться. За счет уменьшения расценок с его стороны поднять качество. К сепаратным источникам доходов не прибегать, иначе буду снимать с работы. Ясно? С этим вопросом все. Переходим ко второму — открытие новой точки. Давай, Стряпков, докладывай.

Кузьма Егорович встал, откашлялся и как заправский оратор начал:

— Прежде чем перейти к существу вопроса об открытии новой точки, мне бы хотелось остановиться на последних словах Юрия Андреевича об умеренности и аккуратности. Золотые слова! Я не понимаю ни Полякова, ни Борзова. К чему так обнажать состояние дела — обвешивать, грубо устраивать пересортицу? Им, видите ли, мало заработать на пониженном качестве. Вы подумали, куда вы нас пихаете? Качество, если им заинтересуется покупатель, или какой-нибудь инспектор, или рабселькор, надо определять в лаборатории. Это волынка долгая, и оправданий найдется масса: несчастный случай, неудачный замес и прочее. А вы на старых приемах. И уж если допустили, нельзя обманывать свою родную — простите, Юрий Андреевич, за оговорку — свою организацию...

— Нельзя ли покороче, — предупредил Христофоров, не любивший частого упоминания своего имени на заседаниях. — Ближе к делу.

— Перехожу к делу — об открытии новой точки. Изучение деятельности швейной мастерской «Краюхинский закройщик», особенно по линии белья, привело меня к мысли, что и на этом, при некоторых, как справедливо указал Юрий Андреевич, умеренных и аккуратных действиях, можно получить значительный эффект.

— Каким образом? — осведомился Поляков.

— Я не могу сейчас входить в детали, — уклонился от прямого ответа Стряпков. — Кроме того, тебя, Поляков, это интересовать не должно. Важно, что заведующий мастерской, который по понятным вам причинам сюда пока мной не приглашен, не только оценил мое предложение, но уже третий месяц претворяет его в жизнь. Человек, согласный реализовать излишки продукции через ларек, подобран...

— А как он насчет честности? — снова осведомился Поляков. — Не подведет?

— Пусть это тебя не волнует. Во всяком случае, отсебятиной, как некоторые, заниматься не будет... Дело сейчас не в человеке, а в точке. С Бушуевым было проще, ему, бывало, скажешь: «Для удовлетворения основных нужд населения» — и он что угодно подпишет. А Соловьева осторожничает, дайте, говорит, подумать: надо ли открывать новый ларек, не лучше ли всю продукцию передавать торгу? Поди передай ее, да еще всю, когда ее уже тысячи на восемьдесят больше чем надо скопилось! Новая точка необходима, как воздух. Все. Я кончил.

— Что предлагаете? — строго спросил Христофоров. — Какой выход?

— Выход один — уговорить Соловьеву и Завивалова на открытие ларька и приступить к реализации. Иных выходов не вижу.

Юрий Андреевич сердито перебил докладчика:

— Считаю вопрос неподготовленным. Переговоры с Соловьевой поручаем Стряпкову. Он же займется Завиваловым. Все. Как с днем рождения Соловьевой?

— Это же в разном?

— Давай сейчас.

— День рождения Анны Тимофеевны, как я уже докладывал, в понедельник, 13 июля.

— Нехороший день, — вздохнув, заметил Борзов. — Понедельник, да еще тринадцатое число.

— Прошу не наводить панику суеверием, — остановил его Христофоров...

В дверь громко стукнули: раз, два, три. Все умолкли. Борзов замер с открытым ртом. Поляков рванулся было к окну, но, пригвожденный к стулу грозным взглядом Христофорова, так и остался сидеть вполоборота. Не растерялись только Юрий Андреевич и Стряпков. Председатель «Тонапа» шепотом приказал:

— Наливай!

Кузьма Егорович, как заправский официант, наполнил рюмки «Столичной». Христофоров встал и, будто продолжая тост, заговорил:

— Хотя Кузьма Егорович и с опозданием понял, что семейная жизнь — это прежде всего здоровье, тем не менее... Что за чертовщина? Сходи, Борзов, узнай, чего этот дурак Ложкин стучал. Поляков! Поставьте рюмку...

Борзов втолкнул смущенного Ложкина.

— Что у вас там? — накинулся на дозорного председатель. — Какого черта барабанную дробь устроили?

— Этот, как его... судебный исполнитель Севастьянов прошел и с ним старшина Николай Денежкин из второго отделения.

— Где они?

— Постояли около пятого номера и ушли.

— Это Севастьянов за художником Леоном Стеблиным охотится, — дал справку Стряпков. — Большая задолженность по алиментам.

— Иди, — приказал Христофоров караульному. — Иди и не устраивай шума по пустякам... Продолжайте, Стряпков.

Кузьма Егорович вздохнул и продолжил:

— Поскольку канун дня рождения приходится на воскресенье и на гончарном заводе выходной, придется заказанную мной вазу со вложением доставить Соловьевой в субботу. Все обеспечено: соответствующая ваза заказана и уже покрыта глазурью, фотоснимок именинницы раздобыт и лично мной увеличен до желаемого размера, вложение сделано в полной сумме — десять тысяч рублей. Срыва мероприятия не предвидится.

— Ну что ж, — подвел итог Христофоров. — Я полагаю, можем одобрить. Конечно, Соловьева не тот товар. Самое идеальное, если бы нам вместо Бушуева хорошего дурака прислали. Настоящего, стопроцентного, понятно, не надо — хлопот не оберешься, а средненького, вроде Якова Михайловича Каблукова, мы бы быстро приручили. Ну раз нет, так нет, оставим мечты о хорошем кретине и нацелимся на Анну Тимофеевну. А теперь пусть Ложкин позовет Латышева. Придется разобрать его персональное дело. Борзов, поди скажи!

Все замолчали. Поляков потрогал рюмку с водкой и сокрушенно сказал:

— Греется.

Христофоров постучал по стакану.

— Сколько раз вам говорить, Поляков... уберите руку!

Вошел Латышев и, стараясь не встречаться взглядом с Христофоровым, бодро спросил:

— Чего не хватает, дорогие гости? Кажется, все обеспечил?

— Садись, — жестко сказал Христофоров. — За угощение спасибо, но мы тебя не за дополнительным пайком пригласили... Расскажи, как идет реализация. Сколько в этом месяце колбаски возьмешь, сколько сосисок? Как с пирожными?

— Так бы и сказали, — облегченно улыбнулся Алексей Потапыч. — Колбаски возьму, как всегда, норму, сосисочек, возможно, переберу, студенты начали забегать, и они больше по сосискам ударяют. С пирожными пока не ясно. Плохая погода стояла — мало выездов в лес. Тоже и с мороженым...

Христофорову все это было неинтересно. Чувствовалось, что он играет с Латышевым в кошки-мышки и придумывает, как его побольнее поразить. Латышев понял это и тихо забормотал:

— Вот такие дела, значит... надо будет поднажать.

— Ладно, — перебил его Христофоров. — А теперь расскажи нам про Прохорова.

— Про какого Прохорова? — побледнев, спросил Алексей Потапыч. — Это тот, что в Главрыбсбыте?

— Не крути, Латышев, — оборвал Юрий Андреевич. — Сам знаешь, о ком спрашиваю. Восемь тысяч получил?

— Виноват, получил.

— Выкладывай на стол, в общий котел.

— Жене отдал.

— Уже успел. Ишь ты, какой пряткий. Обратно выцарапать сможешь?

— Попытаюсь.

— Попробуй. Не выцарапаешь, два месяца не получишь от Сметанкина своей доли. Удержим за полных два месяца десять тысяч.

— Я же только восемь получил!

— А мы тебя оштрафуем... Ударим рублем за нарушение дисциплины. Обрадовался, думал, не узнаем.

— Выходит, Сметанкин накапал?

— Тебя это не касается. И прошу не перебивать. Предупреждаем тебя в последний раз — еще обманешь, найдем замену. Все. Можешь не оправдываться. И сегодняшнее заседание за твой счет. Полностью. Не скупись, подбрось черной икорки...

— Слушаюсь.

— Действуй. А теперь последний малоприятный вопрос. Прибыла из отпуска Марья Антоновна Королькова. Иди, Латышев, иди. Тебя это не касается.

Все насторожились, даже у Стряпкова сбежала с лица хитроватая улыбка.

— Да, показалась, черт ее раздери... Не успела приехать, зашла к Лыкову, потом к Соловьевой.

— Лыков не страшен, — сказал Стряпков, но все же вздохнул. — Он больше по международным вопросам. А вот Королькову до Соловьевой часто допускать нельзя. От этого альянса добра ждать нечего.

— Я говорил, понедельник — день тяжелый, — некстати брякнул Борзов. — Так оно и вышло.

— До понедельника еще палкой не докинуть, — поправил Христофоров, — и еще раз прошу не создавать паники.

Но было видно, что приезд Корольковой не доставил радости и самому Юрию Андреевичу.

— А все без нее как-то спокойнее, — снова вздохнул Стряпков. — Принесла ее нелегкая...

## ГЛАВА ШЕСТАЯ

### — посвящается Марье Антоновне Корольковой

Тридцать шесть лет назад семнадцатилетняя Маша, носившая девичью фамилию Храниловой, несмотря на горькие слезы матери, протесты отца, всю жизнь прослужившего в дворниках у купца Попова, вступила в комсомол. Отец в припадке ярости выгнал дочь из дома, выкинув ей вслед все небогатое приданое: два ситцевых платья, ботинки на пуговицах, бежевый полушалок. Машу временно приютила заведующая женотделом Прасковья Расчетнова. Маша в благодарность подарила ее старенькой матери свой полушалок. Он ей был не нужен: на второй день после вступления в комсомол Маша надела кумачовую косынку и, гордо приподняв голову, прошла мимо родительских окон. Правда, увидев мать, она расплакалась, гордость ее растаяла как дым, но на приглашение вернуться домой ответила твердо:

— Пусть он меня попросит!

Через три месяца, все в той же кумачовой косынке, в туго затянутом ремнем старомодном плисовом жакете Маша стояла в товарном вагоне, опираясь на деревянный брус, положенный поперек двери.

Поезд шел еле-еле, подолгу стоял даже на затерявшихся в лесах полустанках. Но Маше все было нипочем — в том же вагоне ехал ее двадцатилетний супруг Вася Корольков.

Поезд все же добрался до Уфы. Партийно-комсомольский краюхинский отряд встретил сам товарищ Фрунзе. Отряд быстро обмундировали, немного обучили, выдали бойцам трофейные японские винтовки «Арисака», и вскоре, влившись в стрелковый полк, отряд, переименованный в третью роту, принял боевое крещение.

Санитарка Маша Королькова, несмотря на уговоры комсомольцев, красную косынку так и не сняла.

— Убьют тебя, Машка, белые! Как увидят красную голову, так сразу и пристрелят! Подумают — комиссарша!

— Ну и убьют! А тебе что?

Не подействовали на Машу и строгие распоряжения командира второго взвода Василия Королькова:

— Красноармеец Марья Королькова, приказываю снять красную косынку.

— Не сниму! А командовать мной не имеешь права, я в третьем взводе.

Ночью ребята слышали, как комвзвода уговаривал жену:

— Машенька! Сними косынку. Ребята смеются: «С женой справиться не можешь».

— Пусть смеются. Надоест — перестанут.

— Глупая ты, Машка. Ухлопают тебя белые...

Так, в своей приметной косынке и выносила Машенька раненых с поля боя.

Троих тяжелораненых доставила благополучно до укрытой в овраге санитарной палатки. Четвертого, подобранного без сознания, она тащила с трудом и все приговаривала: «Потерпи, миленький... Сейчас придем».

Вдруг ноша показалась ей еще тяжелее. Рука, обхватившая Машенькину шею, обмякла и сползла с плеча.

Маша остановилась, опустила раненого на колючую пыльную траву, расстегнула гимнастерку, приложила ухо к сердцу. Раненый не дышал. Ничего не было слышно, только тикали в кармане часы. На губах у мертвого запеклась кровь. Машенька стащила с головы косынку, вытерла убитому губы. С трудом потащила тело к санитарной палатке. Ветер трепал ее волосы. Она еле добралась, опустила тело на землю, села рядом, положила тяжелую руку к себе на колени и заплакала навзрыд.

Четвертый был командир взвода Василий Корольков...

В феврале 1921 года, отлежав после Перекопа больше двух месяцев в госпитале, с левой рукой на перевязи, Маша возвратилась в Краюху. Отца уже не было — его, как многих краюхинцев, погубил страшный спутник тех лет — сыпняк. Мать, поплавав от радости и от горя, засуетилась: «Чем я тебя, доченька, угощать буду? Ничего у меня нет». Она сбегала к соседке, заняла десяток картофелин, разжилась невероятной для той поры роскошью — фунтом гречневой крупы и рюмкой подсолнечного масла.

Пока мать бегала по соседям, Маша начала приборку. Сметая в кухне пыль, она нечаянно уронила на пол круглый темный камень. Подняв его, она увидела — это вовсе не камень, а лепешка из жмыха.

Мать, полив на картошку масло, сокрушенно сказала:

— Придется без соли... Не достала.

Маша несказанно удивила мать, выложив на стол спичечную коробку, набитую желтой, крупной солью — в дороге подарили красноармейцы.

На другой день Маша зашла в уком партии к старой знакомой Прасковье Расчетновой. После объятий и поцелуев, расспросив Машу о житье-бытье, Прасковья сказала:

— Надо тебе, Машенька, теперь в партию...

Маша улыбнулась и достала из кармана гимнастерки билет члена Российской Коммунистической партии (большевиков).

— Я, тетя Паша, еще в городе Верном вступила. После мятежа. У нас в ячейке Димитрий Фурманов был.

— Ну, тогда мы тебе отдыхать не дадим. Принимайся за работу.

Через несколько дней в краюхинском театре состоялось торжественное заседание, посвященное третьей годовщине Красной Армии. Электростанция не работала. Зрительный зал освещали две керосиновые лампы. После доклада председатель объявил:

— Слово имеет участник боев под Перекопом, красный командир Марья Антоновна Королькова.

Маша подошла к трибуне, и люди, увидев руку на перевязи и орден Красного Знамени, встретили ее такими аплодисментами, что дирижер духового оркестра, не поняв в чем дело, на всякий случай распорядился сыграть туш.

Много с тех пор воды утекло. Несколько лет прожила Маша вдвоем с матерью и, хотя женихов было хоть отбавляй, замуж не выходила — была верна памяти своего Васи. Но время и молодость взяли свое. Пришли в краюхинскую совпартшколу, где на старшем курсе училась Маша, преподавателя Ивана Алексеевича Горелова.

Маша стала его женой. Правда, даже Горелов не знал, что накануне свадьбы (а ее справляли всей совпартшколой) Маша долго сидела у родителей покойного своего Васи: попросила прощенья, поплакала. Может, поэтому и отказалась она стать Гореловой.

— Лучше, Ваня, останусь я Корольковой. К моей фамилии все привыкли...

Вся Краюха знала — дружнее и надежней семьи нет. Иван Алексеевич приучил Машу к стихам и вообще к литературе. Они посещали все концерты, смотрели все спектакли и кинофильмы. Жили в достатке — но кроватей с шипками не заводили, бархатных портьер не покупали и к шелковым абажурам относились иронически. Зато книг в доме хватало.

Через два года появился у них сын. Бабушка попросила назвать его в честь деда — Антоном. Иван Алексеевич, улыбувшись, охотно согласился, заметив, что есть у него свой любимый Антон — он имел в виду Антона Павловича Чехова.

Марья Антоновна по совету мужа закончила заочно исторический факультет Московского университета, получила диплом с отличием и стала преподавать историю в средней школе. Ученики ее обожали, коллеги уважали за прямоту, принципиальность и эрудицию. Она знала в Краюхе всех, и ее — бессменного депутата городского совета — все знали.

Марья Антоновна сохранила одну привычку, ставшую для нее традицией: в торжественные дни — на майских праздниках, в октябрьскую годовщину, восьмого марта — она всегда появлялась с орденом, в кумачовой косынке — это была память о первых днях комсомола, о боях под Уфой, в Туркестане, под Перекопом, память о милом друге Васе Королькове...

В 1941 году Антону шел четырнадцатый год, но это не остановило Марью Антоновну. Иван Алексеевич уехал на фронт в июле, а она, оставив сына на попечении бабушки, — в августе. Провоевала до самого дня Победы, который встретила в Будапеште.

День Победы стал для Марьи Антоновны днем великой радости и огромного горя — получила известие: «Полковник Иван Алексеевич Горелов пал смертью храбрых в боях за Берлин...» А еще через несколько дней пришло письмо от матери: «Не писала я тебе, доченька, не хотела тебя расстраивать. Антоша еще осенью определился в какое-то военноморское училище, и где он теперь — я не знаю...»

После войны Марья Антоновна снова живет в Краюхе, работает лектором в городском комитете партии, по-прежнему депутат. По-прежнему в торжественные дни она появляется в кумачовой косынке, только вместо одного ордена у нее теперь четыре и пять медалей. Мать она похоронила. Сын-моряк обзавелся в Ленинграде семьей и навещает Краюху редко, все больше в плаваниях, но каждое лето присылает к бабушке своего Ваню — удивительно похожего на Ивана Алексеевича.

В этом году Ване у бабушки погостить не удалось — почти месяц Марья Антоновна была с делегацией в Болгарии, потом полный срок отдыхала в Сочи и вот только на днях вернулась в Краюху — помолодевшая, все еще красивая, с хорошей статной фигурой.

А теперь следует рассказать, почему ее возвращение взволновало деятелей «Тонапа» и особенно Юрия Андреевича Христофорова.

Христофоров, изредка встречаясь с Марьей Антоновной, всегда испытывал непонятную растерянность. При разговорах с Марьей Антоновной язык у него ворочался тяжело, он торопливо соглашался с ней и еще больше робел, увидев, как она в ответ на его поспешность усмехалась.

Перед самым отъездом в Болгарию Марья Антоновна перешла на партийный учет в горпромсовет. Сохрани Христофоров свою трезвость и рассудительность, он бы узнал, что этот переход Корольковой на партийный учет в хозяйственную организацию был осуществлен по указанию бюро городского комитета партии, которое, изыскивая новые формы партийной работы, вспомнило о хорошей старой форме и прикрепило некоторых работников городского комитета к первичным организациям.

Но все, связанное с именем Корольковой, выводило Христофорова из душевного равновесия, рассудительность его покидала. Так случилось и на этот раз. Узнав, что Марья Антоновна стала ближе к горпромсовету, он перепугался. А тут еще подлил масла в огонь заместитель секретаря партбюро Лыков, многозначительно заявив:

— Ну, теперь у нас спокойной жизни не будет.

На первом же открытом собрании Христофоров пережил отвратительные минуты. Собрание по существу уже кончилось. Люди стояли вокруг Марьи Антоновны и, как всегда, расспрашивали ее о разных разностях.

Вдруг комсомолка Аня Галкина спросила:

— Скажите, Марья Антоновна, вы в чудеса верите?

Марья Антоновна рассмеялась:

— Не верю, Анечка, не верю... Чудес не бывает.

— Нет, бывают, — настойчиво сказала Аня. — Наш колбасный мастер Кокин в каждый тираж займа по двум облигациям выигрывает. А иногда даже по трем... Как ни спросишь, откуда у него деньги — один ответ: «Выиграл!»

— Ну что ж, значит, ему везет, — усмехнулась Марья Антоновна. — Счастливый человек.

Юрий Андреевич, желая избежать продолжения опасного разговора, неожиданно брякнул:

— Что тут особенного... Мне тоже частенько везет...

— Выходит, и вы счастливый,— все с той же усмешкой сказала Королькова.— Вам с Кокиным везет... А чудес, Анечка, не бывает.

...Недели за две до отъезда Марья Антоновна зашла в колбасную мастерскую. Как раз в этот день сорта шли «нормальные», но Кокин, предупрежденный Христофоровым, все-таки перепугался. Лебезил он, как мог.

— К нам пожаловали, дорогая Марья Антоновна! Очень приятно... Пойдемте, я вам все наше хозяйство покажу... Это вот, извините, мясорубочка...

\* \* \*

А ведь Юрий Андреевич еще не знал самого главного — Кокин нарушил железный закон «Тонапа»: не отправлять «выгодную» продукцию в больницы, школьные буфеты и в детские сады.

Только на днях Христофоров сурово предупредил:

— Более верного способа завалиться нет! В больницах диетсестры, в школьных буфетах всегда толкутся депутаты и мамочки, в детских садах — бабушки. Их хлебом не корми, дай проверить, как кормят, поят и поливают цветы жизни.

Грозь пальцем Кокину, Юрий Андреевич тогда строго напомнил:

— Ребятишки в лагери выехали. Смотри у меня, Евлампий, не зашли им свою «нестандартную». Убую!

А Кокин, как нарочно, не успев рассовать любимую «нестандартную» по привокзальным и парковым ларькам, закатил тридцать два килограмма — два пуда! — в пионерский лагерь «Озерки».

Возможно, все бы обошлось. Колбаса вреда ребятам принести не могла — просто они вылезли из-за стола не особенно сытыми — куски «нестандартной» при поджаривании уменьшались катастрофически. Но кто мог предполагать, что именно в этот день, вернее этой ночью, к начальнику лагеря Тосе Бобровой прикатит из Краюхи на велосипеде соскучившийся по ней молодой супруг Миша и что он, вообще человек трезвый, на этот раз прихватит с собой «для развлечения» бутылку «Рябиновой», а к ней, естественно, потребуется и закуска.

Тося разбудила повара Анну Петровну, и та через несколько минут доставила прямо из погреба мисочку творога и кружок колбасы, благоухающей чесноком. Анна Петровна с явным неодобрением стукнула мисочкой по столу, заявив без всяких дипломатических околичностей:

— Предупреждать надо о гостях. У меня тут не ресторан.

Миша, которого в прошлом году в этом же лагере в качестве жениха принимали любезнее, с недовольным видом отодвинул творог и отхватил солидный кусок колбасы.

Чокнулись. Выпили. Начали закусывать. Едва Миша сомкнул свои молодые, крепкие зубы, как из его груди вырвался вопль. Перепуганная Тося сначала со страхом посмотрела на заводную головку от часов, вытащенную мужем из рта, затем принялась хохотать. Миша кисло улыбнулся, но дотронувшись пальцем до верхней челюсти, крикнул:

— Зеркало!

На месте красивого, жемчужного зуба зияла брешь. От зуба остался только острый обломок.

Тося внимательнее рассмотрела головку и снова засмеялась:

— Везет тебе, Миша. Золотая.

— Не понимаю... У законного мужа неприятность, а тебе весело. Новый у меня не вырастет.

— Вставим... Моисей Михайлович подберет — лучше твоего будет... Можно будет целые часы грызть.

Но Мише было не до шуток. Он все делал молча: молча допил «Рябиновую», молча надел пиджак, молча вывел своего стального коня и скрылся в освещенной серебристой луной березовой роще.

Тося тихо поплакала, убрала вещественное доказательство в спичечный коробок и легла спать. Окно было открыто, но в комнате сильно, почти нестерпимо пахло чесноком — Тося забыла убрать колбасу.

Через час Тосю разбудил подозрительный шорох.

— Мама! — испуганно крикнула начальница лагеря.

— Это я, Тосенька, я.

В окно, стараясь не шуметь, влез Миша.

— Вернулся! Ты меня любишь?

— Люблю, родная, люблю. Ты не обращай внимания... Я погорячился. Обидно... На самом видном месте. А Моисей Михайлович, правда, подберет?

— Подберет.

— Подожди, Тося, я колбасу выкину.

Мир и счастье, потревоженные происшествием, снова воцарились в семье Бобровых.

\* \* \*

Разве мог Евлампий Кокин, нарушая закон «Тонапа», предположить ход всех дальнейших событий? Если бы он знал, кому попадет заводная головка от его золотых часов «Лонжин»! А она пошла гулять по рукам. Утром ее внимательно осмотрел Миша, затем повар Анна Петровна, старшая пионервожатая.

Предположений было высказано много... Как ни пытались руководители лагеря сохранить от ребят этот случай в тайне — ничего не вышло. Ребята за завтраком старательно рассматривали все съедобное — манную кашу, хлеб, котлеты — не попадется ли еще что-нибудь выдающееся.

Это все было для «Тонапа» пустяком. Но заводная головка попала в руки к Марье Антоновне.

Разве мог Кокин предполагать, что Королькова тотчас же после приезда отправится выполнять свои депутатские обязанности? У Марьи Антоновны было в запасе еще два свободных дня, дома одной без внука ей стало скучно, даже тоскливо, и она решила поехать к детям.

Марья Антоновна, осмотрев головку и запас колбасы, дала совет:

— Всю колбасу отправьте в санитарную инспекцию. А эту золотую штучку я сама возьму.

\* \* \*

Секретарь партийного бюро горпромсовета Солодухин был в отпуске, лечил в Цхалтубо простуженные на фронте ноги. Обязанности партийного руководителя временно исполнял заместитель секретаря Лыков, обычно занимавшийся партпросвещением.

Почему Афанасия Константиновича восьмой раз подряд избирали в партбюро, никто понять не мог.

Секретарь Солодухин был человек определенный, прямолинейный, иногда даже резковатый, особенно в оценке некоторых деятелей горпромсовета. Он частенько схватывался с Бушуевым и даже, чего греха таить, были у него и слабости: любил поговорить, или, как он заявлял, «подвести итоги», а к критике относился, как к теще — признавал, уважал, но чтобы любить, этого не было. Случалось, Солодухин, потеряв выдержку, мог накричать на виновного, а потом, остыв, извинялся.

Лыков со всеми был ровен, вежлив. Почти каждому мало-мальски знакомому он говорил: «дорогой мой» или «дорогуша». Критику он просто обожал. Когда на отчетно-выборном собрании в его адрес говорилось что-нибудь неприятное, он смотрел на оратора с ласковой, кроткой улыбкой, как на невесту, а если его хвалили, скромно прятался за спину соседа.

На собраниях он выступал не часто, и все больше по международным вопросам, любил напомнить о необходимости глубже изучать первоисточники, о пользе чтения художественной литературы.

Все его считали вежливым, даже добрым, воспитанным человеком. Он и был — вежливым, воспитанным, но не добрым. Добрый человек не может быть равнодушным, а Лыков ко всему был холоден и спокоен. А улыбался приветливо — по привычке.

И еще: он был великий мастер выдумывать для постановки на бюро такие вопросы, по которым говорить можно было хоть всю ночь напролет, а решения никакого принимать не требовалось — не для чего.

И удивительное дело, как только после отчета секретаря, прений и оценки деятельности бюро начинали составлять список кандидатов для тайного голосования, сразу же несколько голосов кричало:

— Лыкова запишите! Лыкова.

Он выходил на трибуну и делал самоотвод.

— Спасибо, товарищи, за доверие... Но я бы просил уважить мою просьбу. Пора молодым.

А из зала кричали:

— Оставить! Пусть еще поработает.

И когда счетная комиссия объявляла результаты, все удивлялись.

— Смотрите, опять Лыков прошел. Почти последним, а прошел.

На первом заседании бюро его обязательно утверждали заместителем. Никому даже в голову не приходило предложить кого-нибудь другого.

— Есть же Лыков.

Однажды кто-то ему сказал: «Ты у нас вроде Кадогана, был такой в Англии — постоянный заместитель министра иностранных дел. Он при всех состоял — при консерваторах, при лейбористах. Так и ты у нас — секретари меняются, а ты, как врытый... А почему тебя секретарем не сделают?»

Лыков улыбнулся.

— А я, дорогуша, и не стремлюсь в секретари. В тени, дорогуша, меньше потеешь.

Но как только секретарь уходил в отпуск или уезжал в командировку, Афанасий Константинович немедленно покидал свой плановый отдел, где числился старшим экономистом, и перебирался в небольшую комнату партбюро, которую никто, кроме него, не называл кабинетом.

Когда Марья Антоновна вошла к Лыкову, он поднялся из-за стола и пошел ей навстречу, широко распахнув руки.

— Дорогая, Марья Антоновна. Легка на помине. Только сейчас о вас думал. Садитесь, дорогая. А я планчик работы составлял, хочу с вами посоветоваться, как нам лучше один вопросик поставить...

Королькова отодвинула протянутый ей листок.

— Я к вам по конкретному делу.

— Чем могу быть полезным, дорогая?

— Сейчас. Можно форточку открыть? Душно у вас... Скажите мне, Афанасий Константинович, какого вы мнения о Кокине? Как он, по вашему, — мошенник или нет?

— Такая постановка вопроса, Марья Антоновна, я бы сказал, более эмоциональна, нежели основательна. Осмелюсь поинтересоваться, что побудило вас так остро ставить вопрос?

— Дети! Понимаете, дети? Детям послали такую колбасу... Вы только посмотрите. Это же не колбаса, а сплошной уголовный кодекс! Лыков осторожно рассмотрел кусок колбасы.

— Колбаса, конечно, довольно странная. Я бы сказал, не совсем кондиционная. Чего-то тут недоложили, а чего-то переложили.

— За такую продукцию надо к уголовной ответственности привлекать.

— Я вас, дорогая, в ваших чисто административных устремлениях полностью поддержать не могу. Надо доказать, чего недоложили, чего переложили, кто недоложил, кто переложил. И надо воспитывать у конкретных людей чувство ответственности... Людей вообще надо воспитывать. Вот я составляю план мероприятий, давайте запишем — о воспитании чувства ответственности в колбасном цехе.

— Вы, Афанасий Константинович, план составляйте, а я пойду подумаю, что делать, чтобы детей гадостью не кормили.

— Ну и порох вы, Марья Антоновна. Разве я отказываюсь вас выслушать. А почему вы решили, что эта колбаса в недрах нашей мастерской изготовлена? Клейма на ней нет? А она, может, с мясокомбината? Вот я и говорю — вопрос надо изучить, обосновать...

— Это легко по накладной установить. И кроме этого, у меня доказательство есть.

Лыков повертел в руках заводную головку.

— Сколько таких предметов обнаружено?

— Как это — сколько? Один.

— Всего один. Следовательно, это случайность, а не закономерность.

И нельзя из одного случая, а возможно неосторожного поступка, делать далеко идущие выводы. Это было бы несправедливо, более того — опрометчиво.

— Вы же колбасу видели?

— Видел.

— Убедились?

— Надо изучить...

Марья Антоновна с удивлением посмотрела на Лыкова, торопливо поднялась и ушла, хлопнув дверью. Афанасий Константинович ласково посмотрел ей вслед, покачав головой: «Ах кипяток, кипяток!» И принялся за составление плана. На клетчатую бумагу ложились ровные, каллиграфические строчки: «Дополнительные мероприятия. Первое. Провести в колбасной мастерской беседу о воспитании у работающих чувства ответственности за порученное им дело. Второе...»

Афанасий Константинович задумался: что записать вторым пунктом? Оставить один пункт — отступить от канона. А ничего больше не выдумывалось. Второго не было.

## ГЛАВА СЕДЬМАЯ

*в которой появляется Анна Тимофеевна Соловьева*

Выйдя от Лыкова, раздосадованная Марья Антоновна столкнулась в коридоре с инженером Анной Тимофеевной Соловьевой, временно, после отъезда Бушуева, исполняющей обязанности председателя горпромсовета.

Королькова, на правах старшей приятельницы, сходу накинулась на Анну Тимофеевну:

— Где ты, матушка, была? Почему я должна на эту медузу время тратить?

Соловьева обняла Королькову за плечи и ласково ответила:

— Была я, Марья Антоновна, в банке, а у какой-то медузы вы время потеряли — я не поняла. Пойдемте ко мне, потеряем еще немного.

— Медуза — это Лыков.

— Медузу я не принимаю, — отпарировала Анна Тимофеевна. — Он уважаемый человек и давно в партии, немного меньше, чем вы.

— Не важно, когда он вступил, важно, до каких пор коммунистом остался... А ну, покажись. До чего же ты сегодня интересная, Аннушка. Прелестная кофточка... Где взяла? Смотри, уж очень ты без мужа форишь!

О своем наряде Анна Тимофеевна промолчала. Сказать ей было нечего. Она принадлежала к тем женщинам, которые в простеньком ситцевом платьице или даже в комбинезоне выглядят нарядными. На ней был голубой костюмчик, белая кофточка с кружевным воротничком.

Очевидно, этот воротничок и производил праздничное впечатление. А может быть, все шло от ясных серо-зеленых глаз и доброжелательной, сердечной улыбки.

Читатель вправе сказать: «Сразу видно, Соловьева тип положительный. Эк ее автор расписывает: ясные глаза, доброжелательная, сердечная улыбка. Совершенно верно: Анна Тимофеевна, в основном, человек положительный. А о ее ясных глазах и сердечной улыбке автор рассказывает исключительно в силу жестокой необходимости, потому что ясные глаза и сердечная улыбка Соловьевой вскоре обсуждались в вышестоящих организациях и вызвали много споров.

— О чем вы, Марья Антоновна, хотели поговорить?

— Полюбуйся! И этой гадостью Кокин детей кормить собирался. Детей!

— Да, действительно дрянь. Это наша? Точно?

— Наша, наша.

— Хорошо, Марья Антоновна, я разберусь. Спасибо, что пришли. Я сейчас Христофорова приглашу. Это больше по его части.

— Я бы на твоём месте другому поручила все выяснить. Возьми вот еще в придачу...

— Что это?

— Заводная головка. Золотая. Муж Тоси Бобровой в колбасе нашёл. Зуба из-за нее лишился. Надо узнать, чья это головка?

— Я знаю. Кокин вчера весь день искал.

— Кто у тебя посудой занимается?

— Каблуков, Яков Михайлович.

— Персона брата? Тогда понятно. Не знаешь, у себя он?

— Наверное. Где же ему быть!

— Да они на месте не сидят — как ни позвонишь, то на совещании, то в горисполкоме, а больше всего дома обедают. Я к нему. По-надоблюсь — позвони.

— Обязательно!

Королькова ушла. Пока Анна Тимофеевна одна, давайте познакомимся с ней поближе. Вот она подошла к окну, раскрыла его, протянула руку и сорвала с липы, что растёт под самым окном, листок. Несмотря на жаркий день, листок прохладный, от него приятно пахнет июлем, от одного прикосновения к нему на душе становится как-то милее и, честное слово, начинаешь мечтать о чём-то хорошем.

Анна Тимофеевна улыбнулась, приложила листок к губам, и раздалось знакомое с детства «чок».

Сначала автор хотел последовать установившейся в последнее время литературной традиции и сделать Анну Тимофеевну хорошей производственницей, но несчастной в личной, семейной жизни. Чуть ли не в каж-

дом романе, повести, рассказе, пьесе, не говоря уже о кинофильмах, героини то и дело терпят семейные неприятности — им изменяют, от них уходят мужья (правда, некоторый процент неверных возвращается в родной дом), а покинутые женщины гордо идут своей дорогой (правда, некоторые, наиболее слабые, гибнут, уходят из жизни самыми различными способами, и всегда в тот момент, когда автор просто не знает, что ему делать с героиней).

Было очень соблазнительно ввести в повествование всяческие интимные подробности, ссору и последующее примирение двух супругов. Можно было показать даже бракоразводный процесс — соблазнов была уйма.

Но встал законный вопрос — зачем все это? Так ли уж это типично? И автор начал подворный обход близлежащих строений, стал наводить справки в домоуправлениях о количестве разводов. Получилась интересная статистика. Из 1965 обследованных семей 1962 оказались прочными, нормальными. Две семьи действительно дали трещину, дело дошло до — «гр. Ш... Н. С., проживающий 2-ая Аэропортовская, 7—15, кв. 145 возбуждает дело о разводе с гражданкой Ш..., проживающей там же».

Учтя все это, пришлось отказаться от соблазнов и рассказать про Анну Тимофеевну без всякой выдумки, по-справедливому. Да и зачем сочинять, если у Анны Тимофеевны отличный, нежный, заботливый муж, и он ее очень любит. А какие прелестные дети у Анны Тимофеевны! Дочке восемь лет, вся в маму, с серо-зелеными глазами, воспитанная, в этом году пошла в первый класс, приносит одни пятерки и отстаёт по физкультуре — не может кувыркаться через голову. Сынку одиннадцатый год. Он в папу, кареглазый, только губы мамыны, пухлые, немножко ленивые. У сынка с физкультурой все в полном порядке — он и прыгает и кувыркается на отлично, зато с арифметикой...

Впрочем, сейчас каникулы и не будем вспоминать о мелких недоразумениях.

Супруг Анны Тимофеевны закончил библиотечный институт, но работает не по прямой специальности — инспектором отдела народного образования. Сейчас он в Москве, на всероссийском совещании. Вот почему Марья Антоновна сказала: «Мужа нет, вот и форсишь!»

Из этой формулировки можно сделать вывод, что Марья Антоновна по приезду информирована обо всем, что происходит в семье Соловьевых. Только одного Марья Антоновна не знает, несмотря на всю свою проницательность: у Анны Тимофеевны, несмотря на ее сияющий нарядный вид, крайне туго с деньгами. Кроме собственной семьи, у нее еще две сестренки — им надо помогать, есть племянница от погибшего на фронте брата — ей тоже надо помогать, и у мужа живы родители — о них тоже надо заботиться.

Зато об этом обстоятельстве — о полном отсутствии у Анны Тимофеевны каких-либо накоплений — лучше всех информированы Юрий Андреевич Христофоров и Кузьма Егорович Стряпков. И, как мы увидим в дальнейшем, они это учли.

Пока мы знакомимся с Соловьевой, в вышестоящей инстанции о ней шел разговор. Разговор не официальный, и не окончательный, но серьезный. Про такие беседы иногда говорят: «Мы этот вопрос где надо провентилировали». Что это означает, понятно не всем и не всегда, но все и всегда делают вид, что все понятно.

«Вентилирование» подходило к концу. Солидный товарищ, поглядывая на часы, говорил другому, менее солидному:

— Ты понимаешь, какое дело, все бы хорошо, но уж очень она, как бы сказать, женственна. Нет у нее этакой мужской напористости. Глаза, словно у девочки, и все улыбается.

— Это пройдет... Я с ней поговорю.

— Боюсь, не справится. Бушуев — тот был орел. А эта, боюсь...

— Вам виднее. Вполне возможно и не справится.

— А с другой стороны посмотреть — человек она грамотный, честный, а там это качество ой как надо. А опыт что...

— Опыт придет.

— А если посмотреть еще — не справится. Молода!

— Я поговорю с ней. Хотя, конечно, молода.

— А все-таки она женщина. А у нас в Краюхе женщин на руководящей работе не так-то уж много. Мне об этом сам Сергей Павлович говорил.

— Да, это верно. Сергей Павлович прав. Женщин надо..

Более солидный еще раз посмотрел на часы и решительно встал.

— Ну, мы этого вопроса сегодня не решим. Ты куда?

— Домой.

— Поехали?

— С удовольствием.

Как только машина тронулась, менее солидный вспомнил про Соловьеву, но не желая посвящать шофера в государственные дела, сказал, не называя фамилии:

— Я думаю, она справится.

Солидный, помолчав, ответил:

— Подумаем. Посоветуемся.

Анна Тимофеевна в это время сорвала еще один листок, снова сделала «чок» и улыбнулась.

## ГЛАВА ВОСЬМАЯ

### — персона брата

Если бы менее солидный товарищ вместо: «Я думаю, она справится» — употребил более туманную формулировку: «Я думаю — справится», важный государственный вопрос, который «вентилировался» в краюхинских верхах, был бы законспирирован полностью. Но личное местоимение третьего лица единственного числа было произнесено, и водителю все стало ясно.

Сначала, понятно, завезли домой солидного. Он, вылезая из машины, сказал шоферу:

— Подвези, Федя, товарища до хаты.

И пообещал еще раз:

— Подумаем, посоветуемся.

Отъехав, Федя весело сказал менее солидному:

— Конечно, справится!

— Вы о ком?

— Об Анне Тимофеевне.

— С чего вы взяли?

— Все говорят: от нас, от шоферов, ничего не скроешь. Мы все знаем. А вы правду сказали — она справится. Толковая женщина, честная. А в этом месте это ох как надо!..

Менее солидного слегка передернуло. Затем пришло успокоение: «А может, и лучше. Голос народа — голос божий!»

А Федя продолжал характеристику Анны Тимофеевны:

— Умная. Обходительная. Вот увидите, как она дело потянет. Она из этого болота чертей повывтаскивает...

Менее солидный, поняв, что разговор может принять острый характер, уклончиво ответил:

— Было бы болото, а черти найдутся. Спасибо, приехали.

Если о чем-либо знают двое, то где гарантия, что об этом же не может узнать третий, а за ним четвертый, пятый.

Короче говоря, слух о возможном утверждении Анны Тимофеевны Соловьевой председателем горпромсовета дошел и до Якова Михайловича Каблукова, заведующего сектором стеклянной посуды и тары.

Утром, собираясь на службу, Яков Михайлович решил проверить запас картошки. Картошки оказалось достаточно. В ящике он увидел авоську, с которой его супруга Елена Сергеевна ходила на рынок. В авоське лежал кошелек, и Яков Михайлович заодно пожелал проверить наличность.

В кошельке Яков Михайлович обнаружил счет за свет и воду. Повторив несколько раз: «Всегда так, всегда», Каблуков вооружился очками и заинтересовался, с какого числа идут пени. Оказалось, пени идут со вчерашнего дня.

Яков Михайлович демонстративно положил счет на стол и сел завтракать, но ему, что называется, кусок не лез в горло. У Елены Сергеевны аппетит тоже отшибло.

Дожевав кое-как, Каблуков нахлобучил соломенную шляпу, забрал счет, с душевным надрывом произнес: «Сам не сделаешь, никто не делает!» и прямо из дома пошел в приходную кассу отделения коммунального банка.

Войдя в маленький, набитый плательщиками зал, он сразу оценил всю нелепость затеи — самому уплатить за свет и воду.

Увидев, что в очереди женщины и дети, он, подняв над головой портфель, начал решительно пробираться к окошечку контролера, деловито повторяя:

— Одну минуточку. Извините, одну минуточку. Мне только справочку...

Он, наверное, добрался бы до окошечка, если бы не школьница с красным бантом в косе.

— Яков Михайлович, за справками идите через служебный ход, со двора.

Каблуков поспешно ретировался к выходу. В девочке с красным бантом он узнал дочь председателя горисполкома.

Уйти просто так, не заглянув к контролеру, означало выдать себя с головой.

Девочка, судя по виду, была в восьмом или в девятом классе, и она, конечно, могла при случае рассказать отцу о встрече.

Минут через пять до ожидающих донесся сердитый голос контролера и гуденье Каблукова.

— Встаньте в очередь, товарищ Каблуков. Выходит, по-вашему, там пешки стоят. Не приму. А про жену вы лучше не говорите. Больна! Я ее утром на базаре видела, вместе лук покупали.

Каблуков гудел:

— Да тише вы! Тише.

— А что? — удивилась контролер. — Почему тише? Вам неудобно, а не мне.

В довершение Каблуков увидел, как в окошечко просунула голову дочка председателя горисполкома и попросила:

— Уж примите у него, Клавдия Петровна! У него жена, наверно, внезапно заболела.

Чертыхаясь, проклиная жену, пени, Клавдию Петровну и свою юную защитницу, Яков Михайлович выскочил на улицу с квитанцией в руках. На ней под копирку, хотя и слепо, но все-таки заметно, к сумме счета было приплюсовано: «Пени — 7 копеек».

Неподалеку от приходной кассы, в тени бульвара Каблукова поджидала еще одна неприятность — навстречу двигался священник. Убежденный атеист, Яков Михайлович попов не любил и встречу с представителями религиозного культа считал за дурное предзнаменование. И на этот раз он, на всякий случай, решил ухватиться за пуговицу. Как назло, он был в расшитой украинской рубашке без пуговиц. Сообразив, что шнурочки спасительный талисман не заменят, Каблуков подержался за пуговицу от брюк. Поп, усмехнувшись, прошел мимо.

Скверно начавшийся для Каблукова день с неумолимой жестокостью катился в избранном направлении. Не успел поп скрыться в зелени аллеи, как Якову Михайловичу повстречался директор завода фруктовых вод и безалкогольных напитков Елизар Иванович Сидоров. Про Елизара Ивановича говорили, что он пьет все, кроме продукции своего завода. Его огромный, свекольного цвета нос, напоминавший кусок макета сильнопересеченной местности, здешние остряки прозвали «аттестатом крепости». Но что бы там ни говорили, Елизар Иваныч обладал огромным количеством друзей и узнавал о всех городских новостях еще накануне.

Сидоров издали крикнул:

— Здорово, банки-склянки! Слышал про братца? Опять по радио передавали: «С советской стороны на обеде присутствовал». Вот это жизнь! А у вас перемены, говорят! Ну что ж, давно бы пора. Сколько же можно. Бывай здоров. Да, кстати, нельзя ли у тебя градуированными стаканчиками разжиться? Немного — штук полсотни...

Недолгий этот разговор уязвил Якова Михайловича в самое больное место. Каждое напоминание о брате, занимавшем в столице высокий пост, Каблуков воспринимал как личную обиду. Это усугублялось тем, что возмущаться вслух он не смел и переживал уколы самолюбия скрытно.

Брата Каблуков ненавидел. Разногласия между Монтеки и Капулетти по сравнению с мыслями о мести, которые иногда охватывали заведующего сектором стеклянной посуды и тары, показались бы отношениями между ангелами.

Разъяренная фантазия Каблукова выдумывала для Петра невероятные беды. Самым приемлемым бальзамом для воспаленной души Каблукова явилось бы отстранение брата от высокого поста. Сколько радости принесло бы Якову Михайловичу возвращение брата в Краюху в первобытном звании — Петр Каблуков, и ничего больше. Яков Михайлович не пожалел бы истратить на угощение целую сотню, лично сбежал бы за пивом в вокзальный буфет.

Но брат все шел и шел в гору. Каблуков перестал читать в газетах сообщения о приемах — даже те отчеты, в которых Петр не упоминался, а просто говорилось — «и другие официальные лица», вызывали у Якова Михайловича удушье.

Два года назад Петр Каблуков неожиданно заглянул в родной город. О его приезде тотчас же узнали во всех организациях, и, как он ни отбивался, его всю неделю избирали в президиумы разных собраний, возили в пригородный колхоз. Марья Антоновна Королькова, называя его по старой комсомольской дружбе Петей, уговорила поехать в пионерский лагерь. Впрочем, Петра Каблукова долго уговаривать не пришлось. Он крикнул жену и дочь — смешливую, загорелую Анюту:

— А ну, поехали с Машей!

Он навестил старых друзей, катался на лодке, пел песни, смотрел футбольный матч, и, когда центр нападения краюхинской команды Андрей Шариков вогнал в ворота противника первый мяч и вразвалочку, спокойненько пошел на свое место, — Петр Каблуков не выдержал и, подбросив шляпу, рявкнул:

— Молодец, Шариков! Люблю!

Все эти дни для Якова Каблукова были наполнены нестерпимыми муками. Он плохо ел, плохо спал, осунулся, под глазами появились синие мешки. Самую страшную обиду он получил в последний день, на общегородском собрании интеллигенции, куда пригласили Петра и, разумеется, выбрали в президиум.

Когда молоденькая учительница Таня Гвоздева, читавшая список президиума, назвала Петра Каблукова, в зале дружно зааплодировали.

А затем Таня назвала Якова Каблукова — из уважения к брату, — и его втиснули в президиум. Сначала в зале не поняли, о каком же втором Каблукове идет речь, и кто-то громко поправил Таню:

— Не Яков, а Петр!

Но Таню сбить не удалось. Читать список президиума являлось ее второй специальностью, и она хорошо поставленным голосом бодро отпарировала:

— Я сказала вполне ясно: Каблуков Яков Михайлович!

В зале засмеялись, где-то в заднем ряду тихонько захлопали и, словно устыдившись бесполезных аплодисментов, тут же притихли.

В президиуме братья сидели рядом, как живая диаграмма оптимизма и смертельной усталости и тоски.

Петр, не смотря на свои пятьдесят лет и седину, с озорными, веселыми глазами, доброжелательно улыбался залу.

Яков выглядел старше лет на десять, хотя был моложе Петра. Он как сел, подогнув ногу под стул и опустив глаза на руки, лежащие на коленях, так и просидел все собрание, не подняв головы.

Председательствующий после третьего оратора торжественно-радостно объявил:

— А теперь разрешите, дорогие товарищи, предоставить слово нашему дорогому земляку...

Когда утихли, наконец, аплодисменты и Петр получил возможность начать речь, у Якова Михайловича все внутри похолодело.

Петр сразу овладел залом. Он говорил без бумажки и даже не совсем гладко, но с такой простотой и убежденностью, так увлекательно, что аплодисменты возникали чуть ли не ежеминутно.

Сидевший сзади Якова Михайловича городской архитектор Беликов восхищенно сказал:

— Вот это оратор!

Яков Михайлович обернулся и злобно шепнул.

— Не мешайте! Неужели тише нельзя?

Петр много поездил по миру — бывал в Америке и Европе, дважды летал в Китай и Индонезию, но он, рассказывая, ни одного раза не сказал «я», употреблял преимущественно число множественное: «Когда наша советская делегация...»

Наконец наступил желанный для Якова Михайловича день отъезда. В квартиру Якова Михайловича проводить Петра приехали краюхинские руководители.

Председатель горсовета спросил:

— А почему тебя, Петр Михайлович, в депутаты не мы избрали? Непорядок.

— Я человек подневольный, — пошутил Петр.

— Мы этого больше не допустим, — решительно заявил председатель. — Следующий раз ты от нас пойдешь...

«О господи! Этого еще не доставало!» — с тоской подумал Яков Михайлович, а вслух сказал:

— Беспременно. Глядишь, и мне как депутат поможешь мою нору сменить.

— Ничего себе, нора, — засмеялся Петр. — Три комнаты со всеми удобствами.

— Как дела в школе?

— Хорошо.

— Надеюсь, ты не нахватал двоек?

— А когда у меня были двойки?

— Ну, кажется, все-таки бывали?

— Нет. Тройки бывали и есть.

— Видишь,— наставительно сказал Алексей Андреевич.— А я не знал.

Андрюша поднял голову и с вызовом посмотрел на отца.

— А что может знать человек, который приходит раз в месяц?

Мальчик понимал степень своей дерзости. Но он не отводил взгляда. Алексей Андреевич тоже смотрел на сына и первый опустил глаза.

— Ну, ты просто нахал,— он старался говорить строго.— Ты же должен понимать, как я занят. И вообще я перед тобой отчитываться не намерен. Прихожу, когда сам нахожу нужным.

Андрей сказал:

— Я пойду.

Алексей Андреевич его больше не удерживал.

— Видели? — сказал он, закрыв за мальчиком дверь.— Конечно, это все влияние матери. А что я могу сделать? Мальчишке нужна твердая рука, направление, но это надо осуществлять постоянно, а так, от случая к случаю, ничего не получится. И как подумаешь об этом, то приходишь к мысли — лучше показаться раз в месяц, отдать эти деньги, которых от тебя единственно и ждут... Обратите внимание — задержал на три дня, и вот...

Чем больше он говорил, тем яснее Ксения понимала, что говорить ему не нужно, что все слова не в силах вернуть прежнего невозмутимого доктора Колышева.

Он сам чувствовал это, раздражался, оправдывался, и слушать его было тягостно.

Сема крикнул в дверь:

— Ксения Петровна, мы вас ждем.

Алексей Андреевич удержал ее за руку.

— Если бы вы знали, как мне иногда трудно...

— Пустите, Алексей Андреевич, вы слышали — вызов.

Он горько усмехнулся.

— Неумолимый вызов.

Двери гаража широко распахнулись. Машина мелко дрожала, готовая ринуться в путь. Ксения торопливо подбежала, кого-то нечаянно толкнула и, уже усаживаясь, увидела стоявшего у машины Андрюшу. Точно извиняясь за то, что она его толкнула и за то, что он ей сперва не очень понравился, Ксения протянула ему на прощание руку. Мальчик решил, что его приглашают в машину, и ухватился за руку.

Когда они уже развернулись на проспекте, он удовлетворенно со-общил:

— Я первый раз еду в такой машине — и, оглядевшись, справил-ся: — Тут внутри все специально для вас делали?

— А ты как думал? — ответил Сема.— По особому заданию. У нас еще не то есть. Володя! Включи рацию.

— Чего ее включать? Нас не позовут.

Но Володя все же нажал рычажок, и глуховатый голос настойчиво потребовал:

— Тридцать седьмая, тридцать седьмая...

— Это машину первой подстанции ищут.

— А вы сейчас куда едете?

— К черту на кулички. На Рогожское шоссе.

— А зачем?

— Авария,— значительно сказал Сема.

— И я с вами поеду. Хорошо?

Сема дипломатично промолчал. Пребывание Андрюши Колышева в машине было грубейшим нарушением правил. Основоположник дела скорой помощи столицы, покойный доктор Пучков, чей портрет висел на подстанции, создал законы, которые строго соблюдались и по сей день.

Машины скорой помощи никого никуда не подвозили. Никому не разрешалось ни на минуту останавливать машину по личному делу. И строго запрещалось присутствие в машине посторонних.

Эти традиции настолько вошли в жизнь, что даже Евгения Михайловна не находила нужным о них упоминать.

Мальчишку, который сейчас ехал с бригадой, надо было посадить у ближайшего метро.

— Какое тут метро? — недовольно возразил Лаврентьев. — Все метро в стороне остались. Не ворочаться же.

— Ну, у троллейбусной остановки,— распорядилась Ксения.

— А я отсюда не найду дороги домой,— скромно заявил Андрюша.

Конечно, он врал. Какой же выросший в Москве мальчишка не найдет дороги домой с любого конца города! Но Ксения испугалась ответственности.

— Пусть с нами едет,— попросил Сема. Он сам еще не вполне вышел из мальчишества. Ему было понятно все, что чувствовал сейчас Андрей.

— А если там несколько раненых?

— Один,— дал справку Володя.— Любитель.

— Этих любителей всех надо передавать,— высказался Лаврентьев.— Любители... Хуже их нет.

— А я с весны пойду учиться. Права получить охота,— мечтательно сказал Сема.

— Машину надеешься приобрести? — ехидно спросил Володя.

Начался всегда волнующий разговор о мотороллерах, моторках, малолитражках.

У Володи были здравые, обдуманые рассуждения.

— Молодому, неженатому человеку «Москвич» ни к чему. Ему мотороллер подходит или, скажем, лодочка-моторочка.

И верилось, что у Володи будет «лодочка-моторочка», а со временем и «Москвич». Он вырос в крепкой, хозяйственной семье, хорошо знал цену деньгам.

А Сема ничему цены не знал. Получку он растрачивал в несколько дней, а потом «стрелял» у товарищей по пятерке. Купил дорогой фотоаппарат и быстро к нему остыл. Он любил мечтать:

— Есть такие машины — вездеходы. Едешь, едешь... речка — пожалуиста,— переплывет, овраг — перелезет.

— Рассчитываешь приобрести?

Машина тем временем выехала на малоосвещенное, почти пустынное шоссе. Кое-где кучно светились огоньки, по сырому асфальту струились ручейки света. Потом опять темно. Сообщили, что авария на восьмом километре, а Ксении казалось, что они уже проехали не меньше десяти. Но вот на обочине шоссе вырисовались очертания неподвижной грузовой машины и вокруг нее темные человеческие тени.

— Здесь,— предупредил Володя.

Ксения сказала:

— Андрюша, умоляю, веди себя незаметно.

Она знала, что бесполезно просить мальчика не вылезать из машины. Он выскочил первый, и она тотчас потеряла его из вида.

На месте происшествия уже действовали работники ОРУДа. Что-то измеряли рулеткой, что-то записывали.

Видимо, уже прошли первые горячие минуты аварийной неразберихи, прошел и второй период выяснений, доводов, споров. Все уже было установлено. Шофер грузовой машины стоял у кабинки старого потрепанного «Москвича». У «Москвича» был сплюснен, измят радиатор, и машина напоминала бульдога с разбитым носом.

Пострадавший сидел в покоренной кабине, выставив за дверцу обмотанную плащом ногу. Он и водитель грузовика, изуродовавшего «Москвич», курили и разговаривали.

— Да черт его знает... Дорога сырая, чувствую, заносит меня, а сделать ничего не могу.

— А я, понимаешь, спокойно объезжаю, а тут — толчок. Что за чертовщина, думаю...

— Что у вас повреждено? — спросила запыхавшаяся Ксения.

Хозяин разбитого «Москвича» ответил будто неохотно:

— Ногу мне примяло. Но так вроде ничего. Я поначалу даже ходил. Сейчас вроде заныло.— Он нагнулся, чтобы размотать плащ.

— Сгоряча человек боли не чувствует,— объяснил шофер грузовика.

«Вроде заныло!» Кисти стопы были переломаны.

Сдерживаясь, мужчина кряхтел, морща небритое, усталое лицо.

— Придется полежать некоторое время,— дипломатично сказала Ксения, хотя пострадавший ее ни о чем не спросил.

Ногу быстро взяли в лубки. Опираясь на Володю и Сему, больной на одной ноге доскакал до «скорой». Полулежа на койке, он прикурил новую папиросу от догоревшей. Это было против правил, но Ксения знала, что у него сейчас нестерпимые боли, и молчала.

Уже собирались тронуться, когда Сема вспомнил.

— А мальй?

Андрюша вертелся возле работников автоинспекции. Его беспокоила судьба разбитой машины.

— Куда вы ее денете? — допрашивал он орудовца.— Вы ее здесь оставите?

Сема притащил его чуть не силой. Но и в машине Андрюша не угомонился.

— Вы свою машину просто так бросили?

Хозяина «Москвича», видимо, сейчас одолевали другие заботы.

— А? — будто опомнился он.— Машина? ОРУД заберет. Куда вы меня везете? — обратился он к Ксении и, узнав название больницы, опять промолчал. Только когда уже въехали в город, сказал:

— Это возле моего дома. Один квартал. Нельзя ли там остановиться на минутку? Жену предупредить, чтоб ребенка взяла из детского сада.

— Это я не могу,— сказала Ксения.— Задерживать машину нельзя. Из больницы сообщат по телефону.

— Телефона нет. За ребенком я обычно с работы заезжаю. Девочка ждать будет, а жена не догадается...

Он не просил. Просто пояснил и снова умолк. Видимо, понимал безнадежность своей просьбы. «Скорая» не могла выполнять поручения больных. В конце концов всегда найдется возможность послать домой весточку из больницы. И, конечно, в детском саду ребенка не оставят без присмотра. Но Ксения вспомнила, как однажды, давно, она, по какому-то стечению обстоятельств не смогла прийти в детский сад за Шуриком вовремя и опоздала на целый час.

Малыш стоял в вестибюле детского сада в шубке, в валенках, жалкий, насупившийся. Нянечка пыталась его чем-то развлечь, но он молчал и, только увидев мать, зарыдал горько, иступленно, так, что крупные слезы падали на шубку.

Потом, уже успокоившись, признался:

— Я думал, вы меня совсем бросили, как мальчика с пальчика.

Ксении очень хотелось помочь молчаливому больному. Она знала, что сейчас пришла настоящая боль. На посиневшем лице выступили крупные капли пота, но он только кряхтел, задерживая дыхание.

— Повязка не жмет?

— Ничего, спасибо.

Он закурил третью папиросу.

— Неужели во всем доме нет телефона?

— Постройка барачного типа. Скоро переберемся. О-ох...

Ксения взяла шприц и вдруг почувствовала, что ее потянули за рукав. Андрюша спросил громким шепотом:

— Я сбегая к ним и скажу. Можно?

— Ты не найдешь. Уже поздно.

— Мальчик найдет. Это очень легко. Дом стоит на пустыре, вот тут, за углом. Второй этаж, прямо по коридору, двадцать восьмая комната. Шевыревых спросишь.

— Двадцать восьмая комната,— повторил Андрюша.— Шевыревы. Я не забуду. У меня очень хорошая память.

— Я только тебя прошу, ты ничего не говори моей жене про ногу. Скажи только, что я задерживаюсь и пусть она сходит за девочкой.

— Здесь, что ли? — спросил Лаврентьев, останавливая машину.

— Андрюша, я могу на тебя положиться? — спросила Ксения.— Ты будешь у больницы через двадцать минут?

— Да он в десять обернется,— Шевырев застонал.— Вы не беспокойтесь, это же близко...

Андрей выскочил из машины с сознанием, что ему предстоит выполнить ответственное дело. У него сердце стучало сильнее, чем обычно.

Его даже разочаровало, что действительно сразу за углом открылся пустырь и наискосок стоял вытянутый некрасивый дом.

Ему хотелось, чтобы дом был далеко и путь к нему был прегражден трудностями. Но все оказалось просто. Лестница и длинный коридор, заставленный хозяйственной утварью, никаких опасностей не представляли. Перед дверью с номером «28» Андрей остановился и отдышался.

Ему открыла женщина — низенькая, полная, в пестром платье с короткими рукавами. Она что-то жарила, и ее красные щеки блестели.

Своими острыми глазами Андрюша, еще стоя в дверях, увидел, что за столом сидит человек в меховой безрукавке, а у двери, под вешалкой, лежит вешевой мешок и чемодан.

— Тебе чего, мальчик?

— Шевыревы здесь живут?

— Здесь.

— Ваш муж просил передать, чтоб вы пошли в детский сад за ребенком. А он задержится.

— Как это? — спросила женщина.— Где же это он задержится?

Она уже испугалась. Андрей вошел в комнату, снял фуражку и провел ладонью от лба к макушке.

— Вы понимаете, у него случилась небольшая авария...

— Авария? — крикнула женщина.— Что с ним? Вася, да что же это такое?

Мужчина вскочил из-за стола. На нем были длинные сапоги — выше колен. Они назывались унты.

Мужчина положил руку Андрею на плечо и приложил палец к губам.

— Что с ним? — спросил он тихо, и Андрюша понял. Мужчина боялся, что случилось страшное несчастье, и предупреждает, чтоб он не ляпнул об этом сразу. И тогда Андрею сделалось легко, оттого что он может сказать чистую правду, которая в конце концов не так уж страшна.

— Честное слово, он совсем живой! Машина забуксовала, и трехтонка сплющила радиатор. А у него только нога повредилась. Вот тут внизу. Честное слово, только нога.

Женщина заметалась по комнате, натягивая на себя кофточку и пальто.

— Вася, мне придется за Милочкой пойти. Ты ведь не знаешь где, да и не дадут ее незнакомому. А ты в больницу сбегай. Она здесь близко. Тебе каждый покажет, узнай, что там.

— Я провожу,— вызвался Андрюша.

Мужчина накинул большое меховое пальто с капюшоном.

— Вы издалека приехали? — спросил Андрей, когда они сбежали по лестнице.

— Что ты? — переспросил мужчина в унтах.— Да вот прилетел час тому назад в командировку, а с братом, понимаешь, несчастье...

— Ничего. Только нога. Машину, конечно, жалко.

По улице они бежали. Один раз передохнули, когда Шевырев вытащил из кармана измятую пачку сигарет и закурил.

— А откуда, собственно, ты появился?

— Я из «скорой помощи».

Потом они снова побежали. Их еле догнала какая-то девушка, протянула Шевыреву деньги и сердито сказала:

— Обронили. Я вам кричала, кричала и бежала за вами целый квартал.

Он сказал «спасибо», и Андрей тоже сказал девушке «большое спасибо».

Во дворе больницы им показали, где приемная. Они вошли, в коридоре их встретила Ксения Петровна. Она сказала: «Ах, как я рада, Андрюша, что ты уже здесь!»

Шевырев долго расспрашивал у Ксении Петровны про своего брата. Потом сказал:

— У вас замечательный мальчик, умный, тактичный.

Андрюша думал, что Ксения Петровна скажет: «Это не мой сын», но она ничего не сказала. А Шевырев все ее благодарил:

— Вы нам очень помогли. Я только час как приехал, и вот все это свалилось, но я никогда не забуду, что вы для нас сделали...

Потом они снова уселись в машину, и Сема говорил:

— Вот сейчас приедем, чаю напьемся.

А Володя отвечал:

— Напьемся да опять поедем.

Андрею очень хотелось ехать с ними на подстанцию и снова на вызов, но его высадили у метро «Белорусская». Ксения Петровна спросила: «Есть у тебя пятьдесят копеек?»

И сразу стало грустно и жалко, что все уже кончилось — езда, и мужчина в унтах, и Сема. Неожиданно для себя Андрюша вдруг потянулся к Ксении Петровне. Она прижала его голову к груди. Тогда Андрей попросил шепотом:

— Вы ему... ну, отцу, ничего не говорите, что я с вами был и про все. Хорошо? Не надо.

Они уехали. Все машины пропускали их вперед.

## 8

Нет, они не успели выпить чаю. На подстанции не было ни одной бригады. Их вызвали почти сразу. Наверное, это лучше. Ехать, работать, не думать, не разговаривать.

Один из строгих законов «скорой» гласил: «В первую очередь внимание травме. Все остальные впечатления потом».

Рана была неглубокая. Рассечена только кожа головы, но потеря крови большая, особенно для пожилого человека. И кто их знает, эти травмы головы, они всегда могут иметь нежелательные последствия.

— Йод, давящую повязку,— распорядилась Ксения, протирая пальцы спиртом.

Запыленная, прокуренная каморка автобусного парка быстро превратилась в маленькую операционную. На колченогий стол легла стерильная салфетка, ножницы, пинцеты, шприц.

Потерпевший сидел на табурете. Кровь густо стекала по его лицу. Струйки ее лиловыми сгустками наслоились на лацкане пиджака. Тяжелые капли падали на брюки.

В двери заглядывали кондукторши и фыркали.

— Подбили человека и, хорошее дело, смеются,— сурово сказал Сема.

— И ничуть мы его не подбивали,— возмущенно зашумели кондукторши.— И совсем мы ни при чем. Нам его с улицы привели такого. Он пьяней вина. Милиция привела.

— На инсинуации не отвечаю,— хрипло сказал мужчина.— Медицина, прошу меня не трогать! Пусть все доказательства насилия будут налицо. Пусть кровь моя вопиет!

Ксения взяла ножницы.

— Не подходите! — закричал пьяный.— Требую протокола с подробным описанием увечий, мне нанесенных...

Володя подошел сзади и крепко взял его за локти. Пьяный метнулся.

— Оставьте его, Володя. А ну, сидеть спокойно.

Ксения стиснула зубы, чтоб не выкрикнуть с гневом эти слова.

— Немедленно! — сказала она еще тише и еще внушительней.

С ножницами в руках, отмахнувшись от Володи, делающего предостерегающие жесты, она вплотную подошла к человеку, остро пахнущему винным перегаром, застарелым табачным дымом и кровью.

Он вдруг затих, ссутулив плечи, и покорно отвечал на вопросы Володи, пока Ксения выстригала слипшиеся пряди редких седых волос и накладывала повязки.

— Пеньков, сорок пять лет, бухгалтер...

Сорок пять лет, только сорок пять! А уже склеротические красные жилки на щеках, нечистые желтые белки, вялые ткани, хриплое дыхание. Взять бы тебя в специальную клинику, обмыть сосуды, провентилировать легкие, прочистить печень, вставить новые зубы, укрепить мускулы. И потом выпустить в жизнь молодым, здоровым, каким и должен быть человек в сорок пять лет. Сказать: «Не губи себя, дурак, береги себя...»

Кто это недавно рассказывал об экспериментальных клиниках? Вот где бы поработать! Алексей Андреевич рассказывал...

Пеньков, уже проникшись полным доверием к Ксении, исповедовался, трагически играя голосом.

— Взял в гастрономе бутылку красного. Одну. От всей души. Иду после работы. Отдохнуть. Семейно. В кругу. Нет, не верят. На минутку замечтался на кухне — бутылки нет. Где бутылка? Где, я спрашиваю? Брань. Побои. Изгнали. Кто? Родная семья. Жена.

— Господи! Да как же, поди, ты опротивел ей, бедной,— вздохнула пожилая кондукторша, вошедшая зачем-то в комнату.

— Замечание игнорирую,— гордо сказал Пеньков.

Кондукторша еще раз вздохнула.

— Пальто-то где? Замерзнешь ведь.

Пеньков вдруг мелко затрясся. Слезы потекли по лицу, странно облагороженному шлемом белой марлевой повязки.

— Что я искал всю жизнь? Понимания и сочувствия. И что я встречал? Недоверие и презрение. А раз так, пусть, пусть... Теперь все равно. Он схватил со стола кусок ваты и швырнул на пол.

Кондукторши в дверях прыснули.

Ксения, уже надевавшая шинель, круто обернулась.

— Извините, мадам,— Пеньков галантно приложил руку к груди.— Женщина превыше... Преклоняюсь.

На улице падал первый мокрый снег. Было холодно. Пенькова завернули в одеяло.

Машина постояла перед светофором напротив кино. Яркий свет рекламы и фонарей освещал пестрые пуховые женские шарфики. Ксении давно хотелось такой — сиреневый, но она не знала, где их покупают. У нее всегда было мало времени на «дамские штучки» — так называл Вадим ее дела с портнихами, разговоры о платьях, о модах.

У кино было много народа. Шла новая картина.

— А что у нас сегодня по телевизору? — спросил Сема.

Подстанцию недавно премировали телевизором, и теперь каждый день включали программу от начала до конца.

— Хорошо смотреть картину, когда очередь на вызов у тебя последняя,— мечтательно сказал Сема.

Пеньков жалобно охал. Рассеченная голова начала болеть.

— Вся жизнь прошла,— стонал он, вылезая из машины.— Пролетело все, ничего не осталось, ни следа, ни былиночки. По чьей вине? Исключительно по своей...

— Вам еще жить и жить,— утешила его Ксения.

— Жить... Но как, доктор? Вот вопрос. Хотелось бы жить достойно...

Дежурный врач недовольно ворчал: «Что у меня, вытрезвитель, что ли?...»

Ксения молча оформила документы.

Лаврентьев открыл все дверцы в машине — выветривал винный дух.

## 9

Теперь Ксения знала, что Алексея Андреевича она не любит. Он допытывался:

— Я не понимаю, что произошло? В чем моя вина?

Лгать было не к чему. Говорить трудно. Она молчала.

— После всего... Когда я имел основания думать...

Прихожая — неподходящее место для объяснений. Ксения мыла руки. Доктор Колышев стоял, опершись локтем о стену. Когда мимо кто-то прошел, он беззаботно покачал ногой и, улыбаясь, громко сказал:

— Я рад, что вам понравился мой разбойник.

Все это было недостойно и ненужно.

Ксения сказала:

— Андрюша не хотел, чтоб вы знали о его поездке с нами. Я жалею, что Володя вам об этом проболтался.

Он заторопился.

— Но я ничего от вас не скрывал. Ничего не утаивал. Даже больше, я надеялся, что когда мы лучше узнаем друг друга...

Снова кто-то вошел, и Алексей Андреевич замолчал.

«Я соглашусь оформить наши отношения,— мысленно говорила за него Ксения,— а пока... «волшебные вечера»...

Она вытерла руки и вышла в гараж. Мертвенно поблескивали вытянутые тела машин, Противно пахло бензином. Было холодно.

Ксения вернулась в большую комнату, где светился только синий

эcran телевизора. Кто-то услужливо подвинул ей стул. На экране певица с голыми руками, закатывая глаза, выводила:

Вечер ждала его я понапрасну...

Сема слушал, блаженно приоткрыв рот. Любаша, уже одетая в пальто, не могла оторваться от телевизора и уйти домой. А Ксения все думала: «Что же я наделала, что я наделала... Чем теперь оправдаться перед собой, на что опереться?» Что у нее есть? Шурка, с крутым лбом, с заусеницами на вечно грязных руках. Когда они остаются одни, он лезет целоваться и обижается: «Ты меня без любви поцеловала, поцелуй еще». Ксения вызывала в памяти его лицо, его увертливое, теплое тельце. Но и Шурке она нужна твердая, уверенная в своей правоте, в своей стойкости.

С ней случилось что-то ненужное, горькое, и уже ничего нельзя поправить. Однажды девушка-студентка нечаянно просидела под лучами рентгена полтора часа. Она была еще совсем здорова, смеялась, разговаривала, а Ксения знала, что девушка уже сожжена, убита, что неизбежно, неотвратно появятся страшные последствия ее ошибки.

Ксении хотелось закричать, заплакать. Она сидела, не двигаясь, сдерживаясь. Раздалась три звонка. Кто-то провел рукой по ее волосам, по плечам. Это Алексей Андреевич стоял позади ее стула и, уходя, прощался с ней, пользуясь темнотой.

Ей стало еще горше. Володя, вздохнув, пересел к телефону. «Как же я поеду? Я ничего не могу». Она плакала беззвучно, без слез.

Надо вызвать Вадима. Пусть увезет ее домой. Пусть все узнает. Больше нельзя...

За Ксенией в комнату вошла Евгения Михайловна. Она о чем-то спрашивала. Не слушая ее, Ксения схватила телефонную трубку и торопливо набрала номер. Вадим сонным голосом стал перечислять, что делал Шурик. Ксения сказала:

— Приезжай сюда. Сейчас.

— Сейчас? Какое дело, Ксюша?

Она бросила трубку и легла лицом вниз на диван, обитый холодной скользкой клеенкой.

— Я сегодня больше не могу работать. Вызовите кого-нибудь. Я не могу!

Засунув кулаки в карманы халата, Евгения Михайловна смотрела на Ксению.

— Что это стряслось? Нездоровы?

Она деловито взяла руку Ксении, шевеля бледными губами сосчитала пульс, потом немного подумала и спросила:

— Боли где-нибудь?

Ксении хотелось закричать. Она закрыла глаза.

— Прошу вас, я здорова. Просто не могу. Бывает же так.

— Ну почему бывает? — неодобрительно переспросила Евгения Михайловна. — На все должна быть причина. Заболел человек, ясно. А у вас температура нормальная, пульс прекрасный. И вдруг — «не могу». Похоже на женскую блажь. А нам с вами это не пристало. Не подобает. И горе случится у человека, так он должен себя пересиливать.

Она стояла над кушеткой и рассуждала, подкрепляя свою речь примерами из прошлого.

— Вот еще не так давно, в эту войну, была у нас врач Турова, Вера Викторовна. Как, бывало, бомбежка, она сейчас ложится на диван. Голову в платок закутает, и с места не сдвинешь. У нас самый разгар работы, рук не хватает, а она откровенно заявляет: «Боюсь, не поеду». Взять себя в руки не могла. И уважения не заслуживала.

Из соседней комнаты доносилась музыка телевизора. На тумбочке стрекотал будильник. Каждый звук мешал.

— На ближайший вызов я за вас поеду. А вы встряхнитесь тем временем.

— Я мужа вызвала.

— Ничего. Вадим Дмитрич человек молодой. Он за труд не сочтет.— Она крикнула в окошко своему фельдшеру:

— Николай Матвеевич, сейчас мы будем на очереди.

— Не надо,— попросила Ксения.— Я сама.

— Нет уж. Отдохните, соберитесь. По врачу весь персонал равняется. Этого забывать нельзя.

Любила Евгения Михайловна изрекать истины. Но она ни о чем не спросила. Спасибо и на этом. И уехала не в свою очередь, куда-то далеко, за Лихачевки. А ее строгий, назидательный тон, который вначале только раздражал, точно снял напряжение в горле и на сердце. Ксения встала, отряхнула халат, вынула из сумочки расческу, провела несколько раз по легким, рассыпающимся волосам. И когда Володя сообщил, что «в шестнадцатом отделении милиции посинел мужчина», Ксения нашла в себе силы улыбнуться.

— Посмотрим, с чего это он у них посинел.

## 10

В дверях отделения милиции их встретил затянутый в ремни милиционер. Вежливый, как хозяин дома, он, тяжело бухая сапогами, пошел вперед, ежеминутно оборачиваясь к Ксении и предупреждая: «Тут у нас лесенка», «тут порожек», «сюда пройдите».

Появился начальник — массивный, крепко сколоченный, в хорошо пригнанной шинели. Все в этом месте было ему подстать — тяжелая дубовая перегородка, разделяющая большую комнату, широкие письменные столы и даже воздух, плотно пахнувший кожаными ремнями.

— Медицина пожаловала. Так,— констатировал начальник и подал всем троим крепкую руку.

Откуда-то пришел еще милиционер со связкой ключей.

Загремели затворы, открылась небольшая комната с решетчатым окном.

На полу раскинулся человек. Он метался, рвал на себе рубашку и тяжело выдыхал воздух.

— Задыхаюсь, помогите, задыхаюсь, умираю...

Милиционеры застыли чуть позади начальника. Оба смотрели серьезно и настороженно.

Ксения подошла к больному. Начальник, точно страхуя ее, тоже шагнул вперед.

Человек заметался еще отчаяннее.

— Тише, тише,— сказала Ксения.— От этих движений вам станет только хуже.

Он заломил над головой руки. Ксения разняла их, нащупала пульс и предостерегающе подняла руку.

Милиционеры втянули животы и превратились в изваяния.

Лежащий человек тоже замер на минутку. Его русые волосы падали на высокий лоб, тонкое красивое лицо судорожно дергалось. Он не был похож ни на вора, ни на хулигана.

— У вас прежде бывали сердечные приступы? — спросила Ксения.

Он забился головой о пол.

— Прежде... О... о... прежде...

Ксения опустила на колени и вставила в уши концы фонендоскопа.

— Не двигайтесь. Вы себе причиняете только вред. Успокойтесь.

— Доктор, вы понимаете, что вы мне предлагаете? Успокоиться... Мне успокоиться... Здесь, в этой обстановке, больному...

Пришлось Ксении самой расстегнуть ему пиджак, вытянуть рубашку. Тоны сердца были чисты. Легкие здоровые, в бронхах хрипы застарелого курильщика. Слегка увеличена и уплотнена печень.

Арестованный снова заметался, обдирая о цементный пол коричневое драповое пальто. Он проявлял самое бурное отчаяние, не пытаясь ни сдержаться, ни обуздать себя. Его вытянутые руки, закинутая голова, стесненное дыхание внезапно поразили Ксению уродливым отражением того, что происходило в ней самой. Ей стало противно.

— Прекратите! — горько сказала она. — Володя, дайте двадцать пять капель «Зеленинских».

Больной внезапно сел.

— Мне нужно систематическое лечение в больнице. Что вы со мной делаете? Я буду жаловаться.

Он закашлялся натужно, выворачивая себе внутренности.

— Вам курить вредно, — сказала Ксения.

Начальник тотчас сделал знак одному из милиционеров. Отчетливо топая, тот подошел к изголовью арестованного и протянул руку к папиросной коробке.

Но больной быстро схватил папиросы.

— Последнего хотите лишить? Нет уж, этого я вам не отдам.

Милиционер отступил, выжидая дальнейших приказаний. Арестованный спрятал папиросы в карман пальто.

— Спасибо, доктор, вы сделали свое дело. Теперь можете идти. Спасибо.

— Сдерживайте себя.

— И за совет спасибо. Вы меня хорошо подбодрили.

— Все, — сказала Ксения. — Мы можем идти.

Начальник удовлетворенно кивнул.

— Нет, я удивляюсь, — закричал больной. — Вы интеллигентный человек, врач, со спокойной совестью можете оставить меня в этой обстановке? Вы же, конечно, понимаете, что мне нужен больничный режим. Скажите об этом. Вы ничем не рискуете...

Начальник отделения вопросительно смотрел на Ксению.

— Все, — повторила она.

Снова загремели ключи, плотно закрылась дверь. Начальник провел Ксению вперед. Милиционеры задержались, но любопытные Володя и Сема не отстали ни на шаг.

— Ну, как состояние здоровья? Не внушает? — спросил начальник.

Теперь он уже доверительно наклонился к Ксении.

— Вы знаете, он почему в больницу стремится? Связи установить хочет. Это стреляный воробей. Даром что молодой.

— Что же он сделал?

— Он ловко сделал. Тысячу холодильников продал, и на каждом по триста рублей взятку брал. Сколько получается? Как будто культурный.

Ксения покачала головой.

— Как будто интеллигентный, — рассуждал начальник. — А теперь ему, конечно, условия неподходящие.

В машине горячо обсуждали происшествие.

Сема высказывал предположение:

— Ой, как он теперь жалеет! И чего, думает, я в это дело втяпался! Получал неплохую зарплату, жил бы себе да жил. А сейчас позору на хлебается!

А молчаливый Лаврентьев, который всегда все знал, уже раньше

Больше месяца после отъезда гостя Якова Михайловича терзали знакомые, предполагая, что они доставляют ему приятное.

— Как братец? Что пишет? Будете писать, передавайте привет...

Каблукову хотелось наброситься с кулаками, а приходилось улыбаться, обещать:

— Как же, обязательно передам, беспременно.

Петр написал только одно письмо, тотчас же по приезде в Москву. Благодарил за хороший прием, попросил, чтобы Вася обязательно приезжал к ним на каникулы. Больше писем не было, а приходили, как и раньше, телеграммы четыре раза в год — на 1 Мая, под Новый год, на Октябрьскую и двенадцатого августа — в день рождения Якова Михайловича.

Эти вежливые телеграммы хотелось растоптать, они жгли Каблукову руки, но каждую он долго носил в бумажнике, при случае показывая знакомым бланк с крупными красными буквами: «Правительственная».

Если бы Каблукова попросили объяснить мотивы его ненависти к Петру, он вряд ли сумел бы это сделать. Перепуталось много разных чувств: честолюбие, уязвленная гордость. Яков Михайлович давно решил, что он гораздо умнее Петра, опытнее в житейских и даже государственных делах. Петру просто больше повезло.

Однажды, не выдержав распиравшей его ярости, он при жене и сыне заявил:

— Ловкач он! Нахватался верхов, и все. Как-нибудь колупнуть его поглубже...

И добавил, как всегда, загадочную цитату:

— Молния всегда по высоким предметам ударяет.

Вася вскипел и начал горячо защищать дядю, биографией которого всегда восхищался. Увлечшись, он не заметил, как обидел отца.

— Ты где был, когда дядя Петя в Испании воевал? Сидел дома, выхаживал редиску? А когда он в тылу у немцев эшелоны сваливал? Ты сидел на броне... А когда он учился, жил на стипендию, ты...

За четверть века семейной жизни Елена Сергеевна ни разу не видела мужа в таком бешенстве. Случалось, в гневе он колотил посуду, выкрикивал злые, обидные слова — но таким никогда еще не был. Нос у него побелел, глаза скосились. Он подскочил к двери и бешено закричал:

— Вон из моего дома, тварь! Ну!

Вася месяц жил у приятеля, и только уговоры и слезы матери заставили его вернуться домой.

Но самое обидное Каблуков услышал совсем недавно. Его постоянный недруг Стряпков, ядовито усмехаясь, сказал ему:

— Знаешь, как тебя называют? Есть, говорят, такое дипломатическое понятие «персона грата». А про тебя говорят: — «персона брата».

Вот сколько обид причинил Петр!

А тут директор завода фруктовых вод и безалкогольных напитков растравил начавшую было затягиваться рану.

Только пройдя несколько шагов, Каблуков припомнил последние слова Сидорова: «А у вас, говорят, перемены! Что ж, давно пора... Сколько же можно!» Это на что же он намекнул? Неужели решили Анну Тимофеевну утвердить?

Еще один тяжелый удар за сегодняшний, такой скверный день. Каблуков втайне надеялся, что именно его, Якова Михайловича, учитывая его ум, опыт и, конечно, родство с Петром, пригласят и попросят: «А как вы, Яков Михайлович, насчет того, чтобы поруководить... Мы поможем, конечно...»

Каблуков частенько рисовал себе картину, как он отказывается, понятно в меру, не до бесчувствия, ссылается на нездоровье, усталость, а

его уговаривают: «Ну что ж, дорогой товарищ Каблуков, мы вас подправим, подлечим... Ну, возьметесь?»

И зажил бы Яков Михайлович совсем по-другому. Разница в окладе пустяковая — всего триста рублей. Но председателю полагалась почти персональная машина. Правда, она неважная, куплена из списанных такси, много раз латанная, пегая, но все же машина, а не тарантас. Можно сесть рядом с шофером (только сюда, а не на заднее сиденье) и, отдав приказание, ехать, глядя прямо перед собой. А люди станут говорить: «Каблуков проехал!»

Главное, председатель это уже номенклатура! Номенклатуру Яков Михайлович представлял в виде узкого длинного ящика, а в нем карточки, карточки, карточки. Важно, чтобы твоя карточка попала в этот ящик. Лиха беда начало, а там посмотрим, чья возьмет! Попасть в номенклатуру нелегко, ну а уж если попал, то выпасть из нее, пожалуй, потруднее...

Номенклатурному дозволяется приходиться на службу не к девяти, а попозднее. Уходить, когда угодно, не прячась. С порога надо крикнуть секретарю, этой самой Рыбиной: «Буду в три!» И все. Куда ушел, мое дело. Кстати, Рыбину надо заменить. Дерзка! Ее мог Бушуев терпеть и Анна Тимофеевна, а мы не будем. Нет-с, не будем.

И вообще председатель горпромсовета — это совсем другое положение. Заведующий сектором стеклянной посуды и тары, конечно, тоже неплохая должность. Но кабинет — на двоих, с этим обжорой Стряпковым, заведующим гончарно-художественным сектором. Телефон — на двоих. В недоброе время, когда существовали промтоварные карточки и талоны, — талон на галоши давали на двоих один, приходилось разыгрывать. Все на двоих, только выговоры индивидуально.

...Яков Михайлович побежал. Вернее, ему казалось, что он бежит. Это было странное убыстренное покачивание — раз направо, раз налево, а вперед он продвигался почти шагом. Устав, весь мокрый, присел на скамейку. «Что же это такое? Решили! А мне даже не предложили. А может, это не так? Нет, все так. Сидоров, собачий сын, все знает. Он, наверное, от Завивалова шел. Они приятели. Так и сказал: «Давно бы пора! Сколько же можно!» Это про нее, про Анну Тимофеевну...

Каблуков живо представил, как он сейчас войдет в кабинет, а Стряпков уже там, сидит и чавкает. Он, подлец, ехидно посмотрит на часы и съязвит: «Дисциплинка-то для всех одна, товарищ Каблуков».

Если бы утвердили не Анну Тимофеевну, а меня, я бы показал Стряпкову, где раки зимуют. Он бы у меня вертелся, как червяк на крючке... Ах жизнь! До чего же ты иногда несправедлива!

## ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

*в ней еще раз сообщается о том, что любви все возрасты покорны*

Мы оставили деятелей «Тонапа» погруженными в размышления по поводу приезда Корольковой.

Но не таков Юрий Андреевич Христофоров, чтобы пасовать перед трудностями. Он оглядел своих не столько верных, сколько приученных повиноваться помощников и скомандовал:

— Наливай, Поляков! Как это поется: «Что вы, черти, приуныли». Прямой опасности я еще не вижу, а бдительность мы усилили. Борзов, сними Ложкина с караула. Вольно!

И началось прожигание жизни по-краюхински. Поляков торопливо разлил водку. Стряпков громогласно изрек любимый клич:

— Шампанского и фруктов! И дам переменить!

Единственной дамой в отдельном кабинете была молодая, мускулистая женщина-кочегар в кожаном переднике, изображенная местным художником Леоном Стеблиным на фоне огнедышащей топки.

Выпив по одной рюмке, руководители «Тонапа» покинули зал заседаний — Христофоров и Стряпков, как настоящие администраторы, предпочитали не быть с массой на короткой ноге.

В коридоре Христофоров пропустил Кузьму Егоровича вперед, а сам шагнул в умывальник и принялся тщательно мыть руки. Мыл он столько времени, сколько по его расчетам потребовалось Стряпкову, чтобы выйти из ресторана и немного прогуляться по набережной. Вместе со Стряпковым выходить из питейного заведения не полагалось: воспоминания молодости не позволяли Юрию Андреевичу быть беспечным.

Оказавшись на улице, Христофоров посмотрел направо, чтобы убедиться, следует ли Кузьма Егорович в указанном ему направлении. Мысленно похвалив своего основного помощника за дисциплинированность, Христофоров повернул налево, к дому, не подозревая, какая его там ждет неприятность.

Будь Юрий Андреевич малопроницательным человеком, он бы не сразу заметил, что дома стряслась беда. Внешне все было, как всегда: накрытый к обеду стол, на котором розовой башенкой выделялся любимый графин с водкой. Аромат свежих огурцов и укропа возбуждал аппетит, а при взгляде на селедку, обложенную мелко нарезанным зеленым луком, непроизвольно начинались глотательные движения.

Юрий Андреевич, как всегда, переоделся в пижаму, вдвинул ноги в спортивные тапочки и направился к раковине совершать омовение. И тут его проницательность пробудилась в первый раз. От тишины, царившей в доме, от таинственного шороха в комнате дочери Христофорову стало не по себе.

— Что у вас стряслось? — спросил он жену, пощупав на всякий случай в кармане ключ от чердака.

— Ничего не произошло, — равнодушным тоном ответила Мария Павловна. — Что у нас может произойти?

— А кто вас знает, — буркнул глава семьи, старательно намыливая руки «Красным маком». — Почему Зоя меня не дождалась? Одна пообедала?

— А она не обедала, — уже с едва уловимой трагической ноткой в голосе объяснила жена.

Христофоров кое-как ополоснул лицо и, принимая поданное супругой полотенце, еще раз доказал всю свою проницательность:

— Ну говори, что с ней?

Мария Павловна вытерла слезы и тихо сказала:

— Влюбилась!

Христофоров засмеялся:

— Только-то! Ну, это не велика беда. Не последний раз.

Жена сделала предостерегающий жест и добавила:

— Замуж собралась.

— За кого?

— За своего Васю. За кого же.

— За Каблукова? А ну, позови ее.

Зоя, войдя, встала у стены, заложив руки за спину.

— Я слушаю, папа.

— Мать правду говорит?

— Правду.

— За Каблукова?

— Да.

— Ты хорошо подумала?

— Да.

— Ты его любишь?

— Да.

— А он тебя?

— Да.

— Вы уже, наверное, обо всем договорились?

— Да.

— И где жить будете и на какие средства?

— Мы рассчитываем...

— Меня не интересует, на что вы рассчитываете. Только рассчитывайте, пожалуйста, на себя...

Юрий Андреевич сел к столу, налил рюмку, выпил, крикнул, закусил селедочкой.

— Мать, давай, что там у тебя сегодня...

Зойка с удивлением и даже с растерянностью смотрела на него.

— Папа! Значит, ты не возражаешь?

— Я? Возражаю? Какое, позвольте вас спросить, уважаемая Зоя Юрьевна, право я имею возражать? Вы, не спрося родителей, познакомились, без спросу объяснились, обо всем договорились... При чем же мы тут, старые дураки? Возражать? Да чтобы вся Краюха начала болтать — «Христофоров поперек дочериного счастья встал. Христофоров — домострой! Христофоров — феодал!» Зачем мне это нужно?

Марья Павловна слушала мужа со страхом. Она чувствовала — спокойный тон не к добру, скоро Юрий Андреевич взорвется, начнет кричать непонятные злые слова, бить посуду, судорожно схватит пузырек с каплями Зеленина и весь мокрый повалится, задыхаясь, на кушетку. Так бывало уже дважды — в декабре 1947 года, в день денежной реформы и в первый год их совместной жизни, когда муж увидел, как молодой инженер леспромхоза Крючкин, проводив Марью Павловну до дома, поцеловал ее на прощанье...

И она не ошиблась. Юрий Андреевич бросил тяжелую мельхиоровую ложку прямо в рюмку. Хрусталь звякнул в последний раз, и осколки за сверкали на хлебе и селедке. Христофоров порывисто встал. Он старался воспроизвести как можно больше различных шумовых эффектов: ударил спинкой стула о стену, скинул на пол, как будто невзначай, нож и вилку, уйдя из столовой, хлопнул дверью так, что в горке жалобно задребезжала посуда. Звуки доставляли ему удовольствие и распяляли его.

Марья Павловна со злым шепотом накинулась на дочь:

— Ну, чего стоишь, дура! Убирай! Вывела отца из себя. Он сейчас тебе еще покажет.

Она опять не ошиблась. Христофоров молча вошел в столовую. Это было последнее затишье перед ураганом. Тайфун начался с низких тонов.

— Спасибо, доченька! Спасибо! Удружила! — пока еще своим голосом заговорил Христофоров. — Вырастил доченьку!

Тут уже слышались скрипучие ноты.

— А все ты! — накинулся он на супругу. — Ты! Доченька, доченька, моя маленькая, неразумная... Вырастила дуру! Молчать!

Никто ему не возражал. Жена стояла у окна, наблюдая за улицей, — не дай бог, если соседи услышат скандал. Зойка, как вошла, так и не тронулась с места, стараясь не смотреть на отца. Но он еще громче крикнул:

— Молчать! Я вам говорю — молчать! Вот тебе мое последнее родительское слово — не откажешься от твоего Васи-дурака, уходи из дома. Уходи! И чтобы ноги твоей тут больше не было.

— Хорошо, папа,— спокойно сказала Зойка.— Я уйду. Сегодня же. Немедленно...

Она выбежала в сени. Христофоров бросился в ее комнатку, застучал ящиками комода, начал выкидывать вещи. Полетели чулки, белая кофточка, книги.

Потом раздался рев. Юрий Андреевич появился в столовой с снимком в руках.

— Смотри, мать! Смотри... Полюбуйся на зятя. Почитай, что написано: «Моей единственной ласточке. Люблю. Твой до гроба Вася». Ласточка! Знает, сволочь, какое гнездо у этой ласточки...

Но и у Зойки характер был решительный.

Услышав эти слова, она вернулась, вплотную приблизилась к отцу и тихо сказала: — Отдай!

Христофоров порвал карточку на мелкие кусочки, бросил дочери в ноги.

— Получи!

Зойка не возмутилась, не кинулась на него с криком, а только презрительно посмотрела на его красное лицо с торчащими, как у кота, усами.

— Я тебе, папа, этого никогда не прощу.— И повернулась к матери: — Мама! Разреши взять твой чемодан...

Марья Павловна в окно увидела, как Вася Каблуков, давно, очевидно, поджидавший Зойку в садике, взял у нее чемодан, подхватил любимую под руку, и они зашагали, ни разу не оглянувшись.

После ухода Зойки программа Юрием Андреевичем была выполнена полностью: он бил посуду, кричал, принимал капли, весь мокрый валялся на кушетку, хрипел, стонал.

Потом в доме установилась зловещая, звенящая тишина. Сильно пахло валерьянкой.

В полночь Юрий Андреевич начал каяться:

— Для кого я старался? Для кого ночей не досыпал, лишней рюмки не выпил, в одних брюках хожу десятый год... В отпуск ни разу не ездил. Другие, вроде Стряпкова, каждый год в Сочи, в Гагры, в Кисловодск. А я, кроме краюхинской минеральной воды, ничем не лечился...

Он так настроил себя на жалостливый лад, что не выдержал и заплакал.

Марья Павловна, молча слушавшая супруга, решила, что теперь пришла пора действовать.

— Стоит ли так убиваться, Жора?

В необычные минуты жизни она всегда называла мужа Жорой, в память первых дней знакомства.

— Ты подумай, Жора, что дальше делать? Вася еще ничего, скромный парень, жениться хочет. А если бы она в другого влюбилась? Много их, ловкачей — улестят, а потом — нате вам, воспитывайте внука от матери-одиночки, получайте пособие. Напрасно ты горячился, Жора. Надо бы спокойнее с девочкой поговорить...— Марья Павловна пошла в решительную атаку: — Выдай тысяч двадцать на обзаведение, если не хочешь, чтобы у нас жили...

У Юрия Андреевича слезы немедленно высохли. Он даже взвизгнул:

— За кого ты меня принимаешь? За дурака? Я им двадцать тысяч, а взамен фельетон в «Трудовом крае»?

— Что они враги тебе, что ли?

— Да не они, а через ихнюю глупость. Они же деньги мотать начнут. Зойка в тебя уродилась — мотовка.

— Хороша мотовка. Зимнего пальто и то не имею...

Последнее замечание жены Юрий Андреевич пропустил, словно не слышал.

— Мотовка! Себя нарядит в разные финтифлюшки, босоножек накупит и Васю вырядит. А что люди скажут? «Откуда у дочери Христофорова деньги?»

Марья Павловна заплакала и со злостью выкрикнула:

— Да провались ты со своими миллионами! На кой дьявол они нам, если от них никакой радости. Лезь, считай. Боишься потратить лишнюю сотню. Пропади они пропадом.

Юрий Андреевич из темноты рявкнул:

— Перестань глупости молотить! И не кричи. Хочешь, чтобы соседи услышали?

— Вот-вот. Соседей боишься, родной дочери боишься. Всех. Только надо мной измываешься. Всю жизнь изуродовал...

Супруги замолкли. Минут через пять Марья Павловна выдвинула новую идею.

— Скажем, что это Васе дядя Петр из Москвы на обзаведение прислал.

— Дура! Теперь в это никто не поверит. Раньше могли поверить, а теперь наверху зарплату здорово урезали. И вообще Петр бесребреник... Впрочем, постой, мать, постой. А ты ведь, пожалуй, правду говоришь... Денег я им, конечно, не дам, а жить к себе возьму. Петр Михайлович Каблуков ему родной дядя. Стало быть, и мне свояком будет... Как же я, идиот, об этом раньше не подумал? Яков Каблуков дурак, но зато Петр умен. В семье не без урода. Мать! Беги за Зойкой. Ищи. Где она? Давай ее сюда...

— Она, наверное, у Люськи. Не мог же он ее сразу к себе увести.

— Беги к Люське, беги!

— Да подожди ты, дай одеться.

— Что ты копаешься, клуха, скорее.

— Больно быстр. Сам сходи...

— И пойду. И приведу...

Но Юрий Андреевич, конечно, не пошел. Искать Зойку отправилась мать. А Христофоров, довольный тем, что неприятность, кажется, заканчивается, принялся за самое любимое занятие — размышлять о будущем.

Это заманчивое будущее рисовалось ослепительным. Как только состояние — Юрий Андреевич любил это слово — состояние — дойдет до двух миллионов с половиной, он бросит рискованную возню с ларечниками, колбасниками и этим идиотом, директором ресторана Латышевым. Ради справедливости надо отметить, что сначала Юрий Андреевич думал только о миллионе, потом о двух. Цифра два с половиной появилась сравнительно недавно, после подсчетов, произведенных Христофоровым на основе изучения жизни. Но два с половиной — это досыта, это уже все, точка. Увеличивать эту контрольную цифру он пока не собирался.

— Два миллиона с половиной! Тысяч семьдесят наберит от ликвидации недвижимого имущества: дома, сарая, беседки в саду, фруктовых деревьев. Землю Христофоров собственности не считал: «Что не мое, то не мое!» Ликвидировать надо все, с собой на юг взять самое минимальное. А Юрий Андреевич собирался переехать только на юг — куда-нибудь не в шумное место, но и не совсем в дыру. Лучше всего между Сочи и Гагрой или Гагрой и Сухуми, обязательно на берегу моря: «Куплю дачу из четырех-пяти комнат, с застекленной террасой, а лучше с двумя террасами. Разведу цитрусовые и буду по знакомству сбывать хотя бы даже в Краюхе. Ранняя клубника — доход. Ранние помидоры — доход. С апреля по ноябрь — семь месяцев буду сдавать

комнаты и одну террасу под пансион. Это — доход. Маша отлично готовит. Прислуга будет убирать, мыть посуду, стирать, гладить.

Кто что может сказать? Никто и ничего. Все законно, все прилично. Пенсионер, продал на родине дом — вот, пожалуйста, справка от краяхинской нотариальной конторы, продан еще сарай, фруктовые деревья. Выписываю «Правду» и местную газету, для сезонных жильцов — «Огонек». Аккуратно плачу все налоги, как положено. Атеист. Целиком и полностью одобряю внешнюю и внутреннюю политику. Учю дочь. Что еще надо? А если участковый или еще кто-нибудь начнет любопытствовать, ну что ж, придется пойти на расходы... Конечно, хорошо бы раздобыть документы отставного военного, подполковника или даже полковника. Генерала, понятно, лестно, — все-таки генерал! — но опасно, генералы все на учете, на виду. Лучше подполковника... На пиджак несколько ленточек, надевать не часто, только в революционные праздники. Хорошо! Но где взять документы? Говорят, на юге можно купить. Опасно... Поживем так, по-простому. Все законно. Что еще надо? Самогон не варю, скотины никакой, кроме собаки, не держу...

Господи, до чего же хорошая будет жизнь! Зимой — на пару недель в Москву или в Ленинград. Знакомых появится вагон и маленькая тележка — сколько жильцов за сезон пропустим... А весной! Выйдешь в сад — птички поют. Море ласковое. А когда все зацветет! Где еще, в какой другой стране, пенсионер, рядовой труженик может так жить? Да нигде!..»

Юрию Андреевичу захотелось есть. Он вспомнил, что обед ему сегодня испортила Зойка. Бог с ней. Сейчас придет, и я ей скажу: «Погорячились, и хватит. Зови сюда своего Васю. Вот вам комната, столоваться будете у нас. Давай я тебя поцелую...»

Христофоров налил рюмку, положил на хлеб кусочек селедки. С удовольствием выпил, закусил и принялся за холодные котлеты, которые любил с детства. Маменька, бывало, провожая в гимназию, всегда совала в ранец завернутые в пергаментную бумагу котлетки...

Под окном слышались шаги. Юрий Андреевич вытер губы, приготовился милостиво встретить блудную дочь.

Вошла одна Марья Павловна. Опустилась на стул, заплакала.

— Нет ее у Люськи... И она не знает, где Зойка. Ой, доченька!

И уже не со злостью, а с откровенной ненавистью выпалила мужу:

— Все ты со своими миллионами! Жри их теперь, твои бумажки. Если она утопитесь, я сама в ОБХСС пойду...

— Дура, — с обидой ответил Юрий Андреевич. — Совсем обалдела... С чемоданом топиться не ходят. ОБХСС я тебе тоже припомню...

— Я знаю! Все знаю! Ты давно от меня хочешь отделаться. Ты мне не грози. И тебя не помилуют.

\* \* \*

А Зойка сидела на диване рядом с Марьей Антоновной. Зойка успела и поплакать и посмеяться над своими горестями и, улыбаясь, рассказывала:

— Мы уже заявление в загс подали. Нам сказали: «Приходите, если не раздумаете, через десять дней. Тогда мы вас распишем». Чудаки! Там при нас пожилая пара пришла. Им тоже сказали — подумайте и приходите. А он, такой симпатичный, ответил: «Поздно нам, милая, думать. Мы уже скоро двадцать лет вместе живем. Распишите нас сегодня, мы в Карловы Вары едем лечиться». Их так и не расписали: «Нельзя, по инструкции вы должны подумать!» Сначала они смеялись,

а потом рассердились. Так и нам: «Подумайте!» Ничего, десять дней вчера кончились...

— Ложись, поспи немного,— сказала Марья Антоновна.— А то поблекнешь, жених любить перестанет. Они привередливые нынче, женихи.

— Мой не перестанет,— с убежденностью ответила Зойка.— У нас любовь, как в романе,— до гроба...

\* \* \*

Вася Каблуков, сдав невесту в надежные руки Марьи Антоновны, пошел объясняться со своими родителями.

Пока он в пути, давайте познакомимся с ним поближе, нарисуем его портрет, одним словом, как любят выражаться работники отдела кадров, прольем на него свет.

Васе через пять дней исполняется двадцать четыре года. У него все по возрасту — высокая, плечистая фигура, густые, цвета прошлогодней соломы волнистые волосы, серые глаза, широкий лоб. Из-под ярких, еще не потерявших юношеской пухлости губ проглядывают ровные, один к одному зубы, вполне пригодные для рекламы зубной пасты «Снежинка».

Таких парней опытные ротные командиры ставят правофланговыми, потом их замечает командир полка и производит в знаменщики.

Предчувствуя обвинение в лакировке, спешу сообщить, что у Васи в наружности не все благополучно. Имеются и явные недостатки, даже два. От правой брови осталась только половина, та, что ближе к переносью. Вторая часть, та, что ближе к виску, безвозвратно потеряна в десятилетнем возрасте. Вася чересчур торопливо перелезал через чужой забор. Поспешность была не лишней: хозяин сада, увидев в своем индивидуальном владении непрошенных гостей и защищая свою собственность, спустил с цепи собаку. Свалившись по другую сторону забора, Вася сгоряча не почувствовал боли и только дома, после окрика отца: «Где это тебя угораздило?», посмотрел в зеркало и убедился, что кожа на правой стороне лба содрана. И вот с тех пор отметина осталась на всю жизнь.

Отсутствие половинки брови Васю угнетало мало, потому что именно сюда спускался крутой завиток волос. Второй недостаток безжалостно непоправим и вызывает иногда мрачные переживания — Вася на редкость курносый. Природа, щедро наградив младшего Каблукова здоровьем и силой, злостно сэкономила материал на нос. Анфас он еще был виден, но стоило Василию повернуться в профиль, как эта, столь необходимая и такая горделивая у других деталь лица бесследно исчезала, утопая между тугих с золотистым пушком щек.

Одет Вася по той самой моде, которая, возникнув, говорят, в Париже, победоносно прошла по всей Западной Европе и перекинулась, как эпидемия гриппа, в Восточную. В Советском Союзе эта мода впервые показалась в приморских районах. Причем здесь она охватила не только подростков, но и вполне солидных деятелей государственной торговли, потребительской кооперации, частично культурников многочисленных санаториев и полностью весь мужской состав одного ансамбля песни и пляски. Затем мода поднялась до Ростова-на-Дону, подскочила, миновав центральные черноземные области, к Москве, и уже из столицы пошла вширь и вглубь и, наконец, докатилась до Краюхи.

Согласно этой моде, на Васе рубашка в крупную черно-красно-зеленую клетку, выпущенная поверх брюк на манер женской кофты. Брюки на нем светло-серые, средней узости — трубочки Краюху еще не покорили.

У Васи имелся только один головной убор — ушанка из пыжика, выигранная на студенческом вечере в лотерею. Сейчас она лежала, присыпанная нафталином в сундуке. От прилета грачей до белых мух Вася ходил с непокрытой головой. Он бы ходил так и в сильные морозы, если бы не один трагический случай, в котором несколько повинен один известный московский композитор. Побывав в Англии, он написал очерк о музыке и, между прочим, сообщил, что у всех англичан белоснежные воротнички, мягые пыльники и что лондонцы не носят шляп и кепи, а ходят по улицам в естественном виде — если кудри, так с кудрями, если пробилась лысинка, — с лысинкой. Композитор не забыл упомянуть, что джентльмены все еще носят цилиндры, разумеется, к фраку. Но он забыл упомянуть, какая в Лондоне температура воздуха.

Очерк напечатали в довольно распространенной массовой газете. Дотошные молодые люди, почерпнув из очерка главное, стали следить за чистотой воротничков и не носить головных уборов. Правда, юным кандидатам в джентльмены пришлось туго — цилиндров, к сожалению, у нас не производят, а импорт этой весьма необходимой детали мужского туалета ограничен.

Мода ходить с непокрытой головой докатилась, понятно, и до Краюхи. Но так как композитор позабыл упомянуть про температуру, парни расширили безголовуюборочный сезон до крещенских морозов, которые, как известно, шутить не любят.

И вот трагедия. Дружок Васи Каблукова Митя Прокофьев увлекся и появился без шапки в тридцатипятиградусный мороз. Провожая из кино Леночку Мартынову, он долго стоял с ней около крыльца, втянув голову в плечи, и, набираясь храбрости для первого поцелуя, переминался с ноги на ногу.

Безжалостной Леночке в заячьей шубке, в пуховом платке и меховых ботинках было интересно продержаться Митю, пока он не взмолится... Через два дня Митя лежал в больнице со страшным диагнозом — менингит!

Он выжил, но стал заикаться.

Зойка после этого случая строго-настрога предупредила Васю:

— Надевай шапку, иначе я с тобой никуда ходить не буду. Мне заика не нужен.

Любовь победила моду.

Но вернемся к дальнейшему описанию Васиного туалета. На ногах у него отличные туфли «Парижской Коммуны». Других он обуть не мог, по той простой причине, что эти коричневые, благородного фасона, без всяких излишеств туфли у него единственные, если не считать тапочек и лыжных ботинок...

Впрочем, пора к делу. Надо рассказать, как прошло у Васи объяснение с родителями.

Все обошлось гораздо проще, нежели у невесты. Сначала Вася подверг индивидуальной обработке Елену Сергеевну.

Запивая бородинский хлеб молоком, Вася без всяких предисловий объявил:

— Знаешь, мама, я, кажется, женюсь!

— На ком? — совершенно равнодушно спросила Елена Сергеевна.

— Конечно, на Зое Христофоровой, — удивился Вася. — На ком же больше?

— А как же ты? Я думала, что у вас серьезно.

— У нас серьезно. Мы обо всем договорились.

— Ничего не понимаю... Серьезно, а она выходит замуж.

— Что же в этом несерьезного?

— Странно как-то. Столько лет дружили, а выходит за другого.

— Почему за другого? За меня. Я на ней женюсь... Я.  
— Ты? Так бы и сказал. Я тебя не поняла. Тогда дай подумать немножко... Она девушка хорошая, а вот отец у нее очень несимпатичный.  
— А мне наплевать, извини, мама, я ведь на Зойке женюсь, а не на ее отце. И жить мы будем не у них, а у нас.  
— У нас? Дай немножко подумать... Хорошо, живите у нас.  
— Мама! Я тебя очень люблю. Ты у меня очень хорошая. И Зойка говорит, что она тебя и сейчас любит, а будет еще больше. А как папа? Он не будет против?  
— Дай немножко подумать... Сначала будет против, а потом согласится. Позвать его?

Яков Михайлович в вечерние часы священнодействовал: читал газеты — «Известия», которые он выписывал больше двадцати лет, и местный «Трудовой край». Он позволял отрывать себя от этого важнейшего процесса только в исключительных случаях. Даже когда соседка Евдокия Васильевна подавилась рыбной костью и Елена Сергеевна повела потерпевшую с широко раскрытым ртом к хирургу, Яков Михайлович не оторвался от газеты, а кратко посоветовал на будущее:

— Рыбу надо есть медленно и желательно в очках.

Елене Сергеевне стоило большого труда оторвать мужа от газеты. Яков Михайлович только тогда поднялся с любимого кресла, когда понял, что случай исключительный — единственный сын решил вступить в законный брак.

Каблуков через очки посмотрел на сына и весело, даже с некоторой лихостью спросил:

— Надоела холостая жизнь, сынок? А, между прочим, не в обиду твоей матери, семейная жизнь похожа на мираж, всегда более прекрасна издали...

Яков Михайлович в торжественные моменты любил употреблять афоризмы. У него была маленькая тетрабочка, куда он заносил понравившиеся ему изречения.

— Ну что ж, это твое личное дело, Вася. Только попомни: брак — это лихорадка навыворот, начинается жаром, а кончается холодом... Но когда любишь девушку, тогда все соображение заменяется воображением. Кто она? Зойка? Хорошая девушка. Поздравляю, Вася. Лена! А нет ли у нас, по этому поводу, рюмашечки?

Нашлась и рюмашечка и огурчики. Яков Михайлович поднял рюмку и, посмотрев на сына увлажненными глазами, провозгласил:

— Семья — это сложный механизм! Но нельзя допускать, чтобы он скрипел!..

## ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

### *доказывающая, что и в короткий субботний день можно сделать многое*

Необратимое течение времени, имеющее к тому же одно направление — от прошлого к будущему, уносит столетия и годы, часы и секунды. Но каждые семь дней время, уносясь в вечность, приносит субботу — блаженный, предпраздничный день.

Честь и хвала тому, кто выдумал субботу! Ее любят больше, чем воскресенье. После воскресенья неотвратимо надвигается понедельник, с его заботами, делами, длинной чередой рабочих дней. То ли дело — суббота! Ее любят школьники и академики, театральные администраторы и банщики, официанты в ресторанах и судебные исполнители.

Сдержаннее относятся к субботе постовые милиционеры — в этот день больше всего нарушений правил уличного движения, дежурные санитары вытрезвителей и парикмахеры — из-за наплыва посетителей.

Зайдите в субботу в любое краюхинское учреждение и посмотрите на лица честных советских тружеников. У них совсем другие глаза, утомленные и в то же время просветленные — дел не так-то уж много, все, кроме самого срочного, перенесено на понедельник: «Сегодня же короткий день!»

Посмотрите на солидных начальников отделов. Даже на их суровых физиономиях предвкушение банного удовольствия, доброй кружки пива по пути домой, беседы за семейным столом на приятные темы: пора старшему сыну покупать костюм, а дочери хорошо бы справиться чего-нибудь такое, выдающееся.

Посмотрите на молодежь: машинисток, секретарей, начинающих экономистов, счетоводов, — они перешептываются, улыбаются. И одеты они уже не по-будничному. У одной к платью приколот бант, и кажется, что она вот-вот улетит, у другой в обычный день в ушах только дырочки, а сегодня сверкают, переливаются сережки. У третьей юбка колоколом, на обручах, и за три метра слышно, как она шуршит. Четвертая пройдет мимо и до головокружения обдаст «Жемчугом» или «Пиковой дамой».

Загляните в буфет. По случаю короткого дня обеденного перерыва нет, а народу полным-полно — тут домовитые старшие бухгалтеры, заведующие канцеляриями и общими отделами запасаются разной снедью, преимущественно закусками, на все воскресенье.

А любители рыбной ловли, охотники и футбольные болельщики! Попробуйте, подойдите к главному бухгалтеру краюхинской конторы Главрыбсбыта Володину, когда он в субботу разговаривает по телефону с главным бухгалтером краюхинского отделения Главконсерва Волжаниным. Володин вас так турнет, что будете помнить всю неделю. И на самом деле — как можно приставать к человеку с отчетом о командировке, когда он услышал трагическую весть: «Мотыля нигде нет!»

Хорошо еще, что в Краюхе лет пять назад сгорел ипподром, и таким образом, естественно, ликвидировался тотализатор. А до этого в театре по субботам срывались все репетиции — главный режиссер, два ведущих актера и заведующий постановочной частью с пятницы находились в конюшнях и вели научно-исследовательские разговоры с наездниками.

А сколько в Краюхе садоводов и цветоводов! Есть редкостные знатоки. Сирень столяра Ксенофонтова из артели «Мебель» возили на выставку в Москву. У Ксении Александровны, жены заведующего нотариальной конторой, произрастают до удивления длинные китайские огурцы. Попробуйте задержать в субботу на пять минут заведующего коммунальным отделом Брыкина. Не удастся! По субботам собираются любители служебного собаководства, а у Брыкина кобель удостоен золотой медали.

У каждого в субботу свои приятности, свои хлопоты, свои, — как однажды, очень метко изволил заметить Яков Михайлович Каблуков, — свои «нравственно очищающие душу часы соприкосновения с природой».

И тем не менее суббота, хотя и короткий, но все же рабочий день, который — начинается не на два часа позже, а в обычное время. В это обычное время Кузьма Егорович Стряпков — заведующий гончарным сектором горпромсовета — всегда в служебном кабинете, который он, к великому для него сожалению, занимает вдвоем с Яковом Михайловичем Каблуковым. Но Каблуков сегодня задержался, и Стряпков начал действовать без помех.

На столе у Кузьмы Егоровича расположилась крупная собака. Одно ухо у нее торчит, как у сибирской лайки, второе загибается, как у чисто-

породной дворняги. Морда, особенно нижняя челюсть, досталась, очевидно, в наследство от бульдога. Глаза у этого удивительного гибрида на редкость глупые и нахальные. На толстой шее висит картонка с надписью: «Ориентировочно — 17 рублей 09 копеек — плюс наценка».

Это последний шедевр художественного цеха гончарного завода — копилка, изготовленная по эскизу местного художника Леона Стеблина.

Леон Аполлинарьевич Стеблин личность приметная, особенно для бухгалтеров-ревизоров. Проверая финансово-хозяйственную деятельность промкомбината, артелей и торговых организаций, ревизоры, наталкиваясь на фамилию Стеблина, всегда удивлялись дважды. Первый раз они ахали, узнав, какую круглую сумму удалось отхватить Стеблину за «художественно-прикладные эскизы». Вторично бухгалтеры хватались за головы, подсчитав сумму, на которую затоварились магазины предметами из гипса, металла, дерева и глины, изготовленными по этим эскизам.

Оригинальное изделие из оцинкованного железа чуть не стало последним в буквальном смысле творческим достижением Леона Стеблина. Он уговорил заведующего городским отделом коммунального хозяйства Брыкина дать распоряжение о замене всех номерных знаков на домах. На новом номерном знаке, кроме цифры, был отштампован герб города Краюхи — морда бурого медведя и каравай.

Решением городского совета гвоздильному заводу, которому поручили приготовить знаки, передали несколько тонн оцинкованного железа, предназначенного для замены кровли в медицинских учреждениях. Медики пытались протестовать, но по привычке успокоились, и дело закипело.

Кустарный технологический процесс, дорогой материал, плюс авторский гонорар — пятьдесят копеек с каждой штуки — привели к тому, что каждый знак обошелся в девятнадцать рублей. Даже управдомы обобщественного жилого фонда приобретали новые знаки только после двукратного вызова в отделение милиции. Владельцы частных домов, а их в городе больше половины, наотрез отказались покупать знаки да еще пригрозили послать жалобу в столицу о введении нового, дополнительного, явно незаконного налога на строения.

Брыкин получил выговор за необдуманный поступок и, по совокупности, за разбазаривание дефицитного кровельного материала. Не реализованные тонны знаков пошли в неликвиды. Леон Стеблин вытребовал гонорар, так как, заключая с ним договор, Брыкин недооценил пункт о том, что художник получает вознаграждение с изготовленного количества. Народный суд, как одну копейку, удовлетворил иск Стеблина. Судья Агафонова, хотя и не имела по положению права на эмоции, все же, подписывая приговор, не удержалась от излияния чувств:

— Ну и мошенник!

Леон Аполлинарьевич исчез с краюхинского горизонта, но вскоре его разыскал директор промторга Чистов — надо было расписать стены нового магазина «Детский мир». Верный своему творческому методу гибридизации, Леон Аполлинарьевич основные линии позаимствовал у палешан, мощь человеческих фигур — у Виктора Васнецова, заостренность характеров — у Кукрыниксов, детали туалета — у Бориса Ефимова.

Из двенадцати панно Стеблин десять отвел мифическим сюжетам, одно — счастливому детству и последнее панно посвятил достижениям дирекции торга по снижению издержек обращения.

Особенно удалось Леону Аполлинарьевичу панно «Пир Нептуна». Владыка морей, с лицом и фигурой Ильи Муромца из кинофильма того же названия, держал на огромной вилке грандиозного краба пунцового цвета. Вокруг Нептуна в зеленой мути плавали многочисленные представители подводного мира. Огромный сом, больше похожий на каша-

лота с усами, расположился у ног бога морей. В обувном зале, по первоначальному замыслу Стеблина, в двух узких простенках между окнами должна была отразиться современность: на одном простенке — рабочий и на другом — колхозница. Оба босые, чтобы, так сказать, своим видом напоминать о необходимости приобретать обувь.

Стеблин долго, часа три, мучился над босыми ногами, но получалось плохо — сплошное плоскостопие и без пальцев. Директор промторга посоветовал представителей современности обуть.

Стеблин отошел на несколько шагов, прищурился и задумчиво сказал:

— Нет, нет и нет. Я сделаю вот что...

И он быстрыми ударами малярной кисти исполосовал простенки зигзагообразными линиями, не пожалел сурика и медянки.

— Это будет мой вклад. Моя дань времени и передовому искусству!

Секретарь горкома, заглянувший вместе с женой в магазин через три дня после открытия, позвал директора магазина и, с трудом сдерживая смех, сказал:

— Ну, Алексей Иванович, теперь ты план легко выполнишь. Слух про картинку пройдет, со всего района будут приезжать...

Жена потащила секретаря в обувной отдел — выбрать младшему сыну ботинки. Увидев простенки, секретарь озабоченно сказал:

— Только загрунтовал? Не успел покрасить?..

Леон Стеблин, находившийся в магазине, презрительно скривил губы, дивясь вопиющему невежеству, и громко произнес:

— Не каждому дано понять!

— Что вы сказали? — вежливо обратился к нему секретарь. — Вы, кажется, автор?

— Да, я автор и могу повторить — надо уметь видеть прекрасное.

— Я вижу, — загадочно ответил секретарь. И лукаво добавил: — Между прочим, Нептуну полагаются трезубец, а вы перехватили.

На другой день магазин закрыли «на учет». Маляры из ремонтно-строительной конторы, чертыхаясь, пять раз закрашивали «Нептуна», но он упорно не хотел уходить в небытие. Пришлось въедливого «Нептуна» соскабливать.

В последнее время Стеблин увлекся, как он говорил, «домашней хозяйственно необходимой скульптурой» — лепил из глины авторские экземпляры поросят, петухов, кошек.

Особенной удачей Леон Аполлинарьевич считал копилку-собаку емкостью в два литра. Сначала он назвал ее «Собака — друг человека и сберкасса», потом сократил и оставил краткую, выразительную кличку «Друг».

«Друг» грозил обильным потомством. Стеблин уже замыслил детский вариант «Дружок» — емкостью в литр, и замышлял для дошкольников «Бобик» — для мелкой разменной монеты.

\* \* \*

Кузьма Егорович был рад, что Каблуков задержался, потому что разговор с директором гончарного завода Сосковым был строго конфиденциален.

Выполняя поручение «Тонапа» поздравить с днем рождения Анну Тимофеевну Соловьеву, Стряпков заказал большую гончарную вазу с надписью и фотопортретом именинницы.

Эскиз вазы он поручил Леону Стеблину, а надпись выдумал сам: «Нашему дорогому руководителю от бескорыстных друзей-подчиненных».

Стеблин постарался, призвав всю свою взволнованную неудачей в «Детском мире» буйную творческую фантазию. Основание вазы напоминало пудовую расплюсченную тыкву. От него шло нечто похожее на свеклу хвостом вниз. Ручки, поднимавшиеся от основания до вершины, походили на длинные китайские огурцы, которые поразили Леона Аполлинарьевича в огороде у жены нотариуса. Начав делать вазу без определенного замысла, по наитию, Стеблин, соединив корнеплоды и овощи в единый ансамбль, предложил назвать свое творение «Дары земли». Заказчик попросил соединить тему сельского хозяйства с промышленной кооперацией: «Понимаешь, друг, чтобы не только одно первоначальное сырье, но и продукт переработки!»

Стеблин пустил вокруг основной тыквы широкий орнамент, густо оснастив его ассортиментом изделий горпромсовета: тут были детские деревянные кровати, пивные кружки, рукавицы, валенки и тапочки. Почетное место заняли гончарные изделия: кринки, горшки, цветочницы, и, конечно, любимое детище Кузьмы Егоровича — копилки и свистульки.

На центральной свекле Стеблин оставил медальон в виде сердца для фотопортрета, вокруг пустил надпись, закрутив буквы в лихие вензеля.

Кузьма Егорович увеличил портрет Соловьевой до желаемого размера и попросил Леона Аполлинарьевича для большего эффекта и живописности раскрасить фотографию акварелью. Стеблин сначала покобенился:

— Ни к чему этот грубый натурализм! Я на вашем месте заказал бы мне барельеф — возьму недорого, а получится впечатляюще.

Стряпков в ответ замахал руками.

— С ума сошел! Мне сходство нужно!

Стеблин и тут постарался. Заглянул в горпромсовет, словно бы по делу, посмотрел на Анну Тимофеевну, повертел своей козлиной бородкой и успокоил Стряпкова:

— Будет полное сходство!

Он омолодил Анну Тимофеевну лет на двадцать. Такой розовошкой, с коричневыми соболиными бровями, с пунцовыми губами она едва ли была даже в семнадцать лет.

По личному распоряжению Стряпкова вазу, за особую плату, соорудили после смены доверенные люди — мастер Клепиков и подручный Симуков.

Наклеить портрет Анны Тимофеевны Стряпков доверил лично директору Соскову. Ему же он передал и «вложение» — тугой пакет, перетянутый шпагатом. В пакете лежало пять тысяч рублей. Кузьма Егорович рассудил, что на первый раз, для пробы, хватит и этой суммы: «А то Аннушка зазнается. Да и мне пять тысяч не лишние...»

— Ну как, здорово получилось? — спросил, прикрыв трубку, Стряпков.

Сосков с другого конца города полусшепотом сообщил:

— Фундаментально!

— Ручки зеленые?

— Будьте спокойны.

— Личность наклеил? Крепко?

— Не оторвешь. Казеиновым. Края особо промазал, чтобы не задирались.

— Вложил?

— Обязательно!

— Теперь слушай. Сначала обложи ватой. Понял? Ватой. Потом дай слой бумаги. Возьми в красном уголке подшивку «Трудового края». Понял? Перетяни шпагатом. Только попробуй — крепко ли? Бумажный не пойдет. Пусти натуральный. Потом соломой... Понял?

— Понял, Кузьма Егорович! Все сделаю в точности.

— Пстой, не торопись. Во внутрь чего-нибудь мягкого напихай, ваты или лучше войлока ключьями нарви. Чтоб пустоты не было.

— Понял... Напихаю.

— А красная полоска по орнаменту после обжига хороша?

— Красота!

— Теперь слушай. Посылай прямо на квартиру к адресату. Дай Симукову лошадь... Нет, пстой, Симукова не посылай, он как выпьет, всякую осторожность теряет. Пошли с кучером старуху Тряпкину, пусть она на руках держит. Давай, орудуй...

Стряпков положил трубку и, увидев на пороге Каблукова, ехидно произнес те самые слова, от которых Яков Михайлович сразу терял душевное равновесие:

— Дисциплинка для всех одинакова, товарищ Каблуков. Независимо от родственных связей...

Каблуков молча начал рыться в портфеле, а Стряпков, насладившись поражением противника, полез в нижний ящик письменного стола и, крикнув от натуги, достал тарелку и нож. За окном, выходящим на прохладную сторону, висела обвитая мокрой холщовой тряпкой литровая бутылка с молоком. Кузьма Егорович, охая, поднялся на подоконник, вытянул бутылку и с вожделием прижал ее к щеке.

— Холодненькая!

В Краюхе имелось несколько граждан с громкой славой. Помощник городского прокурора Пенкин слыл любителем книг и библиотеку действительно собрал преотличную. Директор кинотеатра «Центральный» Владимир Петрович Котов собирал книги узкого направления — кулинарные. Преподаватель физики Орест Григорьевич Щукин владел тридцатью тысячами спичечных наклеек. Зубной техник Купершток интересовался библиями. В коллекции бухгалтера горсовета Яшина насчитывалось тысяч восемь карандашей и двести шесть резинок, и все разные. Многие в городе собирали марки.

Муж главного врача городской больницы Яков Аронович Поповский заполнил всю трехкомнатную квартиру кактусами. Колючие красавцы выжили хозяев в небольшой закуток, где еще жили два попугая и огромный, злой, как сатана, доберман.

Парикмахер Михаил Михайлович тридцать лет вышивал волосом картину «Гибель Помпей».

Об этих незаурядных личностях ходили легенды. Многие с упоением рассказывали, что к владельцу коллекции спичечных наклеек Щукину приезжал из Москвы американец-интурист и предлагал в обмен чуть ли не виллу на берегу Атлантического океана.

Стряпков принадлежал к этим легендарным личностям.

Кроме тайного коллекционирования советских денежных знаков в большом количестве, Стряпковым владела еще одна страсть — фотография. Из своего фэда он выжимал полную мощность и делал такие снимки, что все ахали.

И еще он славился как исключительный едок.

Кузьма Егорович ел все. Ел часто. Ел утром. Ел днем. Ел вечером. Ел ночью. Ел много. Его вполне устраивал такой порядок насыщения: селедка, суп, котлеты, масла, зеленый лук, мороженое, кислая капуста, кофе, селедка, суп. Он мог все это уничтожить и в обратном и в алфавитном порядке. Не употреблял он только одного — моченых яблок. Один вид блекло-зеленой антоновки вызывал у него тошноту, и он сразу бледнел. Этой ахиллесовой пятой, хотя и редко, но все же пользовался Каблуков.

Как-то Костя Лукин, счетовод горпромсовета, ровно неделю записывал все проглоченное Стряпковым и подставлял к каждому продукту государственную цену. Костя раз пять пересчитывал итог — получалась

невероятная сумма, вдвое превышающая заработок Стряпкова за эти дни.

На расспросы, из каких источников Кузьма Егорович покрывает дефицит, краяхинский чемпион пищеварения пробормотал что-то несуразное о наследстве, полученном после сестры.

\* \* \*

...Вылив в себя три стакана молока и впихнув батон белого хлеба, Кузьма Егорович хлопнул по собственному лбу и полез в средний ящик стола, приговаривая:

— Какой же я идиот!

Он извлек из свертка два свежих огурца, крупную помидорину и две вареные моркови-коротели. И снова началось священнодействие. Стряпков, не торопясь, разрезал огурец на половинки, посолил, потер одну половинку о другую. На тарелку капнул рассол. Так же, не торопясь, он разрезал помидор, поперчил, посидел, не сводя глаз с благоухающего натюрморта, и набросился на еду, откусывая солидные куски черного хлеба. Все исчезло в его утробе за несколько секунд. Бережно, стараясь не пролить ни одной капельки, Стряпков выпил с тарелки помидорный сок, подобрал крошки и принялся за морковь.

— Витамин «Д». Укрепляет кости. Способствует росту...

Насытившись, он вступил в беседу с Каблуковым.

— Я вчера вечером опять вашего Васю с Зойкой видел. Воркуют голубочки. Она ему головочку на плечико, а он ее, извиняюсь, за талию...

Каблуков, щелкнув счетами, буркнул:

— Просил бы в дела моей личной семьи не вмешиваться...

— А мне все равно — в мои годы не играть. Я вмешиваюсь не в вашу личную жизнь, а забочусь о дочери моего друга товарища Христофорова...

\* \* \*

Странные отношения сложились между Каблуковым и Стряпковым.

Яков Михайлович презирал Стряпкова за обжорство и полное, как ему казалось, равнодушие ко всему, что не относилось к съестным продуктам.

Кузьма Егорович терпеть не мог Каблукова за его самонадеянность, желание казаться умнее всех, за любовь к непонятым изречениям.

Каблуков, постоянно и внимательно читавший газеты, насмехался над Стряпковым. Случалось, между ними пролетал тихий ангел, и Яков Михайлович, сверкая очками, спрашивал:

— А ну-ка, ответьте, какой сейчас политический строй в Англии?

Стряпков, не моргнув глазом, уверенно брякал:

— Демократическая республика.

Каблуков даже не смеялся, а выдавливал звуки, напоминающие рыдания.

Стряпков, чувствуя, что попал впросак, вносил поправку.

— Там эта... как ее, свобода совести и вероисповеданий.

Каблуков ложился грудью на стол.

— Я умру от этого знатока... Там король, Стряпков, к-о-р-о-ль.

— Не врите. Королей теперь нигде нет.

— А в Иране?

— Там шах. В Москву приезжал. Жинка у него ничего, чернявенькая...

Стряпков, не желая оставаться в долгу, ехидно спрашивал:

— Вы лучше расскажите, что такое сальдо? Отвлеченные средства? Куда вы занесете незавершенку — в актив или в пассив?

Такие тихие минуты случались редко. Чаще они спорили из-за пустяков, и как в уличной драке трудно найти инициатора, так и в их спорах все сплеталось в клубок.

В одном они были единодушны — никому не позволяли усомниться в полезности, больше того, в жизненной необходимости занимаемых ими должностей. Между собой они часто спорили — какой сектор важнее: гончарный или стеклянной посуды и тары.

— Что у вас, товарищ Каблуков? Чем вы занимаетесь? Граненые стаканчики! Пивные кружки! Ламповое стекло! Что еще у вас в ассортименте? Все.

— А у вас, — возражал Каблуков, — у самого-то что? Кринки — раз. Горшки — два. Цветочники — три. Уроды ваши — четыре. Ах, извините, ночные горшки... Вот чем вы занимаетесь.

Оба они только «занимались», работали другие. Стеклодувы выдували бутылки, штамповали стаканы, гончары покрывали глазурью кринки и обжигали горшки. В артельных мастерских горпромсовета шили обувь, одежду, сколачивали бочки, варили квас, вязали чулки и носки — изготавливали много полезных вещей, а Каблуков и Стряпков два раза в месяц «осуществляли руководство».

Первый раз это происходило в конце месяца. То и дело раздавались пулеметные очереди больших конторских счет. Каблуков все проверял на слух:

— У артели «Стеклотара» годовой план банок — поллитровых — раз. Делим на четыре — стало быть, в квартал — два. Делим на три — в один месяц, стало быть — три... Так и запишем «Стеклотаре» план на август, сколько же у меня получилось... Странно, дай-ка я еще разик прикину — раз, два, три...

Стряпков с удивлением посматривал на Каблукова — на лице у Якова Михайловича проступало что-то вроде вдохновения.

Каблуков приносил от машинистки большой лист, усыпанный цифрами, и просил:

— Давайте, Кузьма Егорович, сверим.

Стряпков читал вслух черновик, а Яков Михайлович сверял печатный текст. Боже ты мой, какие слова выслушивала машинистка, если обнаруживалась ошибка:

— Зинаида Павловна! Что это с вами, милая? Опять влюбились? Посмотрите, как вы меня чуть-чуть под монастырь не подвели! Нолик у «Аптекопосуды» исчез? Вы понимаете, что такое ноль? Если, скажем, к единице его приставить? Понимаете, какая это сила — ноль?! Кружочек. Дырка. А сила! Давайте, голубушка, все заново. Я с подчисткой не подпишу...

В начале месяца оба пожинали плоды трудов своих — собирали по телефону сводки о выполнении плана за прошлый месяц. Оба не любили, когда им сообщали менее чем о ста процентах. Даже девяносто девять и девять десятых приводили Стряпкова в ярость, и он кричал в трубку директору гончарного завода Соскову:

— Не мог дотянуть! Вот и работай с тобой, дьяволом.

\* \* \*

Затрещал телефон.

— Это, наверно, вас, товарищ Каблуков.

— А я думаю, вас, товарищ Стряпков.

— Мне в это время никто не звонит.

— И мне попозднее...

А телефон все звонил.

— Удивительный вы человек, товарищ Каблуков.

— Что ж тут удивительного. Звонят вам, а я должен снимать трубку. Нерадивый к своей работе — родной брат расточителя.

Телефон звонит.

— А если вас?

— А если вас?

Телефон звякнул последний раз и успокоился.

— Это вам звонили.

— Скорее вам.

— Ничего, еще раз позвонят.

— А вдруг не позвонят?

— Стало быть, не очень нужно было.

— Давайте, товарищ Каблуков, установим дежурство. Одну неделю вы снимаете трубку, другую я.

— А почему не так — вы первую неделю, а потом я.

— Это же все равно.

— Не совсем... Ну, допустим... А если вы в вашу неделю уйдете, кто снимать будет?

— Вы... а когда вас не будет, я.

— Хорошо, я подумаю. Вы же чаще уходите... Ну ладно, я подумаю.

\* \* \*

Стряпков осторожно высыпал на стол десятка полтора петухов-свистулек неопикуемой зелено-сине-розовой расцветки. Вынул из кармана клетчатый носовой платок, обтер свистульки.

— Каких красавцев освоили! Это вам не стаканы штамповать. Искусство, фольклор! А для вала — цены нет, восемнадцать рублей штука...

Приложил петушка к губам. Свистнул.

— Соловей! Пташечка!

Каблуков иронически усмехнулся:

— Надеетесь план высвистеть?

Стряпков попробовал другого петушка, но свиста не получилось. Он потряс игрушку, постучал ею осторожно по столу, снова дунул — свиста опять не было.

— Что за черт!

Попробовал еще одного — петушок молчал.

Каблуков, с интересом наблюдая за манипуляциями противника, притворно вздохнул.

— Пташечка! Соловей-разбойник. Брачок! Ничего, это бывает. Сильных духом неудачи только укрепляют.

— Молчали бы, — раздраженно произнес Стряпков, пробуя седьмого петуха. Раздалось шипенье. Кузьма Егорович поковырял петушка спичкой, раздался сиплый свист.

— Сойдет!

Найдя голосистого петушка, Стряпков сделал на нем отметку химическим карандашом.

Каблуков снова съехидничал:

— Тавро ставите. Показывать понесете.

Вошла курьер тетя Паша.

— Опять ссоритесь! Товарищ Стряпков, Анна Тимофеевна требуют.

\* \* \*

В кабинете у Анны Тимофеевны сидел Вася Каблуков. На столе стояли потомок двухлитрового «Друга» — литровый «Дружок», пузатая черная кошка и глиняный подсвечник в виде толстой, короткой змеи, обвивавшей тоненький березовый ствол.

— Нет, вы только посмотрите, Анна Тимофеевна, на этих рептилий! Представьте себе, что вы, например, только что вышли замуж, а ваш супруг приносит в дом вот этого удава. Что вы со своим спутником жизни сделаете?

— Разведусь, Вася. Немедленно.

— Вам смешно.

— Что же мне, плакать? Ну, этих барбосов я в производство пускать не дам, но особенно расстраиваться не стоит. Подсобный цех.

Они помолчали.

— Вы бы, Вася, художника нам хорошего нашли. Нет ли из вашего выпуска?

— Есть... А я к вам именно по этому делу. Возьмите Володю Сомова. Талантлив, как Рафаэль.

— Рафаэль, Вася, нам не подойдет. Мы ему условий не создадим. Нам бы немножко попроще...

— Подойдет. Он дипломную по художественной керамике сделал. Я по черепице пошел, а он, собака, в искусство.

— Он же в Краюхе не удержится. Все вы так — чуть-чуть поталантливее и скорее в Москву, Ленинград...

— Не убежит. По семейным обстоятельствам. Женится.

— На ком?

— На Вере Яковлевой. Подружка моей Зойки.

— Хорошая девушка. Что это вы все подряд женитесь?

— А мы всем выпуском. Жизнь пошла хорошая. Война, видно, не предвидится... Значит, я к вам Володю приведу. Когда можно?

— В понедельник.

— Я сейчас к нему пойду. Он на собрании у художников... Пере-выборы у них.

Вася осторожно потрогал черную кошку.

— А если мне эту дурную примету художникам продемонстрировать: «Посмотрите, товарищи хорошие». И эту рептилию?.. Может, подействует?

— Попробуйте.

Вошел Стряпков.

— Звали, драгоценная?

— Меня Анной Тимофеевной зовут, Кузьма Егорович.

— Известно, но тем не менее. Что прикажете?

— Кто? — Соловьева кивнула на игрушки. — Стеблин?

— Так точно.

— Сколько раз я вас просила ничего ему не заказывать!

— Он по собственной инициативе. А чем плох песик? Мордашка милая, наивная.

— А подсвечник?

— По-моему, неплохо. Березки — пробуждает чувство патриотизма. Родная природа.

— А змея тут при чем? Это уж или медянка?

— Беспородная. Змея вообще, как олицетворение мудрости...

Анна Тимофеевна решительно заявила:

— Какой породы ваша змея, сейчас выяснять не будем. Как вы, Вася, их назвали?

— Рептилии.

— Вот именно. Так вот, товарищ Стряпков, рептилий в производство пускать не будем. Сейчас, одну минуточку. Значит, договорились, Вася, насчет Володи Сомова.

— Я к нему. До свидания, Анна Тимофеевна.

Стряпков, увидев, что Вася взял изделия Леона Стеблина, запротестовал:

— Зачем вы, Анна Тимофеевна, разрешаете образцы уносить? Они же на мне числятся. И вообще, зачем их раньше времени на улицу выпускать?

Но Васи уже не было. Он со смехом захлопнул дверь.

Анна Тимофеевна достала из стола папку, начала перелистывать.

— Ваше предложение, товарищ Стряпков, об открытии новой торговой точки я поддержать не могу. К чему этот параллелизм с торговыми организациями? Сдадим продукцию базе торга. И без хлопот.

— Вы же не понимаете, драгоценная Анна Тимофеевна, база потребует от нас сортовой продукции.

— Ну и правильно.

— А куда мы будем низкие сорта девать? Кадры в артели еще молодые, неопытные. Сошьют, скажем, мальчиговую рубашку и, извиняюсь, воротничок или приполочек перекосят. База такую красоту не примет, вернет. Куда прикажете ее девать?

— Перешить.

— Тогда, знаете, во сколько нам эта рубашечка влетит? В трубу вся артель вылетит...

— Не уговаривайте... Я все равно не соглашусь. И, кстати, почему вы этим так интересуетесь? У вас же гончарный сектор...

— Во-первых, Анна Тимофеевна, дело руководителя не гасить инициативу, исходящую от подчиненных, во-вторых, товарищ Бушуев, ваш предшественник, мне многое поручал, помимо гончарного производства, наконец, если вы не желаете от меня получать максимум моей энергии, так и скажите: «Не лезь, Кузьма Егорович, не в свои дела. А сиди и жди...» Что мне от этой точки? Выгода? Не пойдет дело — с меня же спрос.

— Ну вот, сразу и обиделись. А на новую точку я не согласна. Давайте на эту тему больше не говорить.

— Давайте... Скажите лучше, когда вас мучить перестанут?

— Кто?

— Городские организации. Почему они вас сразу не утвердили? К чему это вам во «вридах» ходить? С вашим-то опытом? Да что они в самом деле?

— Я прошу вас, товарищ Стряпков, со мной об этом не говорить. Ни к чему.

— Да я так, к слову.

Стряпков подумал: «Кремень баба! С Бушуевым легче получалось... Ничего, я сейчас к Завивалову двину, уговорю его. Докажу необходимость». А вслух он сказал:

— Хочу товарищу Завивалову новую продукцию показать. Вы, драгоценнейшая Анна Тимофеевна, не возражаете?

— Сегодня же суббота. Крайний день. Впрочем, как хотите.

Стряпков еще раз подумал: «Кремень! А если в открытую пойти. Прямо предложить — вот вам пять тысяч, вроде задатка, а остальное будет зависеть от вас. Нет, боюсь. Можно по морде схлопотать, и вообще все может сгореть, как солома на ветру... Подожду».

— Суббота не помеха, Анна Тимофеевна. Помеха, когда трудности...

И снова дерзкие мысли пришли в голову Стряпкова: «Сейчас разведу, чем тебя, матушка, купить можно, на что ты, родимая, клонешься. А, была — не была».

— Какие трудности?

— Материальные, Анна Тимофеевна... Посмотреть со стороны: Стряпков живет как сыр в масле! Получает прилично. Семья — сам себе хозяин, один как перст. А ведь не хватает. И того хочется, и этого... Зашел в Ювелирторг, племяннице часики в подарок потребовались. Металлические дарить не принято...

— Что-то у вас племянниц много развелось, товарищ Стряпков. Я и то уже трех знаю.

— Люблю племянниц. Родня. Вот посмотрите, часики. Великолепные. Наши, советские. Вы ход послушайте! Музыкальный ход.

Анна Тимофеевна поднесла часики к уху, послушала. Улыбнулась.

— Хороши. Чисто ходят. Прелестный подарок.

Стряпков с облегчением подумал: «Все. Ключула. Я же знал, ни одна баба против такой штучки не устоит».

— Анна Тимофеевна! Бог с ней, с племянницей. Она еще молода носить золото. Подождет. Примите от меня. Носите на здоровье. К вашей ручке. А там цепочку, извиняюсь, браслетик.

— Что вы, Кузьма Егорович, как я могу! Спасибо, спасибо! Заберите ваши часики и идите.

— Не возьму... Ваши они, ваши!

— Вы с ума сошли, Стряпков, за кого вы меня принимаете?

Почти бесшумно открылась дверь, и вошел Юрий Андреевич Христофоров. Кашлянул.

— С хорошей погодой, Анна Тимофеевна...

— И вас так же, товарищ Христофоров.

Стряпков решил: «Пойду дальше. Посмотрим, как она?»

— Посмотри, Юрий Андреевич, какие часики Анна Тимофеевна по случаю приобрела.

— Хороши...

— Давайте, драгоценная Анна Тимофеевна, я вам помогу тесемочку застегнуть. Вы еще не привыкли.

— Спасибо, Кузьма Егорович. Я их пока в коробочке подержу... Дайте мне вашу коробочку... У вас ко мне какое-нибудь дело, товарищ Христофоров?

— Неприятное дело, Анна Тимофеевна. Королькова Марья Антоновна санитарных врачей в колбасную привела. У нас, понятно, все в порядке, но разве кто от ошибок застрахован?

Соловьева чуть заметно усмехнулась.

— Конечно. Тот не ошибается, кто не работает. А вы, товарищ Стряпков, хотели, кажется, в исполком. Идите, идите. Спасибо за часики...

Как ни хотелось Стряпкову присутствовать при таком увлекательном разговоре, пришлось подчиниться.

— Вы правы, Анна Тимофеевна,— начал Христофоров,— действительно, кто не работает, тот и не ошибается. Колбасная мастерская у нас великолепная, оборудование отличное, мастера опытные...

— Особенно Кокин,— снова чуть заметно усмехнувшись, обронила Соловьева.— Только вы скажите ему, чтобы он золото в фарш не примешивал. Металл, бесспорно, благородный, но все же для зубов идет только в одном смысле, на починку.

— Не понимаю ваших намеков.

— А я без всяких намеков.

Соловьева достала из стола спичечную коробку.

— Помните, Кокин заводную головку искал? Вот она в колбасе обнаружена.

Христофоров взволновался ужасно, но вида не подал, только голос стал слегка хриплым.

— Где же эту колбасу обнаружили?

— В пионерских лагерях. Марья Антоновна точно все знает.

У Христофорова заколотилось сердце. «Ах, какой подлец Кокин! Заслал-таки, мерзавец!»

— Быть неприятности, товарищ Христофоров. Марья Антоновна сильно разгневана.

— Тушить надо, Анна Тимофеевна. Тушить, пока головешки не полетели... Не только Кокину попадет, но и мне, да и вас не обойдут...

— Я не боюсь ответственности, товарищ Христофоров. Кстати, у нас умеют отличать ошибку от преступления, недостаточное руководство от форменного безобразия. Вопросы ко мне у вас есть?

— Как будто все...

— Тогда извините, мне поработать надо...

Выскочив из кабинета Соловьевой, Христофоров кинулся искать Стряпкова. Знал, что тот не уйдет, ждет указаний.

Кузьма Егорович изучал афишу: «Сегодня все на вечер семейного отдыха. Завтра прогулка по реке на лодках. Сбор в 8 утра на водной станции». Кто-то приписал: «Явка для всех строго обязательна!»

Юрий Андреевич встал рядом, сквозь зубы процедил:

— Полундра! Королькова идет по следу. Дурак Кокин подложил свинью. Убить такую сволочь и то мало... И вы хороши... Змей-искуситель с часами... Слышали, как она сказала: «Давайте уж и коробочку. Спасибо за часики». Поняли?

— Что же делать?

— Во-первых, не впадать в панику. В крайнем случае будем топить гада Кокина...

Подошла председатель месткома Паша Уткина и с заметным удовольствием сказала:

— Хорошее дело завернули. Воздух, солнце и вода. Приходите обязательно. Жен захватывайте. Будем как одна семья.

Христофоров, наливаясь злобой, с вежливостью, достойной маркиза, ответил:

— Обязательно, Прасковья Ивановна, придем. Я жену с дочкой захвачу, а Кузьма Егорович, х-хе, племянницу Тасю, извиняюсь, Капочку. Я могу беседу провести, если пожелаете, об экономии общественных средств...

— Подумаем,— рассудительно произнесла Паша.— Это неплохо, мероприятие полезное...

Христофоров оглянулся.

— Ушла. Слушайте, Стряпков, а не поломать ли нам всю эту историю с вазой? Не тот человек Соловьева. Можно только испортить...

— Ни в коем случае. Часики все-таки у нее. Ключет, я знаю, у нее денег ни копейки, а до зарплаты еще пять дней.

— Смотрите! Я умываю руки...

— Будьте спокойны. Ключет. Ну, я пошел выполнять ее распоряжения. Она не любит, когда ее не слушаются. Я в исполком. А вы?

— Пойду чистить морду Кокину. Он, шакал, у меня повоет...

## ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

### *„Тонап“ дает трещину*

Хорошо было жить и трудиться столоначальникам, письмоводителям и делопроизводителям в департаментах, казенных палатах, губернских правлениях и в разных попечительствах. Издавалась для них специальная литература: что такое ипотечные учреждения, ссудосберегательные товарищества, общества взаимного кредита; когда восходит Солнце и Луна; когда и где открываются ярмарки; таблицы курсов на Лондон, Амстердам; какие существуют пошлины и сборы, расценки на гербовую бумагу, правила по векселям и заемным письмам; как взимать сборы за чины и пенсии. При надобности сенатский или синодский чиновник

мог легко узнать, каков срок возбуждения дела о незаконности рождения, если муж находится в России, и — если муж за границей; как составлять прошения и доверенности: «Милостивый государь! Доверяю вам ходатайствовать за меня...» Как писать письма деловые, поздравительные, любовные: «Ваш кроткий, исполненный благородства образ, а также ваше солидное приданое взволновали меня...» Или: «Припадая к стопам вашего высокопревосходительства, слезно умоляю...» Или: «Милостивый государь! Сего числа вы нанесли мне оскорбление действием. Следуя долгу и дворянской чести, вызываю вас».

Справочников, письмовников была уйма. Все было расписано: в каком вицмундире на службу ходить, в каком партикулярном платье делать визиты.

Без этих, хотя и полезных советов жить все же как-нибудь можно. Но о некоторых канувших в вечность практических руководствах и сейчас можно вспомнить с глубоким сожалением. Было, например, такое руководство: «Как надлежит вести себя с подчиненными». Оно было разбито на параграфы: «Приход в присутствие». «Ответ на приветствие». «Выслушивание доклада». «Принятие жалоб, подчиненными приносимых». «Принятие приношений». «День тезоименитства и его проведение». Существовали параграфы с краткими, но весьма выразительными названиями: «О пользе вежливости», «Не груби», «Оказывай внимание». Особенно запомнился энергичный параграф: «Не пересаливай!»

Наличие такого карманного руководства многих бы предостерегло от неправильных действий. Оно бы спасло Юрия Андреевича Христофорова от ошибочного поведения с вдвойне подчиненным ему колбасником Кокиным. А Юрий Андреевич как раз нагрубил, не оказал внимания, короче говоря, пересолил.

Зайдя в каморку Кокина и поздоровавшись, Христофоров невинным тоном спросил:

— Скажи, пожалуйста, Евлампий, сколько времени?

Кокин, ничего не подозревая, показал свои золотые часы:

— Не идут, головку потерял...

— Ай, ай, какая досада. Где это тебя угораздило?

— Кабы знал...

— А я знаю,— зловеще сказал Христофоров.— Я все знаю. Мерзавец ты! Давить таких надо, без применения амнистии...

— Чего ты лаешься? Не дома!

— Я тебе покажу, свинья! Я тебе покажу, как колбасу в пионерские лагеря отправлять! Тебя, дурака, предупреждали. Нарвался на Королькову? Она твою заводную головку в колбасе нашла. Господи, наградил же меня бог таким подлецом!..

И вдруг началось низвержение самодержавия, бунт. Кокин сорвал белый колпак, снял фартук, бросил на пол, затопал ногами.

— Ты кто такой? Не ори! Кто заставил меня эту паршивую колбасу делать? Я давно мучаюсь! Да я тебя в момент утоплю! Я и в тюрьме работу найду. Могу поваром, могу булочником. Плевал я на тебя...

Христофоров, не ожидавший подобного взрыва, растерялся.

— Уж и пошутить нельзя. Мы же свои люди, а чего меж своих не бывает. Давай спокойненько разберемся. Посылал колбасу пионерам?

— Ну послал, немного.

— Ах, как нехорошо...

— Девать было некуда.

— Лучше бы ты ее на помойку вывалил. Ну ладно, давай придумаем, как выход искать.

— Без нас нашли!

— Кто?

— Санитарные врачи. Склад запечатали...

— Чего же ты молчал, дубина? — снова не утерпел и взорвался Христофоров.

— Не кричи, Юрий Андреевич! — сдержанно сказал Кокин. — Не доводи меня до полной сознательности.

— О господи! Идиот...

Христофоров выскочил во двор. У склада разговаривала с санитарным врачом Марья Антоновна. Юрий Андреевич облизнул сухие губы:

— Неприятность у нас, товарищ Королькова. Сколько раз я Кокину говорил: следи за качеством, следи! Для народа делаем... Халатный он человек, Марья Антоновна!

Из окна высунулся Кокин.

— Давай, давай, Юрий Андреевич, кайся. Спасайся, кто может...

Христофоров поспешил удалиться.

— Побегу, Марья Антоновна. Дел много. Ах, какая неприятность... — Он, забыв о своей выправке, понесся по переулку, рысью вылетел на набережную. Около «Сети» встретил директора ресторана Латышева и художника Леона Стеблина. Латышев, хотя и хмуро, но все же спросил:

— Куда торопишься?

— А тебе что? Какое твое дело?

Латышев покачал головой.

— Плохой ты человек, Юрий Андреевич. Не понимаешь ты настоящих людей...

«Фу ты, черт,— подумал Христофоров,— снова я, кажется, пересоллил!» Но ему некогда было вникать в переживания директора «Сети» и, бросив короткое: «Бывай!», Юрий Андреевич помчался дальше.

Вдруг его пронзила страшная мысль: «А если?» Что следовало за этим «а если?» Христофоров точно осмыслить не мог. Это было какое-то предчувствие, смутное ожидание чего-то непоправимого и неотвратимого. «А если? А если эти дураки перетрусил? А если они возьмут да разболтают?» Юрию Андреевичу стало жутко. У него ноги подкосились. Он сел на скамью, перевел дыхание. «А если найдут?»

Он повернул к дому. «Надо срочно перепрятать деньги. Немедленно!» «Тонап» дал течь.

\* \* \*

Семейная жизнь, как любит говорить Яков Михайлович Каблуков, тонкий музыкальный инструмент, причем струнный. Недотянешь — не тот звук, перетянешь — струны лопаются. Все должно быть в норме.

Ах, как жаль, что Каблуковы и Христофоровы еще не породнились. Находишь они в родственных отношениях, Яков Михайлович поделился бы своими ценными мыслями с Юрием Андреевичем.

У Христофорова сегодня было странное состояние: человек отлично понимал — надо сдерживаться, надо! И все равно пер напролом, как медведь через чащобу.

В молодые годы Юрий Андреевич так, просто среди бела дня со службы не ушел бы — не к чему оставлять для дотошных следователей лишний криминал: «А ну-ка, гражданин Христофоров, расскажите, где вы были между одиннадцатью и двенадцатью часами дня?»

Легче всего ответить: «С удовольствием отвечаю. Сидел у себя в горпромсовете. Как раз в это время был у меня товарищ Капустин, разговаривали о том, что, дескать, не пора ли нам поставить вопрос о местном рыболовстве. Как вы знаете, наверное, этот участок у нас основательно запущен...» И все — полное алиби.

Хорошо на всякий случай иметь свидетелей со стороны защиты.

Самое, мягко говоря, неблагоприятное впечатление производят на

следователей такие ответы: «Как вам поточнее сказать... Сейчас припомню. Нет, забыл. Ах да, в это время ко мне подошел... Нет, не помню».

Именно так и пришлось бы выкручиваться Юрию Андреевичу, если бы в субботу вечером попал он на допрос. Не мог же он чистосердечно заявить, что между одиннадцатью — двенадцатью часами, прибежав весь взмыленный домой и обрадовавшись, что жены нет, с ловкостью гориллы поднялся на чердак, соединил разрозненные миллионы в одну большую пачку, присовокупил к ним оборотные средства, завернул все в старенькую клеенку, спустился в погреб, лихорадочно выкопал в снегу траншейку и, уложив в нее свое сокровище, утрамбовал поплотнее снег. Поднявшись из прохладной ямы, Юрий Андреевич немного успокоился: «Ничего им там, в снежку, не делается. Не испортятся», с нежностью подумал он о деньгах. «Утрясутся дела, я их перепрячу. А пока и тут хорошо. В снегу искать не будут». Он прошел в кухню, выпил кружку воды. «А вдруг Марья заметит? — пришла в голову злая мысль. — Полезет за чем-нибудь и раскусит?»

Он соскочил в погреб, шелкнул выключателем. «Нет, никто не заметит. Все чисто», — и, окончательно успокоенный, выбрался на божий свет.

Только он водворил ключи от погреба на их постоянное место — в кухне, на гвоздике, как вернулась с базара Марья Павловна.

После ухода Зойки Марья Павловна с мужем почти не разговаривала, произносила лишь неопределенные предложения: «Можно есть», «Постелено», «Надо бы самовар!» Юрия Андреевича это бесило до чрезвычайности, но побороть упрямство жены он не мог.

Увидев мужа, Марья Павловна сказала:

— Стряслось что-нибудь?

— С чего ты взяла?

— В это время дома?

— Стало быть, надо. Сейчас уйду...

Марья Павловна заглянула в коридор и заметила неприкрытый лаз на чердак. Она догадалась.

— Перепрятал?

— А тебе какое дело?

— Никакого. Сволочь ты, Юрий Андреевич...

Вот где нужен был бы совет Каблукова о семейных струнах. А Христофоров опять пересолил, попер напролом.

— Перепрятал! И правильно сделал. Чтобы ни одна гадина не знала где.

Он не договорил. Марья Павловна схватила утюг:

— Уйди, Жора. Уйди!..

В ее спокойном голосе, в глазах, в упор глядевших на мужа, было столько ненависти, что Христофоров сообразил: «Лучше убраться».

## ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

### *в которой происходит совершенно неожиданное событие*

В жизни все надо делать обдуманно и ни в коем случае не поддаваться чувствам, велению сердца, порыву.

Вообще, что такое сердце? Говорят, это центральный орган кровеносной системы состоит из четырех отделов, двух предсердий, двух желудочков и склонно к сердцебиению. Почему же велению этого, собственно говоря, кусочка мяса надо поддаваться, поступать так, как оно подсказывает? И вообще — может ли оно что-либо подсказывать? Не

выдумка ли это? Возьмите селезенку — тоже ведь не шутка, кроветворный орган, участвует в обмене веществ, выполняет в организме важную функцию. Не какую-нибудь, а защитную! Так почему же никто не советуется следовать велению селезенки?

А многие неприятности — именно от сердца. Допустим, сидите вы в служебном кабинете и принимаете посетителей. Все у вас обдуманно.

С одним так:

— Не могу, дорогой товарищ, рад бы, но не могу!

С другим так:

— Ваши требования явно незаконны. Извините, ничем помочь не можем.

С третьим так:

— Я вам уже несколько раз объяснял — обратитесь к моему заместителю.

С четвертым:

— Это не в моей компетенции...

И все. Посетитель ушел. А если у вас этот самый центральный орган с четырьмя отделами дрогнет и что-нибудь подскажет? Как вам тогда придется отвечать первому, второму, пятому, десятому:

— Одну минуточку. Я вам охотно помогу, с удовольствием. Давайте сделаем так. Я позвоню Ивану Алексеевичу, а Николаю Степановичу сейчас же напишу письмо.

Нет, так дело не пойдет! Сколько тогда на каждого посетителя надо времени тратить?

В жизни надо делать все обдуманно. Кузьма Егорович Стряпков эту мысль давно на вооружение принял. Впрочем, если речь зашла о Кузьме Егоровиче, то почему бы не рассказать о нем поподробнее, а то ведь, кроме того, что он любит поесть и обожает племянниц, о нем ничего неизвестно.

Зачем, скажите, надо было холостому человеку, уже в годах, влезать в «Тонап»? Какой бес попутал?

Все началось с небольшого бесенка с хорошенькой фигуркой, с пышными волосами. Звали бесенка Лидия Петровна. Стряпков познакомился с ней в поезде, пять лет назад, следуя с курорта.

Сообщить такой прелести, что он простой советский служащий, занимается гончарным делом, Кузьма Егорович не рискнул. Говорить с очаровательной спутницей о горшках, кринках он постеснялся и назвался церковным старостой. Как его угораздило произнести такие слова, он сам не мог понять. Очевидно потому, что в Сочи рядом с ним так же «дикарем» жил веселый молодой поп, транжиривший деньги с легкостью молодого поэта.

Заявление Кузьмы Егоровича произвело на Лидию Петровну впечатление, особенно после его разъяснения, что церковный староста лицо не духовное, но зато к духовной кассе имеет прямой доступ. Половину дороги провели в вагоне-ресторане. Лидия Петровна на практике показала, как готовить простейшие коктейли: «Дорожный» — на двести граммов столичной — двадцать пять граммов вишневого сиропа, и «Поэтический» — на сто пятьдесят граммов «Цинандали» — по рюмке черносмородинового ликера, лимонного сока и одну каплю черного кофе «для тонкости». Выпивала она без лихости, спокойненько, со знанием существа вопроса.

В Москве Кузьма Егорович подвез ее на такси к дому, взяв слово вечером увидаться. Встретились в ресторане при Северном речном вокзале. Для поддержания авторитета русской православной церкви Стряпкову пришлось днем забежать в камеру хранения, достать из чемодана вполне приличный темно-синий костюм в чуть заметную красную полоску и отнести его в скупку.

Два дня прошли в розовом тумане. Лидия Петровна к деньгам относилась как к главному социальному злу и выкорчевывала это зло с корнем.

В скупку ушли: часы «Победа», желтые туфли на кожаной подошве, почти ненюшенные, и великолепный зеленый шерстяной свитер с белыми оленями на груди.

Уговорились, что будущий отпуск проведут вместе. Кузьма Егорович обязался перевести заблаговременно «до востребования» три тысячи на наем комнаты в Сочи или Адлере и на личную экипировку.

Лидия Петровна в антракте между поцелуями, вскольз, но заметила: — Надо, Кузя, на будущий год выглядеть поэлегантнее...

И еще уговорились — любить друг друга до гроба.

По приезде в Краюху как назло подвернулся Христофоров с его деловыми предложениями. Стряпков сначала отказывался, но вспомнил атласную шейку Лидии Петровны, перламутровые зубки и решил: «Была не была! Однаво живем. Не идти же на самом деле в церковные старосты!»

На следующее лето Лидия Петровна выехала на юг, сняла рядом две комнаты — две, понятно, из предосторожности — и встретила на вокзале возгласом:

— Папочка! Роденький!

Месяц пролетел как мимолетное видение. Лидочка, окрестив Кузьму Егоровича на вокзале папочкой, продолжала выдавать его за отца. Это Стряпкову в общем нравилось. Он даже вошел в роль и начал часто породственному похлопывать Лидочку по выразительному месту. Обижался он только вечером в танцевальном зале, когда черноусые кавалеры уводили «дочь» потанцевать. «Вы не возражаете? Ничего, поскучайте немного без вашего ребенка...»

Как то вечером Лидочка, обняв названного отца, промолвила:

— Пусть твое официальное положение пособника служителей религиозного культа останется между нами. Я хотела бы тебя видеть профессором.

— Смотря по тому, каких наук?

— Хотя бы исторических.

— Трудно, Лидочка. Начнут расспрашивать. А я ведь на медные гроши...

— Тогда будь начальником главного управления.

— Какое же у нас в Краюхе главное управление? Может, инженером отрекомендоваться?

— Мелко. Не солидно... Ну хорошо, бери заместителя председателя исполкома. Пакет, лечебные, персональная машина.

— Только не первым...

На второй год Лидия Петровна уже не поехала. То ли подвернулся архиерей, то ли настоящий первый заместитель, кто разберет сложную женскую душу.

Лидочка из жизни Стряпкова ушла, но семена жажды славы и почета, посеянные ею, дали всходы и требовали усиленной подкормки. Отправившись на курорт в одиночестве, Кузьма Егорович долго в этом положении не пребывал — нашлась замена, если не полностью эквивалентная, то уж, во всяком случае, с небольшим лишь изъяном, и по призу судьбы с тем же именем — Лида. Бывший папаша стал дядюшкой и заодно директором крупного завода.

Лида номер два начала уклоняться от встреч через три дня. Тогда нашлась Генриэтта Карповна — по-семейному Гета. Однажды, поедая в кавказской закуской шашлык, Кузьма Егорович увлекся и не заметил, какие пламенные взоры кидал на Гету худощавый посетитель местного происхождения с жгучими черными глазами. Подавая черный

кофе, официант шепнул Стряпкову, что его просит зайти директор-распорядитель закуской. Стряпков, оставив пиджак на стуле, пошел. За ситцевой занавеской стояли две бочки. Одна, в белом пиджаке, заговорила:

— Дорогой друг. Хочу с вами познакомиться. Вы очень хорошо у нас кушали, отличный у вас аппетит. Превосходный аппетит. Что вы еще желаете покушать? Есть настоящие греческие маслины, и, скажу по секрету: сациви, которое вы ели, не сациви, а одно недоразумение. Хотите настоящее сациви?

Кузьма Егорович, польщенный вниманием и тронутый таким гостеприимством, поблагодарил и заявил, что пойдет посоветоваться с племянницей.

— Она у меня, как козочка! Пошиплет травки и сыта.

Но козочки уже не было, как не было и жгучего брюнета с модной прической. Не было и бумажника. Стряпков, сообразив, что его провели, бросился за ситцевую занавеску, как уссурийский тигр, когда у него отнимают добычу. Бочка в белом пиджаке, шелкая на счетах, сказала:

— Не хочешь сациви? Ну, как знаешь. Что? Козочка сбежала? Не беда. Пошиплет травку — придет...

С тех пор Кузьма Егорович велений сердца слушаться не стал, а начал все обдумывать. Однако жажда славы не утихла. В погоне за этой легкомысленной особой Стряпков чуть-чуть не попал в какую-то шумную секту. Ее основатель — рыжий, здоровенный мужик — предложил ему должность главного проповедника.

— Не жизнь, а малина, — соблазнял святой отец. — Помолимся, помолимся, а потом дербалызнем к Авдотье...

Стряпков устоял, не поддался искушению. И все-таки однажды на заре деятельности «Тонапа» сердце еще раз чуть не подвело. Среди надомниц, выполнявших официально для горпромсовета, а по существу для «Тонапа» несложные операции по раскраске через шаблон газовых шарфиков, была Тоня Селиверстова. Сразу завербовать Тонию в «племянницы» Стряпков не решился — очень уж чисты были глаза у юной художницы.

Легкие, как дыхание ребенка, шарфики принесли «Тонапу» увесистый доход, и Стряпков решил отблагодарить рядовых тружениц премиями. И тут-то, вот оно веление сердца, — выдал Тоне двойную порцию — пятьсот рублей. Обрадованная Тоня поделилась радостью с надомницей Таисией Кротовой. При первом же взгляде на Кротову все догадывались, что этой тетке, во избежание серьезной непоправимой ошибки, палец в рот класть не следует.

А Тоня этого не учла. Кротова пришла выяснять обиду в горпромсовет: «Почему Тоньке пятьсот, а мне половину?» К счастью, она нарвалась на самого Христофорова, и тот, почуввав в чем дело, немедленно доплатил разницу, соответственно убавив, понятно, дивиденд Кузьмы Егоровича.

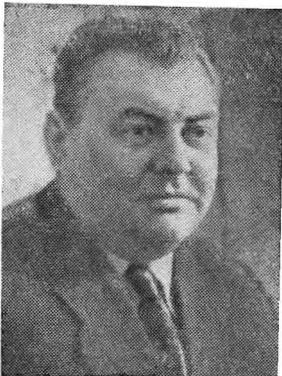
Вот что значит поддаваться велению сердца!

С тех пор Стряпков окончательно подчинен разуму: все обдумывает, со всех сторон просматривает, взвешивает.

Вот и сейчас он шагает по центральной улице Краюхи, направляясь в исполком. Идет и размышляет: с чего начать беседу с Завиваловым?

*(Окончание следует)*





## АНАТОЛИЙ СОФРОНОВ

\* \* \*

Умей любить, умей друзей прощать,  
Промашки их и вольности иные...  
Ведь все равно с начала не начать,  
Все пройдены дороги основные.

И как бы ты в душе их ни корил,  
Какие б им слова ты ни говорил,  
И как бы ты темно ни говорил,—  
Они поймут тебя на полуслове.

К чему хитрится! На переключке дней  
И впрямь уже друзей не досчитаем...  
А мы всё счеты верности... О ней  
Мы только, может, про себя мечтаем?

Все мелкая монета, медяки,  
От них порою лишь в душе усталость...  
А мы как были раньше добряки,  
Так добряками навсегда остались...

Да так ли это? К зрелости большой  
Ужели мы пришли совсем чужими,  
С умело эластичною душой  
И против дружбы крупно погрешили?

У каждого свой дом, своя семья,  
Свои болячки и свои невзгоды...  
Но ведь — земля! У нас одна земля!  
И даже годы — под гребенку годы!

Да нет же, нет! Не верю, не могу,  
Что продал кто-то душу без отдачи,  
Что будто здесь, на нашем берегу,—  
И в то же время на другом судачит...

Да нет же, нет! Друзья — всегда друзья!  
И слово «дружба» — самое святое;  
В большом — не сможем, это нам нельзя,  
О мелочах же говорить не стоит.

И снова вижу я глаза друзей  
В слезах, что память честно сохранила.  
Так пусть же так, до самых смертных дней,  
Как много лет — один лишь фронт, без тыла!

Автору стихотворения «Умей любить...» — Анатолию Владимировичу Софронову — исполнилось пятьдесят лет.

Анатолий Софронов пришел к своему пятидесятилетию в расцвете дарования. Он — автор многих популярных пьес, идущих на сцене наших театров. Пьесы эти разные, но и «Московский характер», и «Человека в отставке», и «Деньги», и «Миллион за улыбку», и «Стряпуху» характеризует горячая заинтересованность в проблемах современности, активное вторжение писателя в жизнь.

Советские люди хорошо знают и Софронова-поэта, автора стихотворений и популярных в народе песен. Родная донская земля — вот та почва, на которой выросла его поэзия.

Активная жизненная позиция писателя-гражданина помогает ему в творчестве. Анатолий Софронов — не только поэт, драматург, журналист, но и видный общественный деятель — заместитель председателя Советского Комитета солидарности стран Азии и Африки, секретарь Правления Союза писателей РСФСР и главный редактор «Огонька».



Нора Адамьян

# НОЛЬ ТРИ

ПОВЕСТЬ

1

**К** утру, когда приближается пора вставать, сон редок, как изношенное полотно. Все сквозь него видно и слышно. Вот, чуть скрипнув своей дверью, прошла в кухню Нюра. Она работает маляром, с утра влезает в заляпанную краской спецовку и не терпит, когда ее в этой одежде застают на кухне. Нюра старается не шуметь. Ксения сворачивается «бубликом» и силится еще немного побыть в бездумном оцепенении. Но в ванной отфыркивается Гриша. Доносится рассудительный и уверенный голосок его жены Тонечки:

— Нет, так не будет. Не мечтай. На дорогу два рубля — пожалуйста. На обед пятерку — дам. А чтоб каждый день по маленькой, это совсем ни к чему. В субботу — другое дело. В субботу я сама куплю и четвертиночку, и пивка, как положено...

Теперь уже все. Надо вставать. Вадим ушел в булочную и не притворил за собой дверь, чтоб она не скрипнула и не разбудила Ксюшу. Из-за этого каждое слово соседей слышно в комнате.

Всегда так. Самые лучшие намерения — и все наоборот.

Ксения Петровна проворно и привычно, еще ни о чем не вспоминая, не позволяя себе вспоминать, заложила одеяла и подушки в большие чехлы. Широкая квадратная тахта, заменяющая кровать, сразу стала аккуратной и гладкой.

— Шурик, подымайся.

— Мама, а у тебя сегодня суточное дежурство?

Он отлично знал это, спросил только, чтобы оттянуть время.

— Вставай, вставай!

Шурик нехотя вылез из своей детской кроватки, которая давно уже ему коротка.

«Купили бы, наконец, у Вадима «сидящую», — привычно подумала Ксения и вдруг вспомнила все и быстро прикрыла рукой глаза.

— Мама, у тебя зубы болят?

— Иди, иди, опоздаешь...

Шлепая тапочками со стоптанными задниками, Шурик выбежал в коридор.

Ксения Петровна отдернула шторы. Синий туман осеннего утра стоял за окном. А на столе в плетеной корзине возвышались белые гвоздики и колыхалась воздушная травка.

Цветы доставили вчера к вечеру. Рассыльный из магазина позвонил один раз, ему открыла Нюра. Она крикнула в дверь: «Вадим Митрич, это вас», — и Вадим принес в комнату букет. Ксения не успела бы ничего придумать. Вадим сам все объяснил. Он вынул бледно-сиреневую записку с одним словом: «Благодарю» и засмеялся:

— Тонкий пациент пошел, благородный, даже фамилии своей не под-писал! Вот это я понимаю!

Не будь в комнате Шурика, Ксения сказала бы мужу все. На этом разрушилась бы их семья, их дом. Но за столом сидел Шурик и тоже смеялся.

Ксения крикнула:

— Хватит, ну, хватит вам наконец!..

Она ушла на кухню. Там Тонечка учила своего мужа чистить се-ледку.

— С головы, с головы поддевай шкурку. А я не для того маникюр делаю, чтоб тебе селедку чистить. Захотелось селедочки — сам и при-готовь.

Она победно косилась в сторону Ксении — ждала ее одобрения.

— Ну и что ж, и почишу, — гудел Гриша, терзая селедку большими крепкими руками.

В ванной Нюра купала дочку.

— Ксения Петровна, тебе руки помыть? Ничего, заходи...

Ксения вышла в лестничную клетку. Там было тихо.

За ней прибежал Шурик.

— Ты чего здесь стоишь? Мы чаю хотим.

— Мусор я выносила, понятно? — рассердилась Ксения.

Нужно было подумать о том, что же теперь делать, а она не могла сосредоточиться. Казалось, непрерывные домашние дела не дают ей ни минуты покоя, но она сама хваталась за всякое дело, чтоб не оставаться наедине с собой.

...И вот снова наступило утро.

Вадим принес хлеб, побежал на кухню ставить чайник. Он старался помогать Ксении по хозяйству, особенно с тех пор, как занялся скульп-турой.

Ему пришлось оставить работу, Ксения сама настояла на этом. Ведь стоило Вадиму взять в руки кусочек хлебного мякиша, конфетную бу-мажку или просто деревянную чурку, как на свет появлялись забавные человечки, зверюшки, птицы. Все вокруг кричали: «талант, талант». А когда Вадим бросил медицину, которую никогда не любил, эти же люди его осудили: «Ну, знаете, все же рискованно. В таком возрасте, еще неизвестно, что выйдет...»

Ксения и Вадим сами знали, что рискованно, что жить станет труд-нее. Они называли это — «наш великий эксперимент».

Но Вадим не должен был чувствовать себя униженным от того, что семья живет на зарплату Ксении. Он говорил:

— Ксюша, я куплю сигареты, они дешевые...

Он перестал ходить на футбол, не возобновлял подписку на свой лю-бимый спортивный журнал.

Однажды на улице он насильно отвел Ксению от заманчивой вит-рины: «Ну что ты восторгаешься всякой тряпкой». А потом жаловался: «Ты же должна понять, я тебе сейчас ничего не могу купить!..»

Расточительный и беспечный, он теперь тщательно записывал, на что истратил деньги. Счета его никогда не сходились. Вадим злился.

— Врач из меня не получился, бухгалтер тоже не получается. Черт знает на что я годен.

Ему надо было отвечать: — Ты художник.

Тогда он оживлялся.

— Как человеку нужно, чтоб в него верили! Признание и успех могут способного художника превратить в талантливое. Посмотри, как у меня вышел этот наклон головы. Здорово, правда? Чувствуешь?

Надо было видеть, чувствовать, понимать, подбадривать.

И за это жена его разлюбила? А если нет, то что же произошло? Какое же этому найти название и оправдание?

Ксения смахнула пыль, натерла суконкой пол во всей комнате, кроме угла, заставленного работами Вадима. Раньше она не представляла себе, что скульптура такое грязное дело. Хорошо, что теперь Вадим работает в мастерской товарища, иначе хоть из дома беги. И так скульптурами забита вся комната. Шурик на лыжах. Шурик с мячиком. Голова Ксении. Вадим долго добивался: «Должно быть видно, что у тебя волосы светлые, а глаза темные». Ксения считала, что скульптура цвета глаз передать не может. Но вышло хорошо — голова чуть склонилась к плечу, так Ксения всегда слушает собеседника. И волосы рассыпаны по лбу, выбиваются из прически — похоже. Нос, как говорит Вадим, «с минимальной утиностью», — тут он ей польстил. Вырезанная из дерева фигурка так и называется — «Ксюша». И с книгой — тоже Ксения. Это первая скульптура, за которую Вадим, может быть, получит деньги.

Утро шло как всегда. Все привычные дела делались одно за другим. Два бутерброда Шурику в школу, два себе на работу. Шурику налить стакан молока, себе и Вадиму чай.

К чаю Ксения едва притронулась и ушла за шкаф одеваться.

Вадим шелестел газетой, Шурик ел колбасу и, конечно, без хлеба. А она выбирала платье, такое платье, чтоб быть в нем красивой и желанной для человека, который еще два дня назад был ей только сослуживцем.

Шурик крикнул:

— Мам, я пошел.

Вадим сказал:

— Я определенно знаю — фигура должна быть больше натуральной величины. Иначе скульптура производит жалкое впечатление. Ты меня слушаешь?

— Слышу.

— Знаешь, Махров заявил: «Женщина с книгой — это слишком обыденно». Я вот до сих пор не пойму, дурак он или подлец. Как ты думаешь?

— Дурак, — повторила Ксения.

— Вот получу деньги, поведу тебя в ресторан.

Она подумала: «У Шурика нет зимнего пальто, сам донашиваешь последний костюм. Вечные фантазии...» И сказала:

— Ну, вот что — котлеты в холодильнике. Картошку подогрей и положи ложку сметаны. Кисель в синем кувшинчике. Придешь и покормишь Шурика.

— Я буду в мастерской.

— Только покорми Шурика.

— Не маленький, сам поест.

— Нет, он маленький. И целый день ребенок не может быть один.

Ксения сама услышала, как неприятно резко прозвучал ее голос. Ей стало стыдно. Ну а если бы Вадим работал по-прежнему, по-настоящему, в больнице, в амбулатории? Как сложно они раньше комбинировали часы своей работы, чтобы отвести Шурика в ясли, в детский сад и привести его домой!

Но ведь теперь Вадим хозяин своего времени и естественно должен больше заниматься сыном. Если его не одернуть, он способен сидеть в мастерской целые дни. Даже не вспомнит, что у него есть ребенок, жена.

Вот сейчас она выйдет в своем самом лучшем платье, по-новому причесанная, надушенная, а он ничего этого не заметит.

Вадим сказал:

— Ты сегодня что-то очень возишься, а у меня много работы. Я тебя, пожалуй, не буду ждать.

Обычно они выходили из дома вместе. Если нет, тем лучше.

За Вадимом хлопнула входная дверь. Ксения торопливо приколола к вырезу серого платья две гвоздики и кусочек воздушной травки.

## 2

У больничных ворот мимо Ксении Петровны промчалась машина «скорой помощи». Она не успела заметить — чья и подумала: «Пусть бы Алексея Андреевича». Ей хотелось немного оттянуть эту встречу. Но по времени еще должна была выезжать бригада ночной смены.

Знакомая асфальтовая дорожка вела Ксению мимо больничных корпусов, в глубь двора, к большому крытому гаражу. В гараже стояло много машин — утренние часы обычно спокойные. Табличка на двери указывала: «Подстанция скорой помощи»...

На вешалке горой висели пальто. Утро — встречаются две смены. Ксения осторожно открыла дверь с надписью «Врачи». В углу комнаты над небольшим столом склонилась и что-то писала Кира Сергеевна, самый молодой врач в коллективе. Кира предостерегающе приложила палец к губам и расширила и без того большие черные глаза:

— Умоляю, тише! Застукают, на политчас заставят идти. А мне стенгазету кончать надо.

— Так ведь политчас завтра.

— Перенесли. Завтра же юбилей Евгении Михайловны. Вот газету выпускаю. Смотрите, Басанин стихи принес.

Кира неодобрительно наморщила нос.

— Плохие? — спросила Ксения.

— Да нет, стихи как стихи. Вот только одна строчка меня смущает. Послушайте:

Своей подстанции любимой  
Отдали Вы немало сил.  
Здесь пройден путь неповторимый,  
Здесь ум Ваш руки приложил...

— Как-то не получается: ум руки приложил. Это можно?

Ксения пожала плечами.

— По-моему, в стихах все можно.

— А какая вы сегодня нарядная! Только ведь до завтра цветы завянут. Вы их сейчас отколите и — в воду.

«Надо же так все забыть,— подумала Ксения,— ведь хотела же подарок купить, хоть маленький, но лично от себя. Ах, баба бестолковая...»

Открылось окошко, соединяющее обе комнаты подстанции. Заглянула Евгения Михайловна.

— Товарищи, товарищи! Попрошу на занятия.

Кира испуганно, всем телом прикрыла стенгазету, как будто Евгения Михайловна могла ее разглядеть. Нельзя было яснее показать, что готовится нечто тайное от заведующей подстанцией. Но заведующая не обратила на это внимания и ничего не заподозрила. Десять лет Ксения проработала под началом Евгении Михайловны и изучила ее целеустремленный характер. Сейчас заведующая не видела ничего, кроме двух врачей, уклоняющихся от политзанятий.

Кира вздохнула.

— Влипши. Возьму газету домой, здесь невозможно.

Они едва протиснулись в дверь. Народу в комнату набилось много. Санитары, фельдшера, водители машин, врачи. Политчас проводил фельдшер Евсеев, молоденький и очень строгий. Перед ним лежала толстая тетрадь, исписанная красивым почерком, и множество газетных вырезок.

Подавая пример молодым, Евгения Михайловна, ее заместительница Прасковья Ивановна и председатель месткома фельдшер Басанин занятия конспектировали.

Ксения посмотрела на щиток. Номер ее бригады стоял на очереди третьим. Раздался звонок. Фельдшер снял трубку и, негромко переспрашивая, стал записывать вызов. Стараясь ступать неслышно, прошел санитар с ящиком. Врач уже застегивал форменную шинель. За стеной зашумела и отъехала машина.

Занятия шли своим чередом. Только фельдшер другой бригады подсел к телефону и передвинул номерки.

— Товарищи, к следующему разу попрошу особенно тщательно подготавливаться,— сурово говорил Евсеев.— Занятие будет проводиться совместно с работниками больницы. Желательно, чтобы наша подстанция показала себя с максимальной лучшей стороны.

Закивала седой головой Евгения Михайловна. По комнате словно пронесся вздох. Все зашевелились, задвигались.

— Минуточку,— Евсеев поднял руку.— Прошу записать литературу.

— В жизни он не кончит,— с досадой шепнула Кира.— Я смываюсь.

Она протиснулась в дверь, и Ксении открылась вся комната. Доктор Колышев сидел на кушетке у окна. Встретившись с Ксенией взглядом, он высоко взмахнул головой, как бы приветствуя ее, и уж больше не отводил глаз от ее лица.

Ксения несмело подняла руку, будто поправляя волосы. Эти движения ничего не могли раскрыть постороннему. Они были понятны только им двоим. В комнате, переполненной людьми, они могли вот так незаметно переговариваться друг с другом.

В короткой утренней сутолоке, когда одни уходили домой, а другие обосновывались на сутки, Алексей Андреевич просто стоял рядом с Ксенией. Она еще не надела халата, и он видел ее в сером красивом платье, хорошо причесанной. Он это понимает и ценит.

Когда-то они случайно возвращались домой вместе. В автобусе было тесно, вспыхнула перебранка. Растрепанная, красная дама что-то громко кричала. Алексей Андреевич закрыл глаза, лицо его приняло страдальческое выражение: «Бедная, бедная, она ведь совершенно забыла, что она женщина...» Еще тогда Ксения подумала: «Как он прав, мы часто об этом забываем».

Доктор Колышев нередко говорил вещи, которые заставляли задумываться.

Кире в первые дни ее работы он сказал:

— Не волнуйтесь, каждый день будет одно и то же. Вам по существу надо знать несколько несложных приемов.

— Ну, что вы чепуху говорите? — рассердилась Евгения Михайловна.— Как это одно и то же?

Алексей Андреевич улыбнулся.

— Конечно, люди все разные, сколько людей, столько болезней, и так далее... Но если серьезно говорить о характере нашей работы, то, в основном, мы сталкиваемся с травмами — ушибами, переломами, с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Затем отравления... Ну, еще ожоги, кровотечения...

Евгения Михайловна не сдавалась.

— Я за сорок лет работы двух одинаковых переломов не встретила.

— А я за сорок лет жизни не видел, чтобы в споре один убедил другого. Через год спросим у Киры Сергеевны.

Доктор Колышев работал на подстанции недавно. Евгения Михайловна с первого дня обошлась с ним сухо. У нее были свои планы на эту штатную единицу.

— Я располагала дать по полставки двум своим врачам. У них семьи, им нужно. Да вот в центре иначе рассудили...

При случае она не забывала заметить:

— Что ж вы с таким, можно сказать, научным багажом и к нам? Вам бы в клинику, в институт какой-нибудь.

Алексей Андреевич мягко отвечал:

— Видите ли, меня устраивает здесь распределение рабочего времени. Все-таки три свободных дня после дежурства.

— Ну, у нас еще и полусуточные дежурства есть.

И Евгения Михайловна неуклонно назначала доктора Колышева на никем не любимые полусуточные дежурства. Несколько раз это совпало с часами работы Ксении, и тогда они возвращались домой вместе. По дороге он рассказывал ей о своей неудавшейся семье.

— Постепенно выяснилось, что мы видим мир по-разному. У нее одни представления о жизни, у меня другие. Пришлось расстаться. Ребенок остался с матерью. Тут я ничего не мог...

Ксении доктор Колышев нравился. На подстанции о нем говорили: «эрудированный врач». Два дня назад она зашла к нему за журналом. И вот теперь все должно перемениться в ее жизни...

Шло обычное рабочее утро. Расходились по домам измятые бессонной ночью люди. На клеенчатых диванах лежали грубошерстные одеяла. Стол, на который опирался пальцами Алексей Андреевич, был заставлен стаканами с недопитым чаем.

А он говорил, чуть наклонившись к Ксении:

— Я очень люблю белые гвоздики. Они и просты и необычны, потому что гвоздике ведь свойственно быть красной.

Радостное, гордое чувство женского могущества ощутила Ксения. Снова захотелось заставить его побледнеть, говорить неслыханные слова и знать, что во всем мире для него она одна. Захотелось засмеяться от прилива жизненных сил, как бывает только в юности.

Сошурив карие глаза, она спросила:

— А апельсины вы любите?

Он быстро ответил:

— Люблю.

— А золотых рыбок?

И добавила почти беззвучно:

— А меня?

Он поднес ладонь к глазам.

— Алексей Андреевич, что же это у нас получается? — Евгения Михайловна всегда говорила громко. — Вы поменялись с доктором Кругляковым дежурством, а у меня никаких данных об этом нет.

Он ответил терпеливо:

— Но нам разрешено было поменяться, Евгения Михайловна.

— Я-то разрешила, но ведь на все порядок есть. Вот вы сейчас и напишите, пожалуйста, чтоб у меня основание было.

Она положила на стол маленький квадратик бумаги.

Раздалась три звонка — вызов с врачом. Ксения Петровна кинулась к шкафу за халатом. Беретик она натянула, не глядя в зеркало, смяла всю прическу. Шинель схватила в охапку. Санитар Сема Яновский тащил ящик с медикаментами. Одеваясь на ходу, промчался фельдшер Володя Буйко.

— Ну, что там у нас? — спросила Ксения, когда машина уже тронулась.

— Отравление аминоксином, — ответил Володя, помахивая бумажкой вызова, на которой еще не просохли чернила.

### 3

Машина скорой помощи едет на желтый свет, обгоняет там, где это не положено, и вообще позволяет себе некоторые нарушения правил. Работники ОРУДа только глядят вслед и вздыхают. Но предоставление этих вольностей и привилегий предполагает водителей самой высокой квалификации.

Лаврентьев, водитель бригады Ксении Петровны, неразговорчив и не любопытен. Он никогда и не оглянется на больного, которого везет.

Ездить с Лаврентьевым уютно и покойно. Он умеет мягко обходить выбоины и неровности дороги. С ним хорошо перевозить сердечников, больных с тяжелыми ранениями, с кровотечением.

Ксения соображала:

«Аминоксин... Это препарат, регулирующий кровяное давление при высокой нервной возбудимости, при психических заболеваниях. Верно, переборщили дозировку. Вряд ли что-нибудь серьезное».

Машина остановилась у многоэтажного дома, выложенного светлой плиткой.

Освещенные чуть затуманенным солнцем поздней осени, пестро блестя витрины молочной, на тротуаре прыгали ребятишки, по-утреннему торопились женщины, нагруженные хозяйственными сумками и бидончиками. Почти все прохожие приостанавливались и смотрели на машину, отмеченную красным крестом. Дети перестали играть и тоже смотрели.

Ксения Петровна, Сема и Володя гуськом проскочили в тяжелую входную дверь. Навстречу им по лестнице сбегала старушка в старом ватнике и клетчатом платке.

— К нам, к нам, на четвертый этаж... Господи... мальчик-то такой хороший, отличник, Владик, господи...

— А что, лифт не работает? — спросил Володя.

— Почему это не работает? — сердито вскинулась лифтерша. — Только четверых он не возьмет.

— Вы езжайте, езжайте, — заторопилась старушка. — Двадцать седьмая квартира. Я сейчас следом добегу.

Она кинулась вверх по лестнице, все повторяя:

— Мальчик-то какой, тихий, послушный...

— Мальчик-то хороший, — сказала лифтерша, — про мальчика я ничего не скажу.

Лифт пополз вверх.

Дверь двадцать седьмой квартиры была открыта. Ксения пробежала длинную прихожую. Из какой-то комнаты вышла женщина и молча указала на дверь напротив.

Больной лежал на диване, укрытый с головой ватным одеялом, и не шевельнулся, когда Ксения подняла одеяло и повернула его лицо к свету.

Весь он был податливо вялый, руки надламывались, точно бескостные. Пульс был слабый. Ксения хлопнула мальчика по щекам:

— Владик, Владик, ты меня слышишь?

Он чуть простонал, не открывая глаз.

— Володя, измерьте давление. Воды теплой побольше!

Она быстро собрала шприц, надломив ампулу. Мать, полная женщина, стояла рядом.

— Вот несчастье, вот наказание...— твердила она, судорожно вбирая воздух и часто моргая круглыми, как черные бусы, глазами.

— Что он принял? Сколько?

— Он такой своенравный, непослушный...

— Господи, отличник! — тихо плакала подоспевшая бабушка. Она протянула старые худые руки к Ксении. — Жить-то он будет, доктор? Что же делать-то? Что делать?

— Воду согрейте. Чуть теплее парного молока.

— Мама, — распорядилась женщина, — нагрейте воду. А вас сюда попрошу, доктор, на минуточку.

В соседней комнате было пестро от вышивок. По стенам висели дорожки, расшитые яркими цветами. На диване симметрично расположились пышные подушки. Над кроватью — исполненный крестиком ковер изображал льва на фоне зеленых гор и деревьев.

— Ведь одет, обут, питание хорошее. Сами видите — уют у нас, телевизор, все условия создали...— Она хватала себя за щеки, за губы. Пальцы ее дрожали.

Ксения Петровна рассматривала аптекарскую коробочку.

— Это я для брата заказывала. У меня брат под Москвой живет. Принесла и нарочно сказала: это, мол, яд. Для мамы больше, она, знаете, по-стариковски всякое лекарство принимает. Я и предупредила — это яд. Не трогайте. А утром он спит и спит. И завтрак не стал. Мы с ним вечером немного поспорили, но разве я думала? А потом, как осенило меня, — кинулась, а в коробке пусто.

В комнату заглянула старуха.

— Любочка, у соседки чайник вскипел. Можно у нее взять?

Ксения побежала в кухню. По ее просьбе соседка торопливо сняла с полки большую эмалированную кастрюлю.

— Берите, берите!

Пока Ксения разбавляла воду, соседка все говорила, не обращая внимания на бабушку Владика, которая судорожно хваталась то за чайник, то за кастрюлю.

— Вот она, дисциплина-то, до чего довела. Мальчишка и не зашуми, и не заговори, и товарища не позови...

— Что уж это вы, — слабо отбивалась бабушка.

— Мать целые дни за иголкой крестики считает, а у отца один разговор: подай дневник, нет ли, упасы бог, троечки. А к людям прислониться боются.

С кастрюлей в руках Ксения побежала в комнату.

Трудно было понять, сознает ли что-нибудь Владик. Его посадили на стул, и он расслабленно поник всем телом, но послушно приоткрыл рот и застонал, когда Ксения ввела желудочный зонд.



**НОРА АДАМЯН** начала свою литературную деятельность с переводов произведений армянских поэтов на русский язык.

До переезда в Москву жила в Ереване, где в течение многих лет работала в республиканской газете «Коммунист».

Первые ее рассказы были опубликованы в журналах «Новый мир» и «Огонек» в 1953 году.

С того времени рассказы и повести писательницы систематически печатаются в московских журналах.

В 1955 году издательство «Советский писатель» выпустило книгу Н. Адамыан «Начало жизни». Затем вышли сборники рассказов и повестей «У синих гор» и «Девушка из министерства».

— С вечера накрылся с головой одеялом и хрумтит. Я-то, грешница, вообразила, не поужинавши лег, так, верно, сухарика взял. Ну и хорошо, думаю. А он это лекарство глотал. Ах, горе, грех какой!

Времени прошло много. Аминозин, конечно, уже всосался. Володя, наливая в воронку кружку за кружкой, сказал вполголоса:

— Чистая совсем, Ксения Петровна.

Промывание все же оказало некоторое действие. Владик задвинулся на стуле и порывался вытянуть зонд.

Ксения Петровна еще раз выслушала сердце и выпрямилась.

— Одевайте его.

Мать Владика все стояла в дверях, комкая в руках платок и шевеля губами.

— Мы увезем мальчика в больницу. Через час можете приехать справиться.

— Ох, пожалуйста, доктор! Я сама хотела просить.

— Что же у вас все-таки вышло? Из-за чего это он?

— Ну, просто со зла! Является вчера из школы и вдруг объявляет: ко мне завтра три человека товарищей придут. Стенгазету, что ли, какую-то делать. Ну, вы подумайте: три посторонних человека ввалятся в квартиру. Ведь это какое беспокойство. Мальчишки, они ни с чем не считаются. А я, говорю, разрешила тебе их позвать? Они, говорит, меня не спрашивались. Знают, что у нас квартира большая. Ну, говорю, они не спрашивались, а я их не звала. Незванным гостям от ворот будет поворот. Так, поверите, он аж зубами закрипел.

— А отец тоже не разрешил? — спросила Ксения.

— Что вы! Муж на работе. Его это наше домашнее не касается.

Владик уже пришел в себя. Он порозовел, пульс был еще слабый, но хорошего наполнения. Мальчик не открывал глаз, но Ксения знала, что это не от слабости, а от стыда, от невозможности видеть заплаканную бабушку, смятую постель, таз с грязной водой, взволнованные лица соседней.

Большого уже укладывали на носилки, когда приехал отец Владика. Ксения совершенно о нем не думала, но где-то в подсознании глава этой семьи представлялся ей обрюзглым толстяком. В комнату быстрым шагом вошел высокий, красивый человек. Он казался очень молодым от худобы, подтянутости, от того, что у него были чистые голубые глаза и крепкая линия рта.

Он пытался скрыть свою растерянность и волнение, хотел расстегнуть пальто, но, увидев носилки, ухватился рукой за спинку стула.

Ксения сказала:

— Не тревожьтесь. Мальчик вне опасности. Но увезти его мы должны.

— Это правда, что он... Что он это нарочно?

Не дождавшись ответа, отец Владика кинулся к носилкам.

— Что же ты это, а? Учудил такое... Как же ты это?

У Владика бились и дрожали сомкнутые веки.

Торопясь за носилками, отец растерянно спрашивал у Ксении:

— Из-за чего же это, а?

Ксения сказала ему:

— Вы, вероятно, мало общались с сыном.

— Мало? — он удивился. — Нет, как же, я следил... За учебой следил...

Нести Владика было легко. Ребята торопились. Ксения крикнула: «Володя, следите, чтоб голова была выше».

После первого потрясения к отцу Владика стало приходить сознание того, что произошло. Он неотрывно смотрел на угловатые очертания мальчишеского тела на носилках.

— Понять нельзя! Ведь я стадион сейчас строю — огромный, для них же, для молодых. А собственный сын... Чего ему не хватало?

Ксения вкратце передала разговор с матерью Владика.

— Не ожидал от Любы, — сказал он. — Люба женщина добрая.

«Ну, конечно, знаешь ты ее!», — подумала Ксения, вспомнив навечно испуганное лицо бабушки и темные бусинки глаз матери Владика.

У подъезда толпились любопытные. Ксения знала, как это мучительно для больного и его близких. Она пошла рядом с носилками, как бы загораживая мальчика. Отец шел с ней вместе, а в проеме дверей стояла закутанная в белый платок мать. Она спустилась на лифте и смотрела издали, как увозили сына.

— Владька! — вдруг громко крикнул мальчишеский голос.

Трое подростков очутились возле носилок.

Владик порывисто дернулся, будто хотел укрыться от всех.

Ксения сказала громко:

— Владик отравился консервами. Через несколько дней он встанет.

Носилки задвинули в машину.

На тротуаре остались трое мальчиков и мужчина.

— Рыбными консервами? — деловито осведомился один мальчик.

Отец Владика вздрогнул. Трое товарищей его сына стояли перед ним. У ребят были строго озабоченные лица.

— Вы учитесь с Владиком? Одноклассники?

Один кивнул. Другой спросил:

— Может, надо что-нибудь сделать? Может, в больницу съездим?

Третий мальчик сказал:

— А он бумагу для газеты обещал. Большой лист.

— Это мою, чертежную, — сказал отец, — я дам.

Они постояли еще немного. Мужчина обхватил ребят за плечи.

— Вы к нам шли, так пойдете.

Владикина мать наставляла лифтершу:

— Так всем и говори. Рыбные консервы. Своими ведь ушами слышала, что докторша сказала.

Лифтерша молчала. Взглянув на подошедших, сердито сказала:

— Всех лифт не заберет.

Отец Владика прошел мимо жены.

— Нас четверых заберет, — сказал он, — мы не тяжелые. — И пропустил трех мальчишек в кабину.

...Когда машина отъехала, Ксения спросила:

— Что тебя толкнуло на это, Владик?

Он крепче зажмурился.

— Тут твоих домашних нет. Скажи мне все откровенно.

Мальчик судорожно глотнул. Его молчание было тяжелым и горьким. Нужно, чтоб он заговорил.

— Разве так уж тебе плохо жить?

— Стыдно, — вдруг хрипло сказал Владик, — товарищей стыдно! — Он впервые открыл голубые глаза, которые казались особенно светлыми от густых ресниц.

Ксения погладила его спутанные волосы.

— Ты еще только жить начинаешь... Человек должен быть стойким. Мало ли что в семье случается.

Она держала его за руки. Большие руки подростка, еще тонкие в запястье, с круглыми ногтями.

— Я умру? — он тревожно посмотрел на Ксению.

— Нет, теперь не умрешь. А близко к тому было.

Сема, сидевший в головах у больного, рассмеялся.

— Если хочешь знать, ты, как вареная макарона, валился, пока мы тебя откачали.

Владик снова закрыл глаза и нахмурился.

Когда машина, въехав в больничный двор, остановилась у приемного покоя, мальчик тронул руку Ксении и сказал, не открывая глаз:

— Спасибо вам.— И добавил совсем по-детски:— Я больше не буду...— но тут же стиснул зубы и натянул на голову край одеяла.

#### 4

На подстанции стало светло и уютно. Санитарка Любаша прошлась по всей комнате тряпочками — где сухой, где мокрой. Блестела светленькая клеенка на столе, блестели перемытые кипятком стаканы и кружки. Солнце широкими полосами стояло в комнате, и казалось, что это от него такой сухой, теплый воздух.

Алексей Андреевич за столом просматривал газету. Один в комнате. И хорошо. Ведь еще ничего не сказано, не решено. Он поможет. Он поймет, как ей трудно, и не потребует немедленных решений. Он многое возьмет на себя — такой уверенный, спокойный, твердый.

Ведь они теперь родные...

Нет! Это слово все разбило, Алексей Андреевич не был родным. Родным по-прежнему оставался Вадим, знакомый от пальцев на ногах до двойной макушки. Его Ксения ощущала как самое себя. Боль Вадима была ее болью, его жажда — ее жаждой. Для ее счастья надо было знать, что он здоров, сыт, что у него заштопаны носки.

Алексей Андреевич не был родным. Его даже в мыслях нельзя было назвать: Алеша, Лешенька... Когда в тот вечер, на улице, он взял ее под руку, Ксения от волнения не могла говорить.

И сейчас она не могла заговорить первая. Скованная его прищуренным, улыбающимся взглядом, Ксения позвонила в центр, продиктовала отчет о посещении, раскрыла журнал, чтобы сделать очередную запись.

Чуть покачивая стул, Алексей Андреевич нараспев читал:

Как-то в комнате буднично скромной  
Побывала лазурная птица...

Она не сразу поняла, что это стихи и что эти стихи имеют отношение к ней. Отвлеченные слова вдруг приобрели скрытый смысл, и это тоже было только для двоих, хотя сейчас Ксения ждала других, более простых, что-то определяющих слов. Но в комнату ввалился доктор Самойлов, которого все называли просто Юрочкой. Растрепанный, небритый, с красными глазами, он тотчас начал жаловаться:

— Видели, какую гадость мне этот сукин сын Карцев подстроил? Тебе, говорит, всего двадцать минут до конца дежурства осталось, так поезжай, говорит, на этот вызов, там, говорит, пустяк. Ну я, дурак, согласился. И ведь не моя очередь была...

С той поры я шальной и бессонный,  
Шелест крыльев мне мнится и снится...—

продолжал Алексей Андреевич.

— Бросьте, пожалуйста,— вдруг рассердился Юрочка,— будешь бессонный. Вы себя поставьте на мое место — приезжаем, а там чистейший инфаркт. Дядька на сто двадцать кило. Неотложка тьк-мык — и увильнула. Думал, отдаст концы, честное слово! Насилу отстояли.— Он схватил трубку городского телефона и стал набирать номер.— А стишки эти бессмысленные. Если человеку не спится, то ему и сниться ничего не может,— и, пригнувшись, закричал в трубку:

— Людмила Ивановна? Ну, как у вас? Ничего, теперь пойдет на лад. Теперь каждый час на нас работает. Курить не давайте. Есть тоже не

давайте... Ну, теперь у вас без меня врачей хватает. Ну хорошо, я тоже загляну... загляну. Попозже.

Над простым, доверчивым Юрочкой частенько подшучивали, а Евгения Михайловна стояла за него горой.

— Доктор Самойлов — врач божьей милостью. Такие редки.

— Вы правы,— соглашался Алексей Андреевич.— У Юрочки под руками много всякого. От йода до пенициллина. Он и применяет.

— А другие? — лукаво спрашивала Кира.

— Другие... Другим труднее. Они яснее видят процессы, происходящие в организме, и многое ставят под сомнение. Многое, что до сих пор считалось незбылемым.

Евгения Михайловна поджимала губы.

— Эдак, с сомнениями, можно и о больном забыть.

Прямо к доктору Колышеву это как будто не относилось. Но он отвечал с обезоруживающей мягкостью:

— Неужели вы думаете, что я хуже Юрочки сделаю инъекцию кардиамина?

Евгения Михайловна выводила из этой беседы свое заключение:

— Вот некоторые меня в консерваторы записывают. А того не знают, что от нашей подстанции каждый год врачи и на усовершенствование, и на специализацию, и в республики обмениваться опытом ездят. Уже и личным знакомством злоупотребляю, чтоб только лишнее место для своих вырвать. И от литературы, кажется, не отстаем, и конференцию недавно провели. А экспериментировать нам, прямо скажу, некогда. У нас счет идет на минуты!

И спокойно-спокойно отвечал Алексей Андреевич:

— Если хотите знать мое мнение, Кира Сергеевна, мыслящему врачу всегда труднее. Где мысль — там сомнение. Лечить надо, как Юрочка,— быстро и уверенно.

Сейчас Юрочка никак не мог решиться уйти домой. А ведь именно в эти тихие утренние минуты все, как нарочно, сошлось так, чтоб они могли поговорить. Ксения с острой неприязнью следила, как доктор Самойлов томительно долго звонил в центр, делал запись в журнале, а потом просто сидел, моргая воспаленными веками, и огорчался.

— Целый день потеряян. Нет, я все-таки считаю, что это безобразие. В самом конце смены...

Алексей Андреевич посмеивался.

— Сочувствую, Юрий Иванович. Нет, мы стараемся обеспечить себе после работы более приятные события. Не правда ли, Ксения Петровна?

Ксения подумала: «О чем он говорит? Неужели о том, что было? Вот так, при Юрочке, улыбаясь?»

Она ни одним движением не ответила ему ни на улыбку, ни на слова.

Юрочка лениво пошел к вешалке за своим пальто. И тогда, может быть встревоженный неподвижностью Ксении, Алексей Андреевич, перегнувшись через стол, тихо спросил:

— А когда мы повторим тот волшебный вечер?

В ту же секунду прозвучали звонки вызова. Доктор Колышев быстро поднялся. Лицо его стало строгим и сосредоточенным. Он застегнулся на все пуговицы, плотно натянул фуражку. Ему очень шла и черная шинель и эта фуражка — форма работников «скорой помощи». Когда-то давно Ксения сказала ему об этом, и он ответил:

— Я мужчина, и мне к лицу всякая форма. Вас она портит именно потому, что вы настоящая женщина.

Как могут тревожить слова!

Солнце соскользнуло к другому окну и падало теперь косыми желтыми лучами. Из маленькой прихожей, где помещалась газовая плита и фарфоровая раковина, доносился плеск воды. Это умывалась приехав-

шая с вызова Евгения Михайловна. Через минуту она внесла кипящий чайник и собралась завтракать.

У всех врачей на подстанции имелось свое маленькое хозяйство — чашка, ложка, тарелка. А у Евгении Михайловны, которая проводила на работе почти половину жизни, образовался небольшой филиал домашнего очага. Она достала из тумбочки крохотный заварной чайник, салфетку, чай в жестяной коробочке. В маленьких пакетах и кулечках у нее всегда имелись запасы мармелада, пастилы и печенья. Любители выявить в человеке уязвимое место утверждали, что Евгения Михайловна сладкоежка, хотя в еде она была непривередлива и невозмутимо съедала любой обед, доставляемый санитаркой с соседней фабрики-кухни.

— Ксенечка, а вы завтракали? А то садитесь.

В комнате, кроме них двоих, никого не было, и потому Евгения Михайловна позволила себе назвать врача уменьшительным именем.

Есть Ксении не хотелось, да и на очереди она была сейчас, все равно чашки чая не допьешь. Но Евгения Михайловна налила ей чашку и передвинула на середину стола кружочки колбасы и печенье в бумажной салфетке.

Она была такая же, как всегда, с аккуратными волнами стриженных седых волос, в обычном шерстяном платье под белым халатом. Почти ничего в ней не переменялось с тех пор, как ее впервые увидела Ксения. Только тогда еще был жив муж Евгении Михайловны, и, бывало, она с работы торопилась домой.

— Я Антону Георгиевичу своему кушать еще не варила...

На праздники она приглашала к себе гостей. После бутылки сладкого вина, распитой с гостями, Антон Георгиевич пел, аккомпанируя себе на гитаре.

Как цветок голубой среди снежной зимы  
Я увидел твою красоту...

и при этом неотрывно смотрел на жену.

Умер он скоропостижно, когда Евгения Михайловна была на дежурстве. Ночью почувствовал себя плохо, сел за стол, написал: «Женечка», а дальше на бумаге шла волнистая линия. Потом говорили: «Так и не узнать теперь, что он хотел написать», а Евгения Михайловна отвечала:

— Все знаю, каждое словечко...

На похоронах она тихо плакала и, только прощаясь, сказала громко и горько:

— Стольким людям помощь оказала, а тебе, родной, не смогла.

На другой же день она вышла на работу и больше уже никогда не торопилась домой и никого не звала к себе в гости.

Евгения Михайловна пила чай с удовольствием, прихлебывая, отогревая пальцы о стакан. Ксения глядела на ее руки, сухие от частого мытья и протирания спиртом, с коротко обрезанными бледными ногтями.

Знала ли она в своей жизни женскую тревогу, смутение, неуверенность? Все ли в жизни у людей так просто и гладко, как иногда кажется со стороны?

— Ксенечка, хотите билеты в зал Чайковского негритянскую певицу послушать? Ах, какой голос прелестный! И сама такая эффектная женщина! Хотя совершенно черная. Я вчера такое удовольствие получила.

С незапамятных времен все крупные театры и концертные залы предоставляли «скорой помощи» билеты. Делалось это на случай каких-либо происшествий, но происшествий почти никогда не случалось, и бесплатные билеты стали своего рода премией. Распределяла их, в порядке общественной нагрузки, Евгения Михайловна. Себя она при этом не забывала. Молодые врачи иногда втихомолку бунтовали.

— В зал Чайковского или в консерваторию только тогда и пойдешь, когда «сама» дежурит. Да и то вздыхает: «Вы как будто к музыке не привержены. Сходите лучше в театр Моссовета. Критика вроде положительно высказывалась об этом спектакле», — очень похоже копировал Евгению Михайловну молодой врач Кругляков.

— Одного не учитывает старушка, соблазнять надо не теми пьесами, которые критика хвалит, а теми, которые она ругает...

Конечно, кое-что из подобных высказываний долетало до заведующей, но обычно шепетильная до мелочности, тут Евгения Михайловна не желала слышать никаких намеков.

Приглашение послушать певицу Ксения отклонила. Невозможно было представить себе возврат прежних спокойных дней с их удовольствиями и развлечениями. Уж очень далека была эта жизнь. Сейчас она готовила себя к трудным переменам, к переменам с болью, с потерями. Это казалось неизбежным. И вдруг опять что-то произошло...

Были сказаны фразы, которые в первые минуты только неприятно задела, а потом стали входить в сердце и сознание, все отравляя.

Ксении хотелось остаться одной. Закрыть двери и ходить, ходить по большой пустой комнате. Чтобы никуда не надо было спешить. Чтоб никто не вошел и не спросил: «Что с тобой?», «Ты сегодня не в духе?», «Мы разве не будем пить чай?». Ей хотелось вспомнить все связно, понять, откуда возникло стремление к человеку, которого она так мало знала.

Он сказал: «Отныне вся моя жизнь будет служением вам». И Ксения поверила. Так много обещали эти слова. С ними можно было чувствовать себя женщиной каждый день, каждую минуту.

Какие запреты лежали на ней? Верность Вадиму? Чистота? А разве они были ему нужны?

«Высокие материи», — говорил Вадим. Все, что выходило за рамки обычного, повседневно, было «высокие материи».

Подразумевалось само собой, что Вадим ее любит, привычно, спокойно, уверенно. И она должна быть ему женой-другом, женой-товарищем.

Для кого же любовь, во имя которой люди переплывают океаны, умирают и воскресают?

Алексей Андреевич сказал: «Когда вас нет рядом, мне трудно дышать».

И Ксения разрешила себе ни о чем не думать, только слушать и верить.

А если это ошибка? Что тогда будет?

На тумбочке тикали часы-будильник.

Евгения Михайловна позавтракала и сидела задумавшись.

Далеко, «в центре», в приземистом доме с колоннами, на широких пультах ежеминутно вспыхивали маленькие лампочки. Ноль три — люди зывали о помощи. Телефонистки торопливо записывали вызовы и направляли их на стол к диспетчеру. А диспетчер звонил по прямому телефону на подстанции. «Ноль три». Кому-то плохо. Кто-то нуждается в скорой помощи.

## 5

...Ехать пришлось на станцию метро. «Сердечное», — коротко сказал Володя.

По лестницам и проходам метро они пробежали против течения, рассекая поток людей. Девушка-контролерша предупредительно кинулась показывать дорогу, но Ксения уже бывала в медпункте и уверенно открыла неприметную дверь.

Медицинская сестра, совсем молоденькая и очень испуганная, быстро зашептала на ухо Ксении. Она перечислила принятые меры языком медицинских учебников: «...Ослабила стягивающую тело одежду»...

Больной лежал с развязанным галстуком, расстегнутой сорочкой. Узкие черные ботинки валялись у кушетки. Он молча, сосредоточенно смотрел перед собой и усилием воли старался дышать глубоко и равномерно, но сбивался, и частое неполное дыхание толчками поднимало его широкую грудь.

Он подождал, пока Ксения проследила пульс, и сказал медленно, экономя каждую частицу своих сил:

— Нитроглицерин принял. Если можно, вспрысните...

Он назвал лекарство, ампулу которого Володя уже передавал Ксении Петровне.

— Часто у вас бывают такие приступы? — спросила Ксения, сделав укол.

Больной чуть кивнул.

— Часто. Стенокардия. Куда повезете? — спросил он, отдыхая после каждого слова.

— Подождем, пока вам станет легче. Потом повезем поближе к вашему дому, — Ксения посмотрела карточку, которую заполнила сестра медпункта, — вероятно, в Боткинскую.

Больной закрыл глаза.

Сердце его работало плохо, может быть, только чуть лучше, чем раньше. Лицо оставалось землисто-бледным. Перевозить его в таком состоянии было опасно. Ксения сделала еще один укол и присела на кушетку, непрерывно следя за пульсом.

Сестра медпункта, успокоившись, стала наводить порядок — положила на белый табурет ворсистую шляпу, пушистое кашне и пакетик, в суматохе сброшенные на пол. Повесила на вешалку ратиновое пальто.

Теперь, когда было сделано все, что нужно и можно, Ксения разглядела лежавшего перед ней человека. Широкий в кости, еще совсем не старый, сильный мужчина. Жить бы ему очень долго, если бы не изношенные, суженные сосуды, которые подводят к сердцу кровь. И жизни ему отмерено сейчас — год, ну, два-три, если бросит курить, не будет пить, волноваться, радоваться, горевать.

Больной скосил на Ксению глаза и слабо улыбнулся.

— Три войны, — сказал он. — В штатском — это недавно...

Скрипнула дверь, и в комнате, сразу перебив запах лекарств и спирта, запахло духами.

— Кеночка, — вдруг твердым, громким голосом позвал больной.

Ксения невольно склонилась к нему, но, конечно, он звал не ее.

К кушетке подошла женщина в широкой шубке, в ярком сиреновом платочке.

— Ну вот, Даня, я и успела, — сказала она, улыбаясь. — Что, плохо было, милый?

Он не ответил. Лицо женщины на секунду омрачилось. Потом она снова улыбнулась.

— Теперь все будет в порядке, правда, доктор?

Она обернулась к Ксении и внимательно посмотрела на нее карими, раскосыми глазами.

— Надо грелки к ногам, верно?

Из клетчатой сумки она вынула две булькающие грелки, привычно обернула их мохнатым полотенцем и приложила к ногам больного. Потом из той же сумки извлекла тоненькую металлическую коробку со шприцем.

— Я самонадеянно думала, что приеду раньше «скорой помощи».

И она засмеялась. Володя и Сема тоже засмеялись вместе с ней.

Улыбнулась и Ксения, хотя для веселья не было никакого повода.

Женщина присела у изголовья больного, пригладила ему волосы, поправила сорочку.

Сестра медпункта шепнула Ксении: «Это я позвонила. Он попросил».

Больной как будто задремал. Женщина сидела неподвижно. Но от того, что она была тут, всем стало легче. Даже Ксении. В уголке Сема громким шепотом доказывал Володе:

— Артистка она. Я тебе говорю. Я ее видел.

Может быть, на самом деле она была артисткой. Уж очень спокойно было ее лицо у постели мужа. А потом, вызвав Ксению за дверь медпункта, она говорила, сжимая руки и сведя в одну полосу брови:

— Ему очень плохо, доктор. Вы даже не знаете, как ему плохо.

Ксении хотелось ее утешить. Пусть ей станет легче, хоть ненадолго.

— Я все-таки надеюсь на лучшее. Вот сделают кардиограмму...

— Ах, что кардиограмма,— женщина махнула рукой.— Уж если он мне не смог солгать, смолчал, значит, очень плохо...

Она закрыла глаза и сказала:

— Боже мой, неужели конец, всему конец..

На станции метро шумел подошедший поезд. Люди шли, разговаривали, смеялись. Шли мужчины с портфелями, девушки с книгами, старушки с авоськами. Шли молодые женщины с детьми. Людей было много, и у каждого своя, неповторимая, единственная жизнь.

## 6

Рация вызвала: «Пятьдесят седьмая, пятьдесят седьмая...»

— Нас...— Володя записал вызов.

— А я и не позавтракал,— пожаловался Сема.

— Ничего, поужинаешь.

Лаврентьев уже ехал по новому адресу.

Есть в Москве промышленные кварталы, бывшие окраины города. Ряды заводских корпусов, обнесенных заборами, хозяйственные дворы, рельсы, по которым бегают запыхавшийся паровозик.

Город взял их в кольцо высоких домов, повел дальше магистрали новых улиц, а небольшой завод, расположенный на таком участке, работает себе, не смущаясь своим закопченным видом и не задумываясь над тем, что по генеральному плану города на его месте через год-два будет зеленеть сквер.

Почему-то подъезд к такому заводу всегда затруднен. Машина колесит какими-то переулками, петляет и обязательно проезжает мимо проходной.

Но на этот раз машину встречали. Несколько человек, стоя на углу, отчаянно махали руками.

— Похоже, нас,— сказал Володя,— да злые...

Лаврентьев, не сбавляя скорости, проехал дальше, круто завернул и остановился у ворот завода.

Во дворе толпились рабочие — кончилась смена. Бригаду скорой помощи встретили неприязненно.

— Прохлаждались где-то..

— Скорая называется...

Это было несправедливо и обидно. Но отвечать не полагалось. С первых дней работы Евгения Михайловна предупреждала об этом и врачей, и фельдшеров, и санитаров.

— Всякого наслушаетесь. И понятно — люди в отчаянии. Близкий человек страдает, тут каждая минута часом кажется. А вы молча, без препирательств, должны делать свое дело, потому что если объясняться да в споры вступать, то и о больном забыть можно.

Ксения знала — надо смотреть прямо перед собой и делать вид, будто ничего не слышишь. Но ведь они не задержались. Лаврентьев даже у светофоров не стоял.

— Вы разве долго нас ждали? — негромко спросила она человека, видимо начальника цеха, который вел их к больному. Он повернул к Ксении озабоченное лицо и сказал, по-видимому не расслышав вопроса:

— Бревна струнулись, а он их плечом, плечом поддержать хотел. Вот как у нас получилось.

На неровном полу темного коридора Ксения раза два споткнулась.

— Лампочку надо ввинтить, — сердито сказал провожатому Володя.

— Медпункт у нас дальше, так мы его, чтоб быстрее, в красный угол, — оправдывался провожатый.

Парень в ватнике и стеганых брюках лежал на столе, покрытом красным кумачом. Наверное потому Ксении показалось, что он уже мертв. Даже мысленно она тут же поправилась — «без признаков жизни». На подстанции слово «умер» не употреблялось. Говорили осторожно — «без признаков жизни». Надо было долго и упорно стараться, чтоб эти признаки появились. В некоторых случаях, например утонувших или пораженных током высокого напряжения, инструкция предписывала придать в чувство «вплоть до появления трупных пятен».

Но это был шок. Тяжелый болевой шок, вызванный переломом ключицы. Тоже достаточно неприятная штука.

— Володя, спирт, быстро.

В комнату, увешанную плакатами, набилось множество народу. Какая-то девчонка, в съехавшем на сторону платочке, бледная, большеротая, истерично кричала:

— Явились, наконец, приехали, пойте теперь у его холодных ног! Ленечка, Ленечка, что же они над тобой сделали?

Женщины стали уговаривать девчонку.

— Клава, будет тебе! Клава, угомонись!

— Не троньте меня, не троньте, — твердила она, отбиваясь.

Мужчина, провожавший Ксению, негромко велел женщинам:

— А ну, оставьте ее. — И так же негромко, но жестко сказал: — Кто ты такая ему? Ты какое право имеешь здесь кричать? А ну, чтоб я голоса твоего не слышал. Понятно тебе?

Немало пришлось повозиться над парнем, подставившим плечо под штабель строевого леса. Кость оказалась переломленной в двух местах, возможно, было и внутреннее повреждение, но это могло выявиться только при более глубоком исследовании в больничных условиях.

Леонид Огуреев медленно приходил в себя. Ему дали выпить мензурку разбавленного спирта. Снять с него стеганку было трудно, пришлось разрезать рукав до горла. Ксения старалась резать аккуратно, чтоб легче было потом зашивать. Огуреев следил за ее движениями еще затуманенными глазами.

— Рука попорчена?

Володя строго ответил:

— Пальцами шевелить можешь, значит цела.

Ксения пообещала:

— Кости молодые, срастутся быстро.

Володя и Ксения возились, накладывая шины, когда в комнате снова появилась большеротая девчонка. Она уже не плакала, но была такая же растрепанная и беспокойная. Незаметно подобравшись к самому столу, она с готовностью кидалась помогать и Ксении Петровне, и Семе, и Володе и лопотала без умолку.

— Ленечка, слышишь, докторша говорит, косточки быстро срастутся. А ватник я тебе зашью, ты не думай, и видно ничего не будет. Ленечка,

а как я по тебе кричала, ой, как я кричала! Прямо как ненормальная!  
В комнату снова набрался народ. Теперь, когда Огуреев пришел в себя и лежал обслуженный, ухоженный, все повеселели, рады были откликнуться на любую шутку.

Ксения приказала:

— Помогите переложить больного на носилки.

Несколько парней тронулись к столу.

— Удостоился ты от нас, Леонид, на руках понесем.

Огуреев попытался приподняться, но Володя силой прижал его к столу. Парень был крупный и тяжелый, как налитой. Крепкая кость, тугие мускулы. Носилки подняли вровень со столом и осторожно передвинули на них больного.

Клава суетилась больше всех.

— Осторожненько кладите, руку ему большую не строньте. Федька, полегче, не бревна ворочаешь. Васька, чего ты как-то неловко заходишь.

Огуреева била дрожь. Лицо его посинело, зубы мелко стучали. Больничное одеяло грело плохо.

— Нет ли чего-нибудь теплого?

— Как же нет! — взвизгнула Клава. — Я сию минуту пальто свое принесу. Оно у меня на китайском ватине, как печка теплое.

Громко стуча каблуками, она выскочила за дверь.

Парень, держащий носилки, засмеялся:

— Ну все, Ленька. Достался ты ей теперь со всеми потрохами.

Ребята дружно захохотали, и сам Леонид пытался улыбнуться, но губы его не слушались. Он ничего не смог ответить и директору, который появился с главным инженером и председателем месткома.

Все они, видимо, только что приехали с какого-то совещания, вошли гуськом в пальто и шапках.

У директора было огорченное, сердитое лицо.

— И как это тебя угораздило? — начал было он и тут же спохватился: — Ничего, ничего, друг, лежи, не беспокойся.

Клава, укрывая Огуреева ярко-синим пальто, ответила наставительно:

— А ему беспокоиться нечего. Теперь уж вам придется о нем побеспокоиться.

Директор секунду недоуменно смотрел на нее, потом встряхнул головой и подошел к Ксении.

— Ну как, доктор? Что у него? Опасно?

Везли Огуреева далеко. Он жил в Черемушках, и доставить его надо было в больницу того же района. Ксения сидела, как всегда, у носилок, а в ногах на краю койки примостилась Клава. Она первая влезла в машину.

— Как же его одного отпустить? А вдруг что понадобится? И пальто мое на нем. Да вот он и сам скажет. Ленечка, ехать мне с тобой? Ехать?

— Пусть! — кивнул Огуреев.

— Ну, репей! — восхищались парни.

Не обращая внимания на Ксению Петровну, Клава всю дорогу горячо шептала Огурееву о каких-то планах. Тут были и пятьдесят рублей, которые она для Ленечки «стребует» с Васьки, и обещания каждый день являться в больницу, и снова рассказ о том, как она кричала и убивалась над ним.

— Книжки, — натужно сказал Огуреев.

— Книжки, Ленечка? — готовно подхватила девушка.

— Сдать надо, в библиотеку. И другие принесешь. Там список есть.

— А читать можно тебе? Пусть докторша скажет. Можно ему читать? Ну и хорошо. И не бойся!

Она ласково гладила ворс жесткого одеяла, поправляла сползавшее пальто и, когда уже подъезжали к больнице, сказала жалобно:

— Вещи твои мне ведь взять придется. Сапоги, стеганку. Так ведь еще, может, и не дадут. Спросят, а ты кто ему будешь? Как же мне тогда сказать, а, Ленечка?

Он нахмурил густые русые брови.

— Ну, как... как хочешь, так и скажи.

Клава прерывисто вздохнула.

Сдав Огуреева дежурному врачу, Ксения вышла из приемного покоя. Лаврентьев возился в моторе. Володя задержался у телефона — звонил на подстанцию. Короткий осенний день уже померк. У больничных ворот стояли женщины с авоськами и кошелками. Принесли передачу. Среди них вертелась Клава. Она держала в руках большой белый батон, пачку сахара, коробку «Беломора» и громко кому-то рассказывала:

— А мой муж на производстве повредился. Он у меня в работе отчаянный!

Она заметила Ксению и победно помахала ей рукой, растрепанная, некрасивая, счастливая.

В машине Володя крутил рацию. Слышалось только далекое потрескивание. Никто их не вызывал.

— Ну и отлично. Поехали обедать.

Ксения закрыла глаза, вспоминая счастливую девчонку. Каждая чужая жизнь сейчас казалась завидней своей. Всем что-то нужно, все к чему-то стремятся. А что нужно сейчас Ксении? И почему ей казалось, что она должна что-то решать, что-то менять? Все просто. Волшебный вечер можно повторить, и еще разок повторить. А можно и не повторять. И напрасно она ищет каких-то объяснений. Никто не ждет от нее крайних мер. Никому это не нужно.

Как он сказал? «Мы стараемся обеспечить себе более приятные события после дежурства».

А ей-то казалось, что для него будет счастьем, если она придет к нему открыто, не таясь, навсегда.

Наивная глупость! Красивые слова, сказанные в определенную минуту, ничего не значили.

Ксения горько смеялась над собой. Конечно, его можно привести к тому, чтоб он милостиво согласился. Осторожненько привести, вот как Лаврентьев водит машину. Где-то постоять, где-то потесниться, кого-то обогнать. А потом выждать и немного погодя спросить: «А кто я тебе, миленький? А как мне себя назвать?»

И когда он наконец решится, закреплять его решение заботами, женскими уловками, хитростью.

Унизительно и ненужно.

Почему она так безоглядно поверила, когда ей сказали: «Без вас темно, без вас нечем дышать?».

Ей до сих пор никто не говорил таких слов. С Вадимом все было иначе — молодо, просто и очень давно. Она ему однажды напомнила его первое, робкое объяснение, он засмеялся: «Все мы бываем дураками...». Как-то еще он сказал: «Что мне, собственной жене в любви объясняться, что ли?»

А своему другу, который отлично знал, с кого Вадим лепил обнаженную фигурку, он объяснял:

— Понимаешь, у моей природы спина кругловата и бока немного высоки.

И тогда она вдруг отчетливо поняла, что не хватало в их отношениях тайной радости, которая освещает жизнь.

Может быть, они слишком хорошо знали друг друга до того как по-

женились? Пять лет они проучились вместе, пять лет Вадим сидел с ней рядом, и его дразнили «Кеночкина тень».

Он один называл ее Ксюшей. Ксения сердилась. Тогда Вадим стал ее звать Ксюшенька-душенька. Глуповато, но им это нравилось.

А в какой день она стала просто «Ксюшей», этого они не заметили оба.

Когда-то они разговаривали друг с другом подолгу, о всяком — о серьезном, о пустяках.

Теперь Ксения не требует: «Поговори со мной». Она спрашивает: «За квартиру заплатил?», «Шурик надел шарф? Сегодня ветер». А Вадим говорит: «Врач не врач, а баба всегда баба. Вечно их простуда пугает».

А ей надо было чувствовать себя жизнью, воздухом, без которого нечем дышать.

Может быть, за это надо было бороться?

## 7

Любаша наливала в тарелку густой гороховый суп. Евгения Михайловна доедала второе. Кроме нее за столом сидел большеглазый, горбоносый мальчик-подросток, с залезанным вверх чубиком. Он настороженными глазами смотрел на дверь и, когда вошла Ксения, привстал.

— Сиди,— велела Евгения Михайловна.

— Я думал — он,— красивым, мягким голосом сказал мальчик.

— Доктора Колышева сын,— пояснила заведующая.

— Очень похож.

Мальчик повел плечом, усмехнулся и ответил:

— Все так говорят.

Ксения с щемящим интересом рассматривала сына Алексея Андреевича. Мальчик немного старше Шурки, но совсем другой. Шурка — шенок, с чужими до дикости застенчивый, среди своих до дикости озорной. Этому, конечно, тоже не просто дается его светское обхождение. Он сидит вытянувшись и оглядывает комнату выпуклыми отцовскими глазами. Он сам может начать разговор, на что Шурка никогда не отважится.

— Простите, а он долго может задержаться?

Евгения Михайловна оторвалась от журнала.

— Что это ты как-то неуважительно отца называешь? Ну, сказал бы — папа или хоть по имени-отчеству.

Она перегнулаась к окошечку, соединяющему комнаты, и стала что-то спрашивать дежурящего у телефона, а мальчик посмотрел на Ксению.

— Я это почему спросил. Вот мы вызывали «неотложку» к моей маме, так они очень быстро сделали укол и уехали.

— Так то «неотложка». Они всегда торопятся. А если б что серьезное — нас бы вызвали.

Мальчик подумал:

— Значит, «скорая» выше «неотложки»?

Ксения вспомнила вечные Шуркины проблемы: кто сильнее — слон или тигр? Кто главнее — маршал или академик?

На «скорой» работает отец, пусть она будет главнее.

— Конечно, «скорая».

Он кивнул.

Евгения Михайловна не упустила случая высказать свое мнение.

— Они на этой «неотложке» сами мучаются и больных мучают. Сразу три, а то и четыре вызова. Вот и разберись, к кому раньше ехать. Как ни верти, а кто-нибудь последним окажется. Это вопрос серьезный. Я считаю, что для пользы дела нас надо объединить.

Три звонка прервали ее рассуждения. Мальчик проводил Евгению Михайловну внимательным взглядом.

— Вот так быстро надо ехать?

— Конечно. Иногда от нескольких минут зависит жизнь человека. А ты тоже будешь врачом?

Он решительно сказал:

— Нет. Я буду делать машины.

— Какие машины?

— Ну, автомашины. Новые марки. Или просто машины. А доктора ведь ничего не делают.

— Ну, знаешь, ты какую-то чепуху говоришь. Я вот сегодня одного мастера от смерти спасла. Он через месяц начнет столы делать или стулья, значит, в каждом стуле мой труд будет. А сколько таких мастеров у каждого врача на счету!

Этот довод его обескуражил, но не убедил. Он засмеялся, стал искать возражений и не мог найти.

— Ишь, какая вы хитрая. Нет, так не бывает...

Теперь он перестал следить за собой, положил локти на стол, наклонил голову. Ксения видела обтрепанные рукава его школьной курточки, пожелтевший краешек воротничка, нечищенные ботинки. Она не отпустила бы в таком виде Шурку к отцу, если бы... Господи, неужели Шурику придется так встречаться с Вадимом — где-нибудь на работе, на улице... Это невозможно.

Скрипнула дверь. Раздались голоса. Мальчик опять привстал.

Расстегивая на ходу шинель, вошел Алексей Андреевич.

— О, у меня, оказывается, высокий гость!

Он аккуратно повесил одежду, провел ладонями по светлым, откинутым с высокого лба волосам.

— Ну вот, Ксения Петровна, мой Андрюшка. Андрей Алексеевич. Ничего экземпляр, а? Как вы находите?

Он потрепал мальчика по затылку. Андрюша не шевельнулся.

— Ну, и работа у меня была! Целое семейство, от мала до велика. Отравление грибами со всеми последствиями. Мы с Васей промывали, промывали.

— Умерли? — заинтересованно спросил Андрей.

— У тебя мрачное направление мыслей, сын. Не умерли, но наделали массу неприятностей и нам и себе. Ну, а ты что скажешь хорошего? Как у вас дома?

— Так...

— Все благополучно? Мама здорова?

Андрюша молчал.

— Но ведь ты за чем-то пожаловал?

Мальчик сказал угрюмо:

— Ты знаешь за чем.

— Что верно, то верно, сын мой. Знаю.

Алексей Андреевич вынул бумажник.

— Видишь ли, в субботу я был занят, — он выразительно поглядел на Ксению. — Думал занести завтра. Держи, сын, не потеряй.

Мальчик деловито заложил деньги в карман куртки и заколол клапан кармана большой английской булавкой, видимо специально приготовленной.

Его дело было окончено. Он собрался уходить.

— Это нехорошо, — остановил сына Алексей Андреевич. — Нехорошо так относиться к отцу. Хоть бы рассказал что-нибудь.

Андрюша присел на край стула. Теперь Ксения не видела больше блестящих глаз, припухлых губ, подбородка с ямкой. Мальчик выставил выпуклый лоб с залызанным чубиком.

слышал про холодильники. Только по его версии их было пять тысяч. Лаврентьев даже показал тот хозяйственный магазин,— они проезжали мимо.

Освещенные витрины сверкали эмалью и никелем. За стеклом стояло множество соблазнительных для хозяек вещей, только холодильников не было.

## 11

Корректорша Зинаида Николаевна говорила:

— Растешь, в силуходишь действительно постепенно. А стареешь сразу. В один день назовут в автобусе бабушкой, и конец. Уже розовую кофточку не сошьешь.

Рая Зверева сочувственно кивала головой, но про себя знала, что никогда не состарится. Она и не пыталась представить свое лицо с морщинками у глаз, с обвисающими щеками, с сединой у висков. До этого было еще огромное количество дней, ночей и рассветов.

Когда Петя был еще только «влюбленным другом», он как-то снял с машины один из первых экземпляров газеты и прибежал в линотипную: лет через десять все будут обеспечены квартирами. Райка сказала грустно: «Что толку-то? Нам с тобой тогда под тридцать будет».

Работать на линотипе, конечно, не просто. Это не машинка, где можно лишнюю букву стереть, и стучи дальше. Тут из-за одной запятой всю строчку переливать надо. Но зато как приятно, когда исчерканные помарками и поправками бумажные листы превращаются в металлические колонки, составленные из крохотных буковок. И вообще работать в типографии чудесно. При входе надо предьявлять пропуск, надевать «спецодежду» — черный сатиновый халатик. А главное, в другом месте она не встретила бы Петю.

Они поженились, не ожидая ни квартиры, ни того времени, когда Петя окончит свой заочный институт. Сняли комнатку. Пете дали отпуск. Он сдавал экзамены, а Райка наводила чистоту и создавала уют.

Собираясь на работу, она напевала песенку в несколько слов:

Райка вышла замуж,  
Райка вышла замуж  
Раньше всех своих подруг!

Старушка, у которой они снимали комнату, качала головой:

— Бабы каются, а девки собираются...

— Разве я девка? — смеялась Рая.— Я уже баба!

— Ну, какая ты еще баба...

А Петя сидел в их комнате за чертежами, и она в любую минуту могла его обнять и поцеловать. Он был такой видный, красивый, даже просто не верилось, что это ее муж!

Между оконными рамами на тарелочке лежали три сосиски. Они были вчерашние, но совсем свежие. Одну Райка съела. Из двух сделала бутерброды. Петя поужинает кефиром.

Он спросил: «Проводить тебя?»

Ну зачем? Пусть лучше сидит, занимается. Теперь уж они все равно всегда вместе.

До полуночи все было хорошо. Послушные буквки сползали по желобку, выстраивались в строчки. Но линотип был старенький и быстро уставал. Что-то разладилось. Букву «ы» заедало. Райка пошла к механику. И тут на лестнице у нее вдруг заболел живот. Будто кто-то провёл по внутренностям ножом. Она присела на ступеньку. Лицо покрылось холодным потом, затошнило. Потом как-то сразу все прошло.

Рая позвала механика, вернулась в цех и выбросила бутерброды с вчерашними сосисками.

Через полчаса у нее опять закружилась голова. Ей снова стало тошно и больно. Кто-то из девушек спросил: «Что с тобой, Райка? Как ты по-бледнела».

Она успела сказать:

— Ой, девочки, я сосисками отравилась...

С долгим, замирающим звоном из нее ушла жизнь. Очнулась она на скамейке, вся облитая водой. Больше не было ни больно, ни тошно. Над ней склонялись испуганные лица. Она засмеялась и села. Зинаида Николаевна настаивала, чтобы Райка полежала. Райка возмутилась.

— Чего это я буду лежать? Мне совсем хорошо.

Девочки сказали:

— Ты хоть для вида полежи. Мы ведь «скорую» вызвали.

— Обрадовались,— рассердилась Райка,— а мне теперь глазами хлопать.

В комнату заглянул выпускающий.

— Поправилась?

— Да ну, Пал Васильич, и что это столько шуму наделали?

— Да, а хлопнулась как,— загалдели девчонки,— побелела вся.

Никто не пошел в буфет, стали закусывать в цехе. И Райке захотелось есть. Зинаида Николаевна объяснила:

— Первый признак, что у тебя все прошло. Раз организм требует питания, значит, он здоров.

Но есть Рая побоялась. Только чаю выпила. Ее беспокоило, что вызвали «скорую». Хоть бы не приехала!

Но «скорая» явилась. Выпускающий ввел в цех докторшу и двух ее помощников. Вид у Павла Васильевича был смущенный, он оправдывался.

— Да вроде уже все прошло...

Девушки вокруг виновато улыбались, а в двери заглядывали курьеры, раклиты, ученики и смеялись.

Докторша сердито спросила:

— Кто же все-таки у вас тут больной?

Рая вся покраснела и встала, как на уроке перед учителем.

Парень с остреньким лицом поставил на скамейку большой ящик. Другой, более солидный, строго смотрел на девчат.

— Где здесь можно вымыть руки, а то мы прямо с вызова,— сказала докторша. Она сняла черное пальто и беретик. Зинаида Николаевна сказала ей вслед:

— Вот это я понимаю, интересная женщина. И лицо и фигура.

Рае понравилось, что у докторши черные глаза и светлые волосы. Красивая, хотя не очень молодая. Вокруг глаз морщинки. Это Райка разглядела, когда докторша села рядом и стала ее расспрашивать. А что было отвечать? Ну, съела вчерашнюю сосиску и болел живот. Да, и тошнило тоже. Ногти у докторши без маникюра и короткие. От халата пахнет не то духами, не то лекарством.

Было очень неловко раздеваться при молодых людях. Докторша сдвинула брови и сказала: «Побыстрее». Она за все время ни разу не улыбнулась, но Райка была рада и тому, что она не рассердилась за напрасное беспокойство.

Холодные пальцы помяли Райкин живот.

— Больно? А здесь?

— Нет,— неуверенно ответила Рая.

По правде, было больно, но терпимо. И стыдно лежать с голым животом. Поэтому Райка хотела, чтоб весь этот «цирк» поскорей кончился.

Ей дали выпить лекарства из маленькой баночки, оставили несколько

порошков. Докторша надела свой беретик, который ей совсем не шел. Она сказала: «Можете еще немного полежать, а потом идите домой».

Худенький паренек потащил ящик обратно. Докторша ушла, постукивая каблучками.

Больная вскочила с кушетки, застегнула юбку, смахнула со стола порошки.

До линотипа Райка не дошла. Ей стало так больно, что все перевернулось в глазах, в голове снова зазвенело, и она упала в тихую черную яму.

## 12

«Почему я вернулась?» — спрашивала себя потом Ксения и облегченно переводила дыхание. Если бы она не вернулась или даже вернулась с дороги, через полчаса, эта беленькая девочка умерла бы.

Как часто говорила Евгения Михайловна: «Не торопитесь доверять внешним признакам. Человек жалуется, что у него болит голова, а вы обязаны тщательно выслушать и легкие и сердце»...

Простые, знакомые истины!

Как же можно было поддаться готовой схеме: вчерашняя сосиска, тошнота...

Начальник цеха, провожая, сокрушался: «Вы уж простите за беспокойство. Напугались мы. Женщина молодая, мало ли...»

— Женщина? — удивленно спросил Сема.— А я думал — девчонка!

Начальник цеха скользнул по Семе взглядом и ничего не ответил.

А до Ксении все слова пробивались сквозь толщу ее отчаяния и душевной усталости.

«Зачем так рано выходить замуж?» — подумала она, вспомнив совсем детское лицо и нежное, худенькое тело.

И вдруг все, что говорила эта девочка, ее подружки, мгновенно всплыло в памяти и обернулось грозными признаками.

«Сомлела», «как ножом резануло», «женщина молодая, мало ли...»

Надо было задать этой девочке еще два-три вопроса. Тогда можно уехать спокойно. Но неужели опять возвращаться в цех: «Извините, я еще забыла спросить». Несolidно. Никто не поступил бы так. Например, Алексей Андреевич... Но Алексей Андреевич, вероятно, ничего не упустил бы. Он опытный врач.

Володя уже открывал тяжелую дверь. Ксения решила ехать. Все обойдется. И тут же неестественно беспечным голосом сказала:

— Подождите минуточку. Я, кажется, что-то забыла...

Увидев толпившихся в цехе людей, она все поняла раньше, чем увидела побелевшее, заострившееся лицо, на котором единственно живые блестели под обескровленными губами мелкие зубы.

Лаврентьев словно летел над землей. Ни толчка, ни легонькой встряски. Недаром он этим славился и гордился. Больную везли в самую ближнюю больницу, не позвонив, не согласовав. Не было времени.

Здание стояло в глубине парка. В темноте шумели оголенные деревья. Лаврентьев сказал: «Тут будут выбоины, лучше на руках».

Раиса очнулась еще в машине:

— Куда это вы меня везете?

Ксения сказала:

— Ничего, ничего. Придется немного потерпеть, и все будет хорошо.

— Я отравилась?

— Нет. Вам сделают операцию.

— Операцию? Это же долго... А у меня белье замочено.

Она была легкая, как ребенок, но за носилки взялись Лаврентьев

с Володей. Сема побежал вперед, чтобы открыли двери. Сонная санитарка пошла за дежурным врачом. В приемном покое было тихо. Раиса зажмурилась от яркого света. Она лежала, ни о чем не спрашивая, прислушиваясь к себе. Защитные силы организма уже притупили остроту чувств. У нее не было мыслей, только задача — удержаться еще немного, не шевелиться, не двигаться. Это было легче, когда рядом сидела докторша. Ее руки сжимали Райкино запястье, и казалось, что докторша поднимает ее на поверхность.

А сейчас докторша куда-то ушла, и надо было удерживаться одной. Райка думала только об этом.

— Я вам удивляюсь, — сказала Ксении женщина в белом халате. — Наша больница сегодня не дежурная, хирурга нет, операционная не готова. Я отказываюсь принять больного.

Была правда в ее словах. Но дежурная больница находилась далеко. И рассуждать не было времени.

— Это экстренный случай. Вызовите хирурга.

Пожав плечами, женщина в халате прошла по коридору. Стоя над носилками, она громко спросила:

— Ну что с вами, милая?

Райка напряженно смотрела на пятно на стене. Оно помогало не уплывать в темноту. Говорить ей было трудно.

— Не знаю. Тошно. В глазах черно...

— Что, милая? — переспросила женщина. — А пункцию вам сделали? Нет? — Она обернулась к Ксении.

— Так что же вы, так сразу и оперировать! Быть может, и показаний нет. Вы ведь не специалист. Больную оставьте. Утром мы покажем ее гинекологу. Лично я оснований для спешки не вижу.

Ксения резко сказала:

— Я настаиваю. Вызовите хирурга.

В приемной седая сестра долго держала трубку и предостерегающе поднимала руку, когда Ксения пыталась заговорить с ней.

— Аркадий Семенович, — наконец сказала она. — Простите, что разбудила. Тут у нас «скорая» женщину доставила... Я сейчас передам.

Ксения выхватила трубку.

Сонный, низкий голос говорил:

— Ну, ну?

Ксения очень торопилась. В трубке зевнули.

— К чему так много слов? Скажите Марфе Игнатьевне... Впрочем, дайте ее мне.

Марфа Игнатьевна послушала и прикрыла рукой мембрану.

— Вы не можете послать машину за доктором? Будет быстрее.

— Слетаем? — готовно встрепенулся Сема.

Володя вопросительно посмотрел на Ксению. Она кивнула.

В маленькой операционной Раю сразу положили на стол. Марфа Игнатьевна сказала:

— И пункцию делать не надо бы. Вид уж больно характерный. А все ж таки полагается, значит, сделаем.

Шприц, введенный в брюшную полость, сразу наполнился кровью. Рая застонала.

— Ты держись, — сказала Марфа Игнатьевна. — Ты держись и одно помни. Что мы тут будем делать, все единственно только для твоего здоровья.

Она двигалась неторопливо и в такт движениям бормотала:

— Руки, йод, халат, салфетки. Спирт. А где пенициллин?

Ксении казалось, что старуха говорит стихами. Марфа Игнатьевна строго ей приказывала:

— Завяжите мне сзади тесемки, — и сердилась: — Вы меня косну-

лись. Коснулись или нет? — Потом опять сосредоточенно бормотала: — Здесь зажимы, здесь ланцеты, кетгут, шелк, перчатки, иглы...

Рая смотрела тоскливо, испуганно. Ксения отвела от ее лба прядки светлых волос, повязала ей голову куском марли.

— Опять обмираю,— прошептала Рая.— Скорей бы... Будет больно?  
— Ты ничего не почувствуешь. Заснешь, и все.

Рая чуть кивнула. На ее лице резко обозначились незаметные раньше русые брови. Подглазницы почернели. Нос заострился. Белая, как снегурка, она таяла на глазах.

Движение и голоса в коридоре оповестили о прибытии доктора. Невысокий, с растрепанными, серыми от седины волосами, он вбежал в операционную. За ним, шурша халатом, вошла дежурная.

— Вот, Аркадий Семенович, побеспокоили вас...

В голосе ее была неопределенность. Побеспокоили, а может быть, зря? Но побеспокоила не она...

Врач остановился у стола, посмотрел на Раису, сказал: «М-да» и повернулся к Марфе Игнатьевне.

Неприкосновенная в стерильном халате, с поднятыми и тоже прикрытыми стерильными тряпочками руками, Марфа Игнатьевна движением головы указала на шприц, наполненный кровью.

Он опять сказал: «М-да» и будто стяхнул с себя что-то.

— Мыться, побыстрее. Кровь готовьте. Какая группа? Вызовите из второго корпуса Васильеву. Она будет мне помогать.

Женщина в халате, вытянув голову, ловила каждое слово.

— Понимаете, Аркадий Семенович, очень не хотелось мне вас беспокоить, очень. Но случай такой...

— Васильеву вызовите,— повторил доктор.— Не сами,— крикнул он ей, заторопившейся выполнить поручение.— Пошлите кого-нибудь. Ваше дело — наркоз и давление.

Ксения должна была уйти. Теперь все делается без нее. Она здесь даже лишняя.

Доктор мыл щеткой руки. Он был на кого-то очень похож, особенно когда вытягивал дудочкой губы, и Ксения окликнула его раньше, чем узнала.

— Аркаша...

Не переставая тереть ногти, он вскинул глаза.

— Ксюша! Откуда ты взялась?

Тут же исчезли все перемены, нанесенные временем. Как она не узнала сразу Аркашу Тальберга, своего однокурсника!

Начался быстрый разговор в минуты, пока мылись руки, пока Марфа Игнатьевна с великими предосторожностями облачала доктора в халат, пока натягивались резиновые перчатки.

— Ты же был педиатр...

— По молодости. Все меняется. А что Димка?

— Вадим совсем оставил медицину. Он занялся скульптурой.

— Вот здорово!

— Ну, не знаю еще...

— Нет, раз смог оставить,— значит, все правильно. Я вот, например, не оставлю. Ругаюсь, но не оставлю.

— Еще бы вы оставили,— сказала женщина в халате.— Разве можно вам оставить? Вы же людей обездолите. Видели бы вы, как Аркадий Семенович швы накладывает! Изумительно! Просто вышивает!

Она обращалась к Ксении. Она улыбалась ей. Мало ли что было, теперь все уладилось, все надо забыть и вести себя так, будто ничего не произошло.

Но мира с ней Ксения принять не могла.

— А вот вам просто необходимо переквалифицироваться. Вы лечащим врачом быть не можете.

Марфа Игнатьевна завязывала на хирурге маску и на секунду замерла. Аркадий Семенович скосил на Ксению удивленные глаза.

Женщина растерялась. Вот когда Ксения увидела ее взволнованной, даже испуганной.

— Почему вы меня так обижаете при Аркадии Семеновиче... При сотрудниках...

Ксения была непримирима.

— Как врач вы приносите только вред.

— Наркоз,— распорядился доктор Тальберг.

— Завтра я тебе позвоню,— сказала ему Ксения.— Аркадий, ты знаешь, девочка такая молодая, только начинает жить. Я тебя очень прошу.

Он был уже в белом клеенчатом фартуке, готовый приступить к своему трудному, великому делу.

— Ты, кажется, поглупела на своей «скорой», Ксения. Кто бы она ни была, я не смогу сделать больше того, что сделаю.

В приемном покое высокий парень ходил взад-вперед.

Он кинулся к Ксении.

— Зверева Раиса, как она?

Ощипанный цыпленок. Долговязый, нескладный...

— Это я виноват, да?

«Не больше, чем все мужчины»,—чуть не ответила Ксения. И хорошо, что удержалась. Он плакал.

— Никто не виноват. Так бывает. Случается несчастье, а винить некого.

— Это из-за ребенка?

— На этот раз ребенка не будет. А вообще все обойдется.

— Не надо ребенка. Лишь бы она. Это очень опасно?

— Как всякая операция...

Так Ксения его и оставила. Теперь до утра он будет страдающими глазами ловить проходящих мимо сестер, врачей, санитарок. Будет возмущаться тем, что они могут спокойно разговаривать и даже смеяться.

Сейчас он любит. Он еще не привык к тому, что она с ним рядом всегда, каждый день и каждую ночь. Это кажется ему счастьем. А потом придет время, когда она станет слишком знакомой, обыденной.

Так бывает часто, очень часто, и никто не знает, как это предотвратить. А может быть, все-таки что-нибудь можно сделать?

## 13

Ночью Москва просторная. Неправдоподобно тихо возле станций метро, и выглядят они совсем иначе, чем днем. Книжные и цветочные киоски стоят с закрытыми глазами. Все спят.

Заснули в машине «скорой помощи» и Сема и Володя. Лаврентьев ввел машину в гараж. Они и не шелохнулись. Но кто-то открыл дверцу, помогая Ксении выйти.

— Вадим...

— Явился по вызову.

Он стоял в старенькой бобриковой куртке и шапке-ушанке.

— Что же ты здесь, на холоде?

— Понимаешь, я немного посидел там. Ваша прародительница толковала мне что-то маловразумительное. Но я решил дожждаться. Что с тобой?

— Вадим...

— Не надо в комнату, Ксюшенька! Понимаешь, я все-таки для них вроде отщепенца-изменника. Старуха спрашивает: «Вы теперь, говорят, из глины лепите? И получается у вас?» Ну, что ей отвечать! А этот ваш Юрочка, оказывается, в юности видел «умирающего Сократа». И дотеперь меня этим Сократом.

— Не дежурит сегодня Юрочка. Это другой...

— Ну, ты скажешь! Будто я Юрочку не знаю. При мне явился с Кирой заменить на ночь старуху. У нее завтра юбилей, они ее спать уложили, чтобы цвет лица на утро сохранился. Кира Сергеевна распорядилась. Что у нее с Самойловым — роман?

— У кокетливой красавицы Киры с Юрочкой? Чепуха.

— Ну, бог с ними. А еще ваш новый доктор все смотрел мимо меня. Как-то мне кисло стало. Ты нездорова? Почему ты молчишь?

Он взял Ксению за руку.

— Так...

— Ты устала. Я знаю. Ксюшенька... ну буквально на днях решится вопрос о женщине с книгой. Если неудача — все брошу! В поликлинике МГУ есть вакантные места, во второй больнице тоже. Пойду на полторы ставки. Ксюша, не плачь...

Никого, кроме них, не было на больничном дворе. Вадим подвел жену к фонарю и обеими руками, почти силой, приподнял ее лицо.

— Ты думаешь, я эгоист? Вот прошло уже два года, и все становится не легче, а труднее. Только теперь я понял, каким был самоуверенным. И все же я ощущаю, ну, понимаешь, ощущаю, что для меня это возможно, нужно! А все-таки пока ты в старом пальто...

— Не надо...

— Нет, я сам себе говорю. Уже два года в старом пальто, а я хожу по городу и выбираю тебе все самое красивое. Вот ты позвонила, и я обрадовался. По дороге шел и радовался: «Позвала, значит, я ей нужен!» А то мне уже стало казаться, что я тебе больше не нужен. Ты не хочешь разговаривать со мной. Ты даже не смеешься, как раньше.

Она засмеялась. Вадим вытер ей лицо своим платком. Ксения спросила:

— Он чистый?

Вадим прижал к себе ее руки.

— Наверное, скоро опять подойдет твоя очередь? «Кислый доктор» уехал. А ты не отдохнула.

— Ничего.

— Шурка принес пятерку по алгебре. Способный парень — у нас растет. Мы друг другу можем об этом сказать, правда? Он слопал четыре котлеты.

— Без картошки...

— И киселя не захотел. Что с ним сделаешь?

— У вас всегда так.

— Без тебя так. Без тебя плохо. Ксюша, мне почему-то казалось, что у меня со скульптурой наладится быстрее.

— Не надо об этом: Я тебя прошу, об этом не надо.

— Но я не могу о другом. Это сейчас моя жизнь, моя боль.

Ксения знала, какие слова ему нужны. Очень простые, прямые. Она их часто говорила ему: — «Я верю в тебя, мы решили правильно. Я ни о чем не жалею. У тебя талант. Надо быть стойкими. Я верю в тебя. Я верю в тебя. Я верю...»

Для него это было как горячее для машины. Но сейчас она смогла сказать через силу:

— Ни в чем не упрекай себя.

Вадим обнял ее быстро, уверенно. Она стремительно вырвалась. Почти инстинктивно. Он понял это, как иногда понимают люди, не умом,

а всем существом. И оскорбился. Они замолчали. Вадим сунул руки в карманы.

— Ну ладно. Ты что-то хотела мне сказать?

Лицо его стало отчужденным. Обиженный, одинокий, он сейчас пойдет ночью по пустому холодному городу. Будет идти час, два. Единственно родной ее человек, с которым прожита вся жизнь. Родных меньше жалеют, чем чужих.

— Ты меня для чего-то звала?

Зная, что сейчас, в эту минуту, ничего нельзя поправить, зная, что нет у нее душевных сил и теплоты, которые делают убедительными каждое движение, Ксения провела рукой по щеке мужа.

Он не принял ее ласки.

— Так, значит, тебе ничего не нужно?

И ушел. Навстречу ему предостерегающе мигнули автомобильные фары. Большая машина прокатилась почти бесшумно. Вадим подумал: «Это, наверное, приехал, «кислый доктор». Может быть, она отдохнет». Потом сообразил — у них же очередь. С какой стати кто-то поедет вместо Ксении. Это он, Вадим, поехал бы вместо нее и ездил бы всю ночь, чтоб она спала, свернувшись «бубликом», и проснулась утром веселая, растрепанная, с хорошим цветом лица.

Наверное, он виноват. Лез с нежностями к усталой, иззябшей женщине. Он отнял и те несколько минут, за которые она могла бы согреться. Он слишком много говорил о себе. И даже не узнал толком, зачем она его позвала.

Улицы лежали перед ним просторные, как поля, и ничто не мешало ему идти и думать. Он только не хотел вспоминать о том, как она вырвалась от него.

Но руки его помнили. Они словно что-то утерjali. Сжатые кулаки лежали в кармане куртки как чужие, как ненужные.

## 14

Шло самое глухое и трудное время ночи — между тремя и пятью часами. Спали свободные фельдшера и санитары. На диване, под ворсистым одеялом всхрапывала Евгения Михайловна. За столом друг против друга сидели Кира Сергеевна и Юрочка. Оба румяные, будто только что из бани, оба в свежих хрустящих халатах. Чисто выбритый Юрочка что-то говорил басом, прорывающимся из шепота, а Кира бесшумно хохотала, прикрывая ладошкой сиреневый рот.

Она тотчас потащила Ксению смотреть уже законченную стенгазету. Это было настоящее произведение искусства. «Коллективное», — скромно сказала Кира. Портрет Евгении Михайловны обрамляли яркие цветы. Под портретом шли стихи, каллиграфически от руки написанные. Статьи, напечатанные на машинке, тоже были обведены гирляндой крупных синих васильков и маков. Центральный опус, озаглавленный «Очерк», начинался так: «Мы ехали на машине по роскошному, широкому городскому проспекту. Солнце рассыпало золотые лучи над столицей нашей родины, в которой до Великой Октябрьской социалистической революции был один пункт «скорой помощи».

И дальше шли внушительные колонки цифр, нагляднейшим образом демонстрирующие рост здравоохранения в Москве.

— Ничего, правда? — любясь газетой, спросила Кира.

— Замечательно! — похвалила Ксения. — А что это у вас, Кирочка, так халат топорщится?

Кира обрадовалась.

— Заметно? Это я вечернее платье надела. Показать?

Она вмиг скинула халат, плавно повернулась на месте, прошла два шажка вперед, покрутила юбкой, подражая девушкам, демонстрирующим по телевидению последние моды.

Было странно видеть женщину с искусно растрепанной головкой, оголенными плечами и пышными юбками в тесном помещении, между газовой плитой и умывальной раковиной.

— Я это платье четвертый раз надеваю. В первый раз на вечер молодых специалистов в Кремле, потом на Новый год. Еще в Большой театр на Уланову ходила. А завтра у нас такой праздник! Пусть хоть под халатом нарядная буду. А топорщит оттого, что нижняя юбка на китовом усе.

Она подняла зеленую парчу, чтобы показать китовый ус, но тут же взвизгнула и выпрямилась. Вошел Алексей Андреевич.

— Милые дамы, не пугайтесь. Я ничего не видел и вообще так устал, что не способен ничего воспринимать.

— Жаль,— сказала Кира,— мне хотелось бы узнать ваше мнение о моем платье.

Она снова прошла, кокетливо поводя голыми плечиками. В дверь просунулся Юрочка и смотрел, восторженно подняв брови.

— Вы еще больше украшаете это платье. Вот все, что я могу сказать. Может быть, Юрочка что-нибудь добавит.

— Юрий Иванович,— поправила Кира и густо покраснела.

— Виноват, забыл,— усмехнулся доктор Колышев.— Вы счастливец, Юрий Иванович, проявляется такая забота о вашем авторитете.

— А что, в самом деле,— Кира вздернула стриженую головку.— Все кругом — Юрочка, Юрочка. С какой стати? Вот вас ведь никто не зовет по имени, а выне намного старше.

— Ничего не могу возразить. Вы правы. Меня никто по имени не зовет. Но авторитет — дело тонкое, Кира Сергеевна. Он, как белый гриб. Никому не удастся вырастить его искусственно.

— Так, значит, вы считаете, что Юрочка...

— Юрий Иванович, с вашего разрешения,— с улыбкой поправил ее Алексей Андреевич, но тут вмешался сам доктор Самойлов.

— Кому Юрий Иванович, кому Юрочка,— он взял Киру под локоток.— А нам уже прозвонили звоночки.

Они заторопились уезжать. Ксения пошла в комнату врачей. За ней, не отставая ни на шаг, шел Алексей Андреевич.

— Вы меня вынуждаете бороться с пустотой. Я ничего не понимаю, а непонятное всегда страшно.

Надо было сказать ему: я думала, что из моей жизни ушла радость любви. Мне стало жаль себя. Я поверила всем словам, потому что давно таких слов не слышала. Мне показалось, что я вас полюбила. И решила, что это очень серьезно и необходимо нам обоим.

Он спросит — что же произошло?

Были сказаны две фразы — их не мог сказать человек, которого я полюбила. Был разговор отца с сыном. Его не мог вести человек, которого я полюбила. Был мальчик...

И все обернулось ощущением непоправимости сделанного, отчаянием. И обидой. Не на кого-нибудь, а на себя, только на себя.

Но она молчала. Говорил Алексей Андреевич.

— Вы пришли ко мне с такой очаровательной легкостью, с такой щедрой легкостью, о которой можно только мечтать. Без вопроса о том, что будет завтра. Все было просто, естественно и хорошо. А потом какой-то надрыв, достоевщина. К чему?

Она молчала.

— В мире идет великая переоценка ценностей. В век тарантасов и самоваров формула: «Я другому отдана и буду век ему верна» — была

эталонном женской добродетели. Но ведь в эпоху завоевания атома человеческая сущность не могла не измениться, Ксаночка. Сейчас иные критерии...

— Убедительно,— сказала она.— Значит, совесть, честь, долг — все меняется? И все к худшему?

Алексей Андреевич прикрыл глаза рукой.

— Еще только сегодня утром мне казалось, что кончилось мое одиночество. А мне ведь тоже нужно человеческое тепло...

— У вас есть сын.

— Меня казнят за это? Там так мало моего сердца...

Этим он хотел успокоить Ксению!

— Почему вы его так бережете, свое сердце? — она сказала это очень громко. Проснувшись Евгения Михайловна. Привыкшая подкреплять себя коротким сном, она засыпала и просыпалась внезапно и легко.

— Как же сердце не беречь? Его беречь надо. Оно — работник. А мы на него все наваливаем — то лишнюю рюмочку, то лишнюю папиросу.

— То лишнюю любовь,— подсказала Ксения.

— Ну, не знаю,— Евгения Михайловна сложила одеяло и взбила маленькую подушку,— любовью нынче всякое называют. Промелькнет меж людей мимолетная симпатия, и уже засчитывается за любовь.

В окошко просунулась лохматая Володина голова.

— Ксения Петровна, девушка обварилась. Стерильного материала надо взять.

— На производстве?

— Да нет, дома.

— Ночью?

— Купалась, не иначе,— уверенно сказала Евгения Михайловна.— Девушки всегда по ночам купаются, особенно в коммунальных квартирах. Запрутся в ванной на три часа... Вы ее сразу в стерильные простыни заверните.

Она сама пробежала к чуланчику, где хранился стерильный материал.

Алексей Андреевич перехватил у Ксении из рук шинель.

— Скажите мне что-нибудь. Я не отпущу вас так.

— Алексей Андреевич, давайте договоримся. Мы не будем продолжать никаких отношений. Нам придется работать вместе, так вот раз навсегда. Ничего не было. Договоримся.

— Вы так хотите?

— Да.

— Как это страшно. Как это жестоко.

Он вдруг порывисто протянул ей шинель.

— Ксаночка, пожалейте меня. Нам надо поговорить. После дежурства. Всего на полчаса. Проявите женскую великодушную жалость...

И чтоб не слушать его, чтоб уйти от него скорее, Ксения сказала:

— Хорошо.

## 15

Город будто кончился. Мимо плыли темные бревенчатые избы. Странно было видеть над ними электрические фонари. Где-то кричал петух. А потом опять поехали по широкой улице. Темным ночным блеском заблестели огромные витрины, мягко лег под колеса асфальт.

Тянется Москва вширь и ввысь. Думаешь, уже окраина, а за ней вырос новый район. Думаешь, на край света приехал, а она вот, опять столица... Дом оказался огромный, новый, сложенный из белых плиток. Подъездов в нем было много, но адрес дали точный: третий подъезд, сто третья квартира. Володя ворчал:

— Хоть бы догадались встретить, лифтершу бы разбудили.

— Да ладно тебе,— сказал Сема,— не дойдешь, что ли?

— А ты можешь разок и помолчать, если постарше тебя люди разговаривают.

В предрассветные часы тело будто тяжелеет, и вдвое труднее подниматься по нескончаемым лестничным пролетам. Ребята вяло переругивались. Ксения перевела дух и прикрикнула на них.

Тянулись этажи — шестой, седьмой, восьмой. Теплые, тихие лестничные площадки, двери с почтовыми ящиками. Снова лестницы, и нельзя даже передохнуть.

— Домище,— не то ворчал, не то восхищался Володя.— Неплохо бы здесь квартиру получить...

— Квартирку, квартирку, взял бы ящик, хоть на пару этажей.

— Мне не положено ящик таскать. Знаешь формулу — каждому по способностям.

— Товарищ называется...

— Дурак. От тяжести руки дрожат. Ты, что ли, за меня укол сделаешь?

— А то не смогу. Важное дело.

— И взялся бы?

— Подумаешь...

— Удивляюсь я, Семен, твоему нахальству.

— Прекратите,— снова рассердилась Ксения.

Сердце у нее стучало и дыхание прерывалось. Девятый этаж, пролет десятого. Все тихо. Тихо и за дверью сто третьей квартиры. У звонка низкий басовитый звук. И снова тишина.

— Может быть, они ее увезли, не дождались? — высказал предположение Володя.

Сема не отнимал пальца от кнопки звонка. Гудело непрерывно. Но прошло не меньше минуты, пока кто-то зашевелился у двери.

— Кого?

— «Скорую» вызывали?

Открыл заспанный парень в одних трусах.

— Обварилась тут у вас девушка?

— Никого мы не вызывали. Колька! — крикнул он в коридор.— Тут девушку какую-то спрашивают.

— А у нас девушек нет.

Подошел еще парень в таком же легком ночном туалете.

— Вы бросьте дурочку валять,— сказал Володя.— Вызывали «скорую»?

— Никого мы не вызывали.

— Это дом восемнадцатый, квартира сто три?

— Ну да. Только у нас в квартире и девушки-то никакой нет.

Ксении показалось, что у ребят смущенные лица. Но ведь это может только казаться.

— Володя, позвоните в центр, уточните.

— А телефонов нет во всем доме. Еще не провели. Автомат есть внизу за углом, но он, кажется, не работает. Испорчен он, Колька? Колька подтвердил:

— Испорчен.

— А вы не слышали, в доме никаких происшествий не было?

— Ты не слышал, Колька? И я вроде не слышал.

— Может, в соседней квартире?

— Да нет, если вы говорите, что девушка обварилась, так на нашем этаже девушек вообще нет. Мы хотя недавно вселились, но это дело уточнили. Так, Колька?

Надо было немедленно звонить в центр. Володя с Семой бежали вперед, перепрыгивая через несколько ступенек.

— Эти самые жлобы и вызвали. Не видишь, что ли? Глаза отводят. И вином разит.

— Может, и так.

— Я тебе точно говорю. Выпили и решили побаловаться. Только жаль — не докажешь.

Ксения старалась не считать этажи. И когда думала, что уже почти сошла вниз, оказалось, что спустилась только на пятый этаж. Душная тишина лестничной клетки обессиливала. Очень хотелось спать.

Но если произошла ошибка в адресе, значит, их где-то ждут, где-то страшно мучается человек. Может быть, совсем близко.

Володя побежал за угол искать телефон. Сема поставил ящик у машины.

— Может, подъездом ошиблись? Я сбегаю в другие.

— Пошалил кто-то,— сказал Лаврентьев, выглядывая из машины.— У дураков это запросто.

— Ошибка, может быть.

Лаврентьев хмыкнул:

— Ошибался один такой. Вы еще тогда у нас не работали. Каждый день вызов и вызов. И все ложные. Из автомата, сукин сын, звонил. А все же, рано ли поздно, застукали. На суде, пакость, плакал: нельзя, говорит, за легкомысленный поступок три года человеку давать. Я свидетелем был.

Легкомысленный поступок, безоглядный поступок, необдуманный поступок... За все приходится отвечать рано или поздно. Вдруг приходит другое зрение, другой слух. «А когда мы с вами повторим наш волшебный вечер?» Слова, как удары, легли на сердце. Почему? А если бы их когда-нибудь сказал Вадим? Ничего. Значит, не в словах дело? Просил же Алексей Андреевич: «Пожалейте меня». Он на все был готов, только ей от него ничего не нужно. А от Вадима? Как же пойдет жизнь, если ничего не нужно?

Прибежал Володя. Недалеко отделение банка. Там есть автомат, но охранник не пускает.

Охранник куражился.

— Что мне форма? Нынче каждый может форму надеть. Или, к примеру, белый халат. А я имею право не пустить. Имею? Имею.

Володя закипел.

— Ты понимаешь, мы «скорая помощь». Открой сейчас же.

— Ну и что? Что мне «скорая помощь»? Или начальство оно мне, или что?

Он загораживал дверь, за которой находился телефон.

Ксения видела, как наслаждается своей властью охранник. Она понимала, что ни наскоком, ни силой не заставишь его открыть дверь. И как ни противно ей было в эту минуту его узкогубое, тупое лицо, она сказала искательным голосом:

— Я вас очень прошу, товарищ, сделайте нам такое большое одолжение. Вы, конечно, можете нас не пустить, но мы очень просим, разрешите позвонить.

Охранник наморщил лоб и задумался.

— Войдите в наше положение, уважьте просьбу. Мы будем благодарны.

Откуда у нее брались такие слова?

— Ладно,— смилостивился страж,— вы войдите, только без парня.

Володя сделал свирепое лицо и вопросительно поглядел на Ксению. Она сердито мотнула головой, и Володя протянул ей пятнадцать копеек и листок вызова.

В центре проверили адрес. Все было правильно. Номер дома, подъезда, квартиры. «Видимо, ложный вызов. Возвращайтесь обратно».

Ксения положила трубку. Охранник стоял рядом, ожидая изъявления благодарности. У дверей она сказала ему строго и внушительно: — Вы не имели никакого права не допускать нас к телефону. © вашем недостойном поведении завтра будет доложено по начальству. Володя, запишите номер отделения.

Они очень торопились и лишили себя удовольствия посмотреть, какое впечатление произвели эти слова.

Володя спросил:

— А вы вправду завтра доложите по начальству, Ксения Петровна?

— Обязательно. Людей надо лечить.

Она оговорила: «Учить», — поправил Володя.

У машины стоял человек в полосатых пижамных брюках. Накинутое на плечи пальто поминутно сползало. Ксения прибавила шагу. Это был парень из сто третьей квартиры.

— Я вспомнил, тут еще есть дом, тоже восемнадцатый номер. За арку надо пройти.

— А ты нам не морочишь голову? — сурово спросил Володя.

— Ну, зачем уж так, — огорчился парень. — Правда, есть. Я вам покажу.

Деревянный двухэтажный дом доживал последние дни. Когда-то, красуясь резными оконными наличниками, он был самым высоким и богатым в ряду улицы подмосковной деревушки. Но уже отшумели в нем свадьбы, оплакали все похороны. Скоро рассыпятся его источенные жучком бревна, сравняют его с землей, а на месте, где он стоял, разобьют волейбольную площадку. Ушло его время.

— Это тоже восемнадцатый. Восемнадцатый «а», — заверял парень, ежесекундно поправляя сползающее пальто.

Но сто третьей квартиры в доме не было и быть не могло. И все жильцы дома спали — нигде не горел свет. Володя обошел дом, толкнулся в чьи-то сени, крикнул: «Эй, «скорую» вызывали?»

Никто не отозвался.

— Ехать надо, Ксения Петровна.

Она и сама понимала, что надо ехать. Володя твердил парню:

— Вот, как ты хочешь, а я знаю, что это ваши дела. Ну, может, не ты сам, а дружок.

— Дурак ты, — незлобиво отбивался парень. — И чего бы это я тогда пришел?

— Для отвода глаз именно и пришел.

Они подошли к машине одновременно с запыхавшимся Семей. Он успел обегать все подъезды.

— Вот попал, вот попал! Слышу, за одной дверью шумят. Я, конечно, звоню. «Скорую» вызывали? Мужчина стоит, вроде обалдевший, а какая-то тетка кричит: «Зови, кто бы ни был, пусть они нас рассудят, пусть, говорит, посторонний человек скажет, кто прав, кто виноват». Вот смех! Я — дёру...

— Может, она и была ошпаренная? — спросил Володя.

— Да нет, здоровая, в красном халате.

Чужой парень проводил их до машины.

— Вы, пожалуйста, не думайте на нас.

— Испугался, — определил Володя, когда они уже отъехали. — Испугался, что фамилию запишем и на производство сообщим.

— Часа полтора потеряли.

— Есть же подлость на свете.

— Руки таким гадам рубить, — убежденно заявил Сема, а потом, помолчав, вдруг сказал:

— А чего мы уж так сильно зажурились? Что девушки ошпаренной нет? Так разве ж лучше, если бы она сейчас лежала здесь, да мучилась,

да кричала? Лично я даже рад, что ошпаренной девушки не оказалось. А вы, Ксения Петровна?

— Глуп ты все-таки, Семен. Правда, Ксения Петровна?

Ксения не могла им ответить. Их обманули, их провели. Как это горько и обидно. Как обидно, когда ты бессилен, когда ты обманут. И почему, господи, почему она сказала «хорошо»...

Ксения Петровна плакала.

Сема и Володя смотрели прямо перед собой, боясь пошевелиться.

А парень в накинутах пальто все еще стоял на тротуаре. Теперь он все уже точно знал. Это Васька. Отпраздновали новоселье по-хорошему. Выпили пива и две поллитровки водки на пятерых. На прощанье Колька сказал: «Вот вам сейчас полтора часа до дому ехать, а мы спать завалимся». А Васька пообещал: «А мы вам такое сделаем, что вы не поспите».

И сделал. А докторша замученная. Чуть не плачет. Наверное, каждую ночь не спит. Сволочь этот Васька. На такие штуки его хватает. Морду бы ему набить сейчас!

## 16

Перебивая запахи бензина, лекарств, ворвался острый и влажный запах цветочного магазина. Корзина с кустом желто-белых хризантем высилась на столе. Цветы принесла заведующая соседней подстанцией Анастасия Федоровна. Она сидела на диване, держала Евгению Михайловну за руку и улыбалась простым, крестьянским лицом, к которому совсем не шли ни пышная чернобурая лиса, ни голубые клипсы.

— А помните, как мы на мотоциклетах по вызовам ездили? Едешь, бывало, и не знаешь, или жив останешься, или нет. Всю душу из тебя вытрясет. А то станет машина на дороге, мотор заглохнет, в пору пешей бежать. Еще хорошо, молодые были, легкие. Мне бы теперь на мотоциклетку не взгромоздиться.

Евгения Михайловна кивала.

— А первые машины помните? Ну, рыдван и рыдван. А как получила я ее, так счастливей меня человека не было.

— Лет через десять на вертолетах будем летать,— пообещал Юрочка.

Гостя замахала рукой.

— Это уж без нас, без нас. Я нынче своим транспортом довольна-предовольна. А помните, Евгения Михайловна, доктора Козлова?

— Как же доктора Козлова не помнить! Где он сейчас?

— Профессор! Что вы думаете! Я его на съезде терапевтов встретила — не узнала. Он первый подошел. Уж руку мне тряс, тряс...

Наступали спокойные часы раннего утра, когда вызовы редки, когда можно отдохнуть. Но куда деться от обращенного к тебе взгляда, от полуулыбки, которая говорит: «Мы двое что-то знаем, мы — сообщники, мы вместе». Ксения обрадовалась, когда Кира вызвала ее в коридор.

— Все-таки как вы думаете, удобно будет снять халат? Хотя бы в самое время чествования? Нет, боюсь, слишком открыто.

— Да, конечно,— невпопад отвечала Ксения. Она присела на табурет у газовой плиты, да так и осталась сидеть, когда Кира снова убежала в комнату. Кира жила юной, беззаботной жизнью. Ксения ей завидовала. Она завидовала и Евгении Михайловне, ее одинокой независимости, ее пустой чистой комнате. А своя жизнь представлялась тяжелой и безрадостной.

В соседней комнате, отдав дань воспоминаниям, Настя, как запросто называли заведующую соседней подстанцией, спорила с Евгенией Михайловной.

— Ну, как же это вы не признаете установочного поведения? Ведь подумайте только, приезжаешь на вызов, лежит на травке старушка, голова на подушечке, это вы заметьте, подушечку заранее приготовила, рядом узелок припасен. А посмотришь — ничего особенного. Ну, старческий склероз, ревматизм, артрит. Могу я такого хроника в больницу везти? Да они меня шуганут и правы будут.

Евгения Михайловна отстаивала свое.

— А куда ж ее девать? Больницы вообще хроников не любят, это что и говорить. Да ведь о человеке подумать надо. Я давно предлагала специальные отделения в больницах создать. Вот нам бы собраться да обоснованную статейку в газетку написать. А то легче всего определить «установочное поведение» да отвезти человека домой. А будет ему дома покой, уход?

— О, какая широкая программа! У кого же это в наши дни дома покой, уход, уют? — сказал Алексей Андреевич.

— Отчего же? Если я вдова, а вы, скажем, не пожелали семью создать, так это не значит, что у всех так. Вот Прасковья Ивановна каких дельных ребят вырастила, у Евсева дружная семья, у Ксении Петровны. Да я много могу назвать.

— Н-да. Все это очень относительно. Супруг Прасковьи Ивановны, между нами говоря, выпивает, чем отнюдь... Ну, умолчим! А у Ксении Петровны муж вообразил себя современным Гогеном и взвалил все заботы на плечи женщины.

«Какой Гоген? — подумала Ксения. — Как он может говорить о Вадиме? Неужели он не понимает, что есть вещи, о которых он не должен, не смеет говорить...»

Ей захотелось сейчас же сказать Алексею Андреевичу что-нибудь резкое... «Мелкая душа», — сказала бы она ему.

Но в комнату врачей уже трудно было протолкаться. Пришли работники новой смены, на юбилей собрались свободные в этот день сотрудники, гости из больницы и с других подстанций.

Фельдшер Евсеев пробрался к Ксении и зашептал:

— Приехали. Вы пойдите встретьте, а я предупрежу.

— Кто приехал?

Евсеев посмотрел на Ксению с удивлением.

— Да все, из центра. Доктор Рубинчик, и товарищ Белохаров, и Чалов — все приехали.

В гараже раздавался громкий голос доктора Рубинчика. Холеный, с обтекаемым горбоносым лицом, он благоволил к хорошеньким женщинам. Для разрешения спорных вопросов Евгения Михайловна часто посылала в центр Ксению. Наум Львович разводил руками.

— Вы моя слабость. Разве я могу вам отказать? Но согласитесь, что ваша подстанция как-нибудь обойдется...

И уступал редко.

Окруженный шоферами, Наум Львович кричал:

— И вы хотите меня уверить, что такие асы, как вы, не могут вернуться на этом широком пространстве? Я свободно берусь сюда еще пяток машин поставить и знаю, что вы меня не подведете...

Шофера смеялись и крутили головами:

— Этот уговорит кого хочешь...

Завидев Ксению, доктор Рубинчик ловко подхватил ее под руку:

— Пойдемте, товарищи, отметим юбилей нашей Евгении Михайловны. Сорок лет это не что-нибудь...

Он, как всегда, торопился. Доктор Белохаров сунул в портфель какие-то деловые бумаги, которые они, очевидно, разбирали по дороге.

В большой комнате шли последние приготовления. Там шумно расставляли стулья, Любаша шваркала веником.

— К врачам; в комнату к врачам,— распоряжался Юрочка.

Раскланиваясь направо и налево, начальство прошло в указанном направлении.

Евгения Михайловна уже в белой прозрачной блузке — неизвестно, когда она успела нарядиться,— радостно смущенная, встречала гостей. Старейшие и наиболее уважаемые работники подстанции — врачи, фельдшера, все необычные без халатов, все с благодушно просветленными лицами, задвигались, освобождая место у стола.

— В тесноте, да не в обиде...

— Тесновато у нас, это точно.

— Ну, ну, почему же тесновато? Вполне нормально, вполне,— на всякий случай пророкотал доктор Рубинчик.

— Нормально? — переспросила Евгения Михайловна.— Вы, значит, считаете нормальным, что на подстанции нет специально оборудованной душевой? А то, что у меня врачи по очереди спят, тоже нормально?

— Голубушка,— завопила Настя,— у вас хоть фельдшерская обширная, а у меня...

— А сейчас, кажется, не о тебе речь,— рассердилась Евгения Михайловна.

Наум Львович, точно не слыша, аккуратно складывал свое пушистое зеленое кашне, а затем, склонившись, молча поцеловал у Евгении Михайловны руку, чем ее сконфузил и обескуражил.

— В торжественные дни я веду только светские разговоры, но могу сообщить вам по секрету, что в недалеком будущем каждый врач «скорой» будет иметь отдельную комнату. Ну, скажем, небольшую, с персональной койкой, телефоном и с горячей водой. Устраивает вас?

Все засмеялись.

— Шутник, шутник,— сказала Евгения Михайловна,— вечно свернет на свое. Ну, как живете, супруга как?

— А я знаю? — Наум Львович развел руками.— А я ее вижу? У нее на руках ночной санаторий, у меня круглые сутки «скорая». Вот так и живем.

— А вы, Виталий Николаевич, перестали что-то билетки в театры брать. То, бывало, нет-нет да позвоните.

Доктор Белохаров закивал.

— Постарели мы, Евгения Михайловна, отяжелели. Да и телевизор губит. Как подумаешь — ехать куда-то да в очереди на вешалку стоять, махнешь рукой, сядешь к телевизору и дремлешь в свое удовольствие.

— Нет, я хожу.

— Ну, вы у нас вечно молодая. В вас энергии непочатый край.

В дверях появился Юрочка и только приготовился что-то сказать, как Наум Львович подхватил свой портфель.

— Кажется, можно начинать?

Ксения осталась в маленькой врачебной, у окна, соединяющего обе комнаты. Ей хорошо был виден стол, украшенный еловыми ветвями и букетами поздних, осенних цветов. Евгению Михайловну усадили в кресло, и она сидела прямая, с напряженным, строгим лицом.

Шумно рассаживались шофера, сбившись в уголок, шептались и смеялись вечно неспокойные молодые санитары. Кира, конечно решившаяся показаться в своем наряде, чувствовала себя хозяйкой-распорядительницей и мелькала по комнате, как большая зеленая бабочка.

Фельдшер Евсеев в халате, наглаженном до глянца,— подходила его очередь ехать на вызов,— открыл собрание коллектива, посвященное «славному сорокалетию нашей уважаемой Евгении Михайловны».

Все захлопали. Евгения Михайловна поднялась и поклонилась на три стороны низким поясным поклоном.

У Ксении сжалось горло.

Потом заговорил доктор Рубинчик. Заговорил хорошо, плавно, только изредка заглядывая в лежащие на столе листки. Он говорил о значении «скорой помощи» в жизни столицы, о путях развития этого учреждения, о задачах каждого его работника. Евгения Михайловна согласно кивала головой, Кира сидела, отставив ножку и живописно расположив складки пышной юбки. Евсеев зорко оглядывал комнату, готовый в любую минуту одернуть нарушителя тишины.

Но прозвенели звонки, и Евсеев сорвался с места. Врач Прасковья Ивановна сокрушенно покачала головой. Очень ей не хотелось уезжать с юбилея старого друга. Она оглядела комнату, остановила взгляд на Юрочке, но зоркая Кира отрицательно мотнула головой, и Юрочка виновато опустил глаза. Переваливаясь, вышла Прасковья Ивановна.

Наум Львович повысил голос. Теперь он перечислял достоинства Евгении Михайловны — ее неутомимость, добросовестность, точность ее диагнозов. Он упомянул основоположника «скорой», знаменитого доктора Пучкова и причислил Евгению Михайловну к его лучшим последователям.

Теперь кивали все окружающие, а Евгения Михайловна строго глядела прямо перед собой, и на щеках у нее горели красные пятна.

Сколько ночей недоспала эта женщина, холодных зимних ночей, когда так тяжко выходит на заснеженные темные улицы! Не было в ее жизни ничего важнее труда, даже в молодости, полной соблазнов.

Почему же нет сейчас здесь никого из тысячной армии спасенных ею людей?

Почему не позвали сюда молодежь, будущих врачей, чтоб задумались они над своим призванием?

Как скупо мы говорим: неутомимость, добросовестность, скромность. Сейчас мы не должны быть скромны. Не только для мертвых существуют слова: героизм, подвиг.

Почему мы умеем работать самоотверженно, гордо, вдохновенно, а говорить об этом стыдимся?

Эти слова не для каждого дня, но наступает час, когда они должны прозвучать в полную силу.

И самые лучшие цветы принести бы сюда...

Сзади кто-то тихо окликнул:

— Ксаночка!..

Алексей Андреевич встал за ее стулом.

— Вы утомлены, дорогая.

«Так проявляется забота», — подумала Ксения.

Но ей не нужна была его забота, тепло его рук, мягкость его голоса. И пусть он это знает.

— Все равно, я никуда с вами не пойду, Алексей Андреевич. И не заставляйте меня больше ничего говорить. Так будет лучше.

На этот раз он не пытался ее удержать. Доктор Рубинчик кончил речь и собрал рассыпанные по столу листки. Ксения прошла через всю комнату и села на место уехавшей Прасковьи Ивановны.

Кира укоризненно покачала головой, выразительно указывая глазами на измятый и уже не очень чистый халат Ксении. Но это можно поправить. Пока выступал кто-то из гостей, Ксения расстегнула пуговицы, незаметно вытянула из рукавов руки и в минуту аплодисментов очередному оратору быстрым движением стянула с себя халат. Кира одобрительно фыркнула, зажав рот.

Поднялся шофер Бухватов. Кому же, как не ему, двадцать лет возившему Евгению Михайловну, говорить о ней!

Кряжистый, краснолицый Бухватов в разговоре не мог обойтись без крепкого словца. Евгения Михайловна поглядела на него с опаской, но успокоенно откинулась на спинку кресла, когда Бухватов вынул из

кармана тетрадь, неловко развернул ее и стал читать, далеко отставив от глаз.

— Евгению Михайловну Прохорову я знаю с тысяча девятьсот тридцать девятого года как исключительно трудоспособного и высокоинтеллектуального человека.

Читать Бухватову было трудно. Он полистал тетрадь и заявил:

— Ну и все.

— Как все? — вскинулась Евгения Михайловна.

— Остальное про вас всем известно, — мрачно сказал Бухватов.

Вмешался Наум Львович.

— То, что вы сказали, это действительно всем известно. А вы факты приведите. Всю войну вместе проездили, и что же, у вас ярких фактов нет?

— В войну это точно, фактов много было, — согласился Бухватов, — только я не по бумажке, а то мне тут Евсеев написал черт те что, и не разобрать.

У Евгении Михайловны от смеха выступили слезы. Она их вытирала снежно-белым надушенным платочком. Смеялась и Ксения. Смеялась по-настоящему. Как это могло быть?

— В войну я каждый выходной в комиссариат бегал. Просился, чтоб меня на фронт забрали, — говорил Бухватов. — Это немыслимое дело было работать. И всегда — дом горит, стены валятся, а она лезет и лезет прямо в пекло. Ну и ты — за ней. Народу тогда убавилось, шофера и за санитаров были. Факт такой: она вперед бежит, а я кричу: «Куда тебя несет...» Ну, конечно, неподобающе выразился, а потом сам пошел, потому что невозможно было не пойти, все ж таки она, как говорится, женщина. И мы что-то в тот день троих ребятшек вытащили, хотя сами шибко обгорели. Вот такой один факт действительно был. И еще таких фактов было великое множество.

Он замолчал было, присел, но снова поднялся.

— Еще хочу сказать критически. Вот плохо, что до всего ей дело есть. Я на своих участках в любой конец с завязанными глазами проеду и на светофорах не ошибусь. Это я не хвалюсь, это все знают, хоть у кого спросите. А она все, понимаешь, следит — куда завернул, почему так? Иной раз устанет, аж синяя делается, а туда же, в спор. Ты не той улицей едешь. И вот ей объясняй, что там стройка и проезд закрыт. Ну невозможно. А свое дело знает.

Помолчав, он опять что-то хотел прибавить, но махнул рукой.

— Всего не перескажешь.

После Бухватова пожелали выступить многие.

Ксения плохо слушала. Она смотрела на помолодевшее, просветленное лицо юбилярши. Приставив руку к уху, Евгения Михайловна боялась пропустить хоть слово, принадлежащее ей. Она улыбалась дрожащими губами, порой покачивала головой и взмахивала платочком, точно отстраняя от себя похвалы, которые казались ей чрезмерными.

Твердо говорил фельдшер из бригады Круглякова:

— Мне идти работать на нашу подстанцию не советовали. Предупреждали — заведующая строгая. Легкой жизни не будет. Но я к легкой жизни не стремился и советчиков не послушался. В настоящее время я об этом не жалею. Евгения Михайловна, правда, строгая, но за эту строгость мы должны быть ей только благодарны.

Ксения знала — да, она строгая, и педантичная, и даже придиричивая. Но почему в трудную минуту рядом с ней спокойнее и легче? Почему даже будто завидуешь ей, старой, одинокой?

Она снова готова была заплакать. Это выглядело бы странно и неуместно, потому что секретарь партийной организации центра доктор Чалов в эту минуту держал речь об оптимизме. Он говорил о том, что

работники «скорой помощи» повседневно видят изнанку жизни, ее темные стороны. Помимо болезней, они сталкиваются с несчастиями и горем, зачастую порожденными еще неизжитыми слабостями человеческого духа. И именно работникам «скорой» нужен запас оптимизма. Нужно мудрое умение видеть и ощущать могущество и красоту жизни, которую они призваны охранять.

Ксения проглотила слезы.

Эта красота была. Она знала. Она умела ей радоваться.

Но как вернуться сейчас к прежней жизни?

— Кто еще желает? — обвел глазами комнату Наум Львович.

Встрепанный и бледный после бессонной ночи, Сема подошел к столу. Ксения не ожидала от него такой прыти, но выступление, видимо, было подготовлено заранее. Сема быстро, по бумажке, от имени молодежи подстанции поздравил юбиляршу, пожелал ей многих лет здоровья и водрузил на стол подsunутую ему Кирой вазу.

— Отлично, молодой человек, — похвалил доктор Рубинчик. — Неплохо было бы несколько слов о том, как и чему вы учитесь у Евгении Михайловны.

Сема недоумевающе посмотрел на него.

— Лично я?

— Ну, хотя бы лично вы.

— А я не у нее учусь, — простодушно заявил Сема, — я у Ксении Петровны учусь.

— Эх, башка! — взревел Володя.

Много смеялись и несколько раз прослезились в этот утренний час работники подстанции.

Смеялись, когда вечно занятый доктор Рубинчик после речи одного из ораторов взглянул на часы и спросил: «Ну что ж, на этом закончим?» А Евгения Михайловна, испугавшись, что он уйдет, кинулась к нему с воплем: «А десятую штатную единицу нам не утвердили? Где я потом вас всех троих сразу поймаю. Решим этот вопрос сейчас».

Вокруг все возмущенно стали кричать: «А слово юбиляру?» И Наум Львович, опомнившись, предоставил слово Евгении Михайловне.

Когда она, откашлявшись, обдернув блузку, наконец собралась говорить, распахнулась дверь, и ворвалась Прасковья Ивановна.

— Хоть не совсем опоздала. Ох, родная моя, и я ведь свое слово хотела сказать. Полжизни рядом...

Но больше она ничего не сказала. Обнявшись, плакали две старые трудовые женщины, и многие прослезились, глядя на них.

Евгения Михайловна говорила коротко.

— Только лягушка или там кошка не думают о том, что будет завтра. А человек обязан думать. Вот я от души порадовалась, когда фельдшер Яновский сказал, что для него пример доктор Модесова. Значит, мое дело уже на поколение вперед ушло. Я делала его, как могла. Но в полную свою силу...

Она благодарила всех присутствующих, и Ксения видела, что этот день — один из самых счастливых в жизни Евгении Михайловны. Заведующая подстанцией услышала все, что имела право услышать. Ей не помешала ни будничность обстановки, ни то, что во время ее праздника, так же, как всегда, раздавались звонки, выбегали, работники очередной бригады, с шумом выезжали машины.

И едва кончила она свое слово и доктор Рубинчик объявил собрание закрытым, Евгения Михайловна, вцепившись в его рукав, потребовала разрешения неотложных дел подстанции.

Загрохотали отодвигаемые стулья, задвигались, заговорили люди. Кира разворачивала подарки: «Пусть все посмотрят. Мы потом так же аккуратно завернем».

Стол загромоздили белой оберточной бумагой, блестящим целлофаном, обрывками шпагата.

Юрочка потащил к стенгазете Чалова и хвалился:

— У нас и поэт собственный. Видали?

Автор стихов, пожилой фельдшер Басанин, довольно ежился и улыбался.

— Так, балуюсь, конечно, в свободное время.

Юрочка прочел стихи «с выражением». Все ждали одобрения.

— Да, знаете, что-то такое чувствуется, некоторый поэтический дар...— похвалил Чалов.

— Уж это дар,— почтительно говорили вокруг.

Ксения хотела уйти. Но пальто висело на вешалке в комнате врачей, где сейчас гости и руководство пили кофе с тортом и обсуждали дела подстанции.

— Ксенечка,— позвал ее врач Кругляков,— вы не знаете, а нам, грешным, дадут кофе? Очень вкусно пахнет.

— Всем, всем дадут кофе с пирожными и с конфетами,— пообещала вездесущая Кира,— вот только начальство уедет.

— Да пусть уж оно поскорее уедет. Я начальства боюсь.

— Начальства бояться не надо,— сказал Алексей Андреевич. Он стоял недалеко от Ксении и недобрыми глазами смотрел на нее, хотя обращался к доктору Круглякову.— И запомните, в жизни надо бояться только одного.

Он сделал паузу. Все ждали.

— Чего же? — спросил доктор Кругляков.

— Истеричной, вздорной женщины, которая сама не знает, чего хочет.

Это был не просто разговор, который можно легко поддержать. Присутствующие почувствовали неловкость, хотя ничего не понимали. Ксения смотрела на Алексея Андреевича. Будет он говорить еще? Сделает он ее ошибку, ее боль достоянием всех, кто его услышит? Нет. Он молчал. Лицо у него было усталое, и после бессонной ночи на нем ясно проступили четкие морщины, выделились припухшие подглазницы, виднее стала седина на висках.

Очень ясно представила себе Ксения, как он придет сейчас в свою бесцветно-уютную, пропахшую табаком и одеколоном комнату. Она помнила его маленькие утешения; чайник со свистком, специальный нож, чтобы резать колбасу, пюпитр для чтения лежа.

Прошла она мимо него молча. И только пожалела Алексея Андреевича за то, что не волеет она радости в его жизнь, за то, что не смогла она его полюбить, за то, что не придет она больше никогда в его комнату.

Подбежала Кира — уже в белом халатике и скромных коричневых туфлях без каблуков.

— Ксения Петровна, вас просят, гости уезжают.

## 17

Кончилось дежурство. Отшумел юбилей. Разошлись гости. Евгению Михайловну отвез домой доктор Рубинчик. О празднике напоминали только запахи цветочного магазина и кофе. Любаша вымела лепестки хризантем, обрывки цветной бумаги, прошла по комнатам тряпочкой. Стало чисто, светло и снова затикал на тумбочке маленький будильник.

За шкафом у вешалки Ксения отколола от платья смятые, потерявшие и цвет и запах гвоздики.

День стоял на встрече зимы с осенью. Холодный ветер резанул раз-

горячее лицо. С дежурства Ксения всегда бежала домой. И сейчас она заторопилась по привычке, а потом замедлила шаг. У ворот ее догнал Алексей Андреевич. Он сказал, как только поравнялся с ней:

— Простите меня, Ксения Петровна...

Она ничего не ответила, и он заторопился ей объяснить:

— Я ничего не прошу у вас. Я только хочу сказать, будьте спокойны, я не буду больше здесь работать.

— А мне это все равно, Алексей Андреевич.

Показался ее автобус. Сейчас она уедет в свою далекую от него жизнь. Навсегда.

— А может быть, мне просто не везет, как вы думаете, Ксаночка?

— Не знаю, Алексей Андреевич. Может быть.

Излишне быстро проехал автобус все остановки. И вот уже своды метро, а еще ничего не решено.

Сказать Вадиму все сейчас, когда ему и так трудно жить? «Вот что со мной случилось. Теперь будет, как ты скажешь. Решай». Это, пожалуй, легче всего. Честнее. Но что будет с гордостью Вадима, которая сейчас и без того уязвлена. Что будет с его достоинством? Не должна ли она пожалеть своего родного мужа?

Так что же, умолчать, утаить? Жить в сознании своей вины, нести ее в себе как заразу? Не скажется ли это на всей их жизни?

Или найти в себе силы все забыть, простить себе, как прощают близкому человеку, никогда не вспоминая, не укоряя.

А могла бы она простить такое Вадиму? Простить полно, щедро, не укоряя, не вспоминая?

Надо было увидеть его скорей, посмотреть в глаза, тронуть руку, на которую она опиралась почти всю свою сознательную жизнь. Может быть, тогда она поймет, что ею утеряно и что у нее еще осталось.

За стеклянной дверью телефона-автомата кому-то мечтательно улыбалась девушка. Только изредка она кидала в трубку очень короткие односложные слова и снова рассеянно помахивала длинными ресницами. «Если она через минуту не кончит, я уйду», решила Ксения, а девушка, окидывая ее невидящим взглядом, снова улыбалась в трубку.

Наконец Ксения дождалась.

— Выходи к метро, встретить меня,— сказала она.

— Ксюша? — он помолчал, потом озабоченно спросил: — Ты что, тяжелое что-нибудь несешь?

Она положила трубку. Ну что ж. Пусть не приходит. Пусть так.

Поезд метро бежал, минутку постояв на той станции, где еще вчера утром, только вчера, красивая женщина говорила с тоской: «Неужели это конец, всему конец?» Сколько времени прошло с тех пор?

Шурке надо купить бананы. Они опять появились. Вот их несет женщина в кошелке.

— Простите, где вы брали бананы?

Эскалатор уже выпрямляет под ногой ступеньки — выносит людей наверх. В светлый солнечный день.

Как она могла думать сейчас о пустяках...

Почему считается, что отношения людей создаются сами собой? Это неверно. Если бы начать все сначала, она берегла бы их любовь от небрежного слова, от резкости, от грубости. Она не забывала бы о ней ни на один день.

Поздно уже или нет?

У входа в метро ждал ее Вадим.

Ксения быстро пошла навстречу мужу.

АЛЕКСАНДР РЕШЕТОВ



Я НЕ ЛЮБЛЮ

БУМАЖНЫЕ ЦВЕТЫ

\* \* \*

Я не люблю бумажные цветы  
С их лживую красотью бездушной.  
И делать их, по-моему, не нужно,  
Где нет души, там нет и красоты.

Не стал, да и не станет знаменит  
Никто из тех, кто мастерит их честно.  
Они в столовых портят аппетит,  
Пыль собирая там, где ей не место.

Взор человека в звездном корабле  
От их красоты не потеплеет.  
Подснежник скромный больше и живет  
В других мирах расскажет о земле.

Когда умру, ты мне простишь грехи,  
Живой цветок на тихий холм положишь  
И вспоминать не будешь те стихи,  
Что на бумажные цветы похожи.

РАСКАЯНЬЕ

Оскорбительной просьба твоя  
показалась мне, мать.  
Грубым словом ответив,  
ушел я в дорогу.  
Ты, наверное, плачешь.  
Я мог бы рыдать,  
Только слезы  
душе мужика  
не помогут.  
Ну к чему повторяла,  
чтоб в городе  
водку с друзьями не пил,  
Словно я подчинился —  
безвольным рабом — алкоголю!  
Все же, старая,  
зря я обиду тебе не простил,  
Вот за гнев свой мгновенный  
плачу в одиночестве  
долгою болью.  
Как ни странно —

сейчас бы мне  
водка на миг помогла  
Перебила бы  
грусть мою  
злостью своей  
на вечер...  
Нет, не так я неволен.  
Сентябрьская ночь не светла,  
Но идут поезда  
и доступны нам  
светлые встречи.

## ДЕВУШКИ

Отвернулась девушка к стене  
И вздыхает бедная во сне.  
Поправляет изголовье мать —  
Отчего бы дочери вздыхать?  
Только — отчего и почему —  
Девушка не скажет никому...

Вот она стоит перед окном  
Перед начинающимся днем:  
Золотая, льется ранний свет  
На антоновку и на ранет;  
Свет в саду не от ее ль косы?  
Как веснушки, искорки росы.  
А на сердце сна плохого мрак  
Не развеять девушке никак.

Лучшая ровесница  
Снилась как соперница.  
И была нарядней всех,  
Рассыпала звонкий смех.  
Ленты у нее в косе,  
Туфли желтые в росе.  
Вышла с парнем не своим  
И ушла в обнимку с ним.  
Не в нее ль влюбился он?  
Ой какой сон!

Так страдала девушка. Потом  
Скрипнула калитка, — гостя в дом.  
— Здравствуйте!  
— Здравствуйте...  
— Что вам снилось?  
— Что нам снилось?  
Ваша милость.  
— Вот как?!  
— Правда. А тебе?  
— А мне снился... дым в трубе.  
— Ну и сон уж.  
— Ничего,  
Чем он хуже твоего!  
— Насмеетесь в поле, дочки...  
И пошли, —  
Гляди на них:  
В солнцем выжженных платочках,  
В сапогах резиновых.

# ДЕФИЦИТНОЕ ДАРОВАНИЕ

*(Рассказ швейцарца)*

**С**тарый швейцар художественного салона Андрей Тихонович Миронов рассказывал эту историю так:

— Как-то к нам в салон пришла девушка с картиной. Складенькая такая, в ситцевом сарафанчике. Совсем юнец. Туфельки еще студенческие не износила, и мы все обратили на нее внимание.

Личико у нее было как личико... Ничего особенного. Простое рязанское девичье лицо. Носик, судя по всему, она позаимствовала из бывшей Вятской губернии, а вся вместе будто сошла с картины «Хоровод», которую она принесла в салон на комиссию. Большая довольно картина. Продолговатая. Примерно два метра на метр с чем-нибудь. Без рамы. Где ей раму взять! Холст-то, наверно, на последнюю стипендию купила.

Картина, как я уже сказал, называлась «Хоровод». Посмотрели мы на этот хоровод и понять не можем. Ничего такого в картине нет. И в то же время что-то такое есть. А чего именно нет и что есть, не поддается умозаключению даже самого Геннадия Петровича.

Смотрим на картину... Смотрим на художницу и не знаем, как ответить. С одной стороны, эту картину купить не должны, а с другой — всяко бывает.

— Девятьсот рублей, — говорит старший товаровед. — Пройдет?

Девушка-художница сначала побледнела, потом зарумянилась, глазки потупила: «Может быть, — говорит, — хоть в тысячу оцените?»

Сто рублей в таком деле не деньги. Кто девятьсот даст, тот и тысячу найдет. Вывесили картину. День висит, другой висит. Народ приходит, уходит. Вижу, что и за полцены эту картину не купят. Один даже сказал: «Лица плоские, и все как одно». Посмотрел я и вижу — да. Плосковато лица выписаны, и весь хоровод как бы одной матери дочери. Смотрю дальше: луг, небо — тоже не ах! И за руки девушки взялись как-то не по-живому. Кукольно. А между тем картина притягивает. Есть что-то в ней, как и в художнице. И личико так себе и нос никуда, а если бы, скажем, внучкой такую назвать — куда как славно.

Провисела эта картина, видно, с месяц. И вдруг приходит в салон женщина в лисе. С виду жена торгового работника. Глянула на картину и обомлела:

— Кто рисовал?! Сколько стоит?! Заверните, пожалуйста! Через тридцать минут деньги принесу!

Я рад-радехонек. Даже завтрак бросил. Вот, думаю, «сарафанчик» ты мой, разлетайчик ситцевый, туфельки мои, босоножечки, десять бумаг получит и — их как заживет!

Только-только ушла эта женщина, как является другая. Тоже в лисе. И как будто в театре или где-то еще тоже на весь салон завопила:

— Кто рисовал?! Сколько стоит?! Куда платить?

— Извиняюсь,— говорит старший продавец.— Картина продана. Покупательница за деньгами ушла.

— Как так продана, коли она висит? Не имеете права! — И тому подобное. Так пылить начала, что еле-еле урезонили. Приказ показали, где явственно говорится — ждать сорок минут.

Как сорок минут прошло, продавец хотел было на законном основании второй «лисе» картину продать, только первая-то «лиса» как раз в эту минуту явилась и тысячу в кассу подает. А та наперебой свою тысячу сует. А кассирше — что? Она той и другой чеки выбила, и они обе с чеками к продавцу.

Одна кричит: «Сорок минут кончились». Другая: «У вас часы с вашим характером: торопятся».

Тут «сам» выходит. «В чем, дамы, дело?»

Те опять пылить начали. Геннадий Петрович видит, что толпа собирается, и сообщает им:

— Какая жалость! Я вынужден вам обеим отказать в покупке. Только что звонила художница и просила задержать свою картину.

Снова: «как?», да «почему?», да «на каком основании?».

— Нормально,— говорит Геннадий Петрович.— Мы хотя и государственный салон, но комиссионного профиля. Художница опротестовала заниженную оценку картины, и наша комиссия согласилась с ней.

— Сколько же,— говорит первая «лиса»,— она хочет за нее? Я,— говорит,— хоть две, хоть три тысячи не пожалею.

А вторая — четыре наличными вынимает.

Геннадий Петрович улыбнулся второй «лисе» с крашеными волосами и говорит:

— Примерно так и хотят оценить эту картину. Шесть-семь тысяч. Приходите завтра. Салон закрывается.

Как закрыли салон, остались мы одни и говорим:

— Настоящий вы человек, Геннадий Петрович. Можете вы понимать и чувствовать, что значит первый дебют и как важно настоящей ценой девушку окрылить.

На другой день, как и следовало ожидать, явились обе до открытия салона, и у каждой туго сумки набиты. Картина «Хоровод» висит как и висела, только ярлык на ней «7250 руб.».

Я из вестибюля подглядываю и жду, которая дрогнет такие деньги платить. Смотрю, опять обе в кассу руки суют. А кассирша-то уж предупрежденная была. Она и говорит:

— Гражданки! Через две недели будет копия с этого «Хоровода». Точная копия за четыре пятьсот. Полная гарантия. Пройдите к директору. Он подтвердит.

Смотрю из вестибюля в дверь и вижу — одна «чернобурка» к директору подалась, а другая тем временем семь тысяч двести пятьдесят рублей платит и счет просит выписать. Не для себя, значит, берет, а для учреждения. А для какого именно — рассказ дальше будет.

Когда ушла вторая «лисица», — первая вышла. Сияющая такая, счастливая, Геннадия Петровичу руку жмет.

— Так, пожалуйста,— говорит,— пожалуйста...

И он ей тоже:

— Пожалуйста,— говорит,— пожалуйста, не беспокойтесь. Все будет так, как вы хотите, но адрес художницы,— говорит,— я вам дать не имею права, потому как у салона свой торговый план и вообще антигосударственно молодой художнице торговать на дому.

Довольнешенька ушла и эта «лисица». Мы к Геннадию Петровичу. Очень хотелось нам суть дела узнать. А он на это нам и говорит:

— Не могу, друзья мои, суть дела сказать, потому что художница очень хрупкая, и если она раньше времени узнает эту суть, то можно погубить дефицитное дарование.

Поскольку мы работаем не в скобяном деле, а в изобразительном искусстве, поняли, что Геннадий Петрович слов на ветер не бросает и может не только по трем мазкам фамилию художника назвать, но и в душу к нему проникнуть. Да. В душу. Несмотря, что не окончил никакого высшего учебного заведения, но является тоже дефицитным дарованием и кроме жалования получает от Художественного фонда регулярные премии.

В тот же день Наточка Киселева, такое имя и фамилию имела эта художница в сарафанчике, явилась в салон, и как стала получать в кассе семь-то тысяч двести пятьдесят рублей, минус комиссионные, так у нее не только руки, но и губенки задрожали, а в глазах сияние.

— Теперь,— говорит,— я мамочке обязательно вечерний капот сошью, а брату Ванечке тысячу на мотороллер добавлю.

— Не торопитесь, Наточка,— говорит «сам»,— тысячу на мотороллер брату добавлять. Может быть, вы ему еще «Москвича» купите.

— Да на что же,— говорит Наточка Киселева,— я «Москвича» куплю, если у меня второй брат на берег с флота списывается. Его же одеть, обуть надо.

Я слушаю, а по бороде у меня слезы текут. Хорошо, когда такая в семье живет. Зимой в квартире светло будет, несмотря на то, что напротив кирпичный семиэтажный дом.

— Оденете, обуετε да еще свадьбу вашему брату сыграете,— говорит ей «сам»,— потому как вы редкий талант и дефицитное дарование.

— Какое,— говорит Наточка,— такое дефицитное дарование?

А наш-то не без хитрецы:

— Я этого,— говорит,— не сумею выразить, поскольку у меня нет академической степени, но чувствовать — чувствую.

Сказал так Геннадий Петрович и заказал Нате, oprичь копии «Хоровода», большую картину к осенне-зимнему сезону.

— Не можете ли вы, Наточка,— говорит,— допустим, бал в Доме Союзов изобразить или, допустим, даже в Кремлевском дворце? И явились, допустим, на этот осенне-зимний бал самые нарядные женщины, и одно платье другое перешибает.

Наточка подумала, пошвыркала своим вятским носиком и отвечает:

— Могу, Геннадий Петрович, это моя тема.

— Если,— говорит он,— вам угодно творческий заказ оформить, то, пожалуйста, пять тысяч вперед, а остальные: смотря по качеству. Картину,— говорит,— желательно «а гранд». Три, скажем, на полтора метра.

— Хорошо,— говорит Наточка.— Только деньги вперед брать не буду.

— Как вам угодно,— говорит ей Геннадий Петрович.— Можно и безавансовый договор заключить...

Заключили они или нет, мне как-то ник к чему это, да и к моему рассказу это тоже мало имеет отношения.

Недельки через две снова приходит наша Ната, а мы уж ее всем салоном ждали и полюбили, надо сказать, чистосердечно. Кто — как родную сестру, кто — как дочь, а некоторые даже совсем громко вздыхать начали.

Приходит, стало быть, Наточка и приносит «Хоровод». Копию. Только копия никак на копию не походит. Небо, луг, девчата те же, а одежда на них новая. И, надо сказать, так выпестрена, так складно скроена, даже нитки и швы на картине чувствуются. Ну, а личики у хороводниц, опять, надо сказать, с уклоном в блины. Плоские.

Поговорила Наточка сколько-то с нашими салонщиками и ушла своей легкой походочкой. Сарафанчик-то уж другой на ее покатых плечиках был. Шелковый. Да и босоножечки на ее ножках не простым шилом шиты были. Сапожник, который их шил, видать, сильно узором да цветом ушиблен был.

Вскорости наш Геннадий Петрович познакомился с ее семьей. Стал бывать. Подсказывал кое-что, когда она «бал» рисовала. И я как-то к Киселевым завернул. Натина мать оказалась очень простой женщиной. Из швей. Теперь-то уж она по домашности была. Попил чайку. Велели бывать. И стал я у них тоже своим человеком. Даже комнатой с их соседкой хотел обменяться, поскольку ихняя соседка была сродни очковой змее. Избавиться от нее хотели. С обменом у меня ничего не вышло, а тайну дефицитного дарования Наточки я открыл.

Открыл я эту тайну и начал понимать изобразительное искусство куда как шире, чем его, может быть, понимают другие вице-президенты и члены правления с законченным высшим образованием. Да и не я один, но и многие в салоне суть дела начали понимать, особенно когда обе «чернобурые лисицы» пришли в подсобку нашего салона для покупки законченного Наточкой полотна «Бал в Кремлевском дворце».

Геннадий Петрович назначил за картину немного-немало — двадцать пять тысяч. На старые деньги. До первого января.

— Это грабеж! — говорит та, которая купила первую Наточкину картину. — Неслыханная цена!

А Геннадий Петрович весьма спокойно и очень солидно:

— Вглядитесь, — говорит, — да прикиньте по существу. Если, — говорит, — предложить эту картину настоящим специалистам, то ее по кускам, как море Айвазовского, можно распродать.

Сказал так и начал перечислять все оригинальное, что было в ней. Даже ковровую дорожку и дамские сумочки из поля зрения не упустил.

«Лисы» переглянулись, перешепнулись и говорят: «Если за двадцать, так мы пополам купим».

А тот им: «Могу, — говорит, — посочувствовать вам и третьего акционера на картину подобрать. Даже двух». А те: «Это еще зачем?» — И велели оформлять.

Через два дня Наточка на зелененьком мотороллере с братом прикатила. Получила свои денежки и опять творческие переговоры начала.

— Мечтаю, — говорит, — я в свете последних решений текстильную выставку отобразить.

И так, — говорит, — отобразить, чтобы забота о человеке чувствовалась и чтобы расцветка глаз ожигала.

— Очень, — говорит, — даже весьма. Замахивайтесь, — говорит Геннадий Петрович, — не стесняйтесь. Гарантирую.

И через полгода или более Наточка такую картину завернула, что даже в черном виде каждый



ЕВГЕНИЙ ПЕРМЯК начал свой творческий путь журналистом. Первые его работы — агитки для «живых газет». Став драматургом-профессионалом, он написал больше десяти пьес. Наиболее известны: «Лес шумит», «Иван да Марья», «Серебряное копытце» (по мотивам одноименного сказа П. П. Бажова), «Золотая Сорока».

Из книг Е. Пермыка следует назвать книгу о выборе профессии «Кем быть», роман «Драгоценное наследство», сборник рассказов «Тонкая струна», сказки «Дедушкина копилка», книжки для детей «Торопливый ножик», «Пичугин мост», «Сказка о стране Терра-Ферро» и др.

Последние работы Е. Пермыка — роман «Сказка о сером волке», книга для юношества о семилетнем плане «Твой завтрашний день», рассказы о Кулунде, печатавшиеся в журналах «Москва», «Смена» и «Молодая гвардия», и публицистические статьи в различных газетах.

предмет не только на глаз, но и на ощупь чувствовался, особенно текстиль. Такие она цветы на нем раскидала, что даже пахли они. Резеда — резедой, черемуха — черемухой... А картину не удалось дописать. Белила подвели. С белилами у нас вообще какая-то чехарда получается. Перебой. И случись эти белила в керосиновой лавке. Возле Никитских ворот. Ната туда... Надо же такой случай!

Приходит в керосиновую лавку и видит — женщина лет тридцати мастику для натирки полов покупает. Женщина как женщина, только платье на ней с Наточкиной картины.

— Откуда,— говорит,— у вас такое платье? Кто его вам шил? ..

Та ей отвечает, что в марьинском мосторге тысячи таких платьев!

Наточка забыла про белила и — на такси. Благо стоянка рядом в Мерзляковском переулке. Напротив «Консервов». Приехала в Марьину рощу и живехонько на платьевой этаж. Пришла на платьевой этаж и видит не только этот свой фасон, но и другие фасоны, которые у нее в «Хороводе» были и на «Балу в Кремлевском дворце».

Сначала ей это очень понравилось. Худо ли, когда с ее картин платья на живые плечи, в быт, переходят! Очень хорошо.

— Кто это вам такие платья шьет?

А продавщица и отвечает, как есть:

— Гор,— говорит,— швейпромтрест. По моделям Наточки Киселевой. Некоторые платья даже по ее имени называются. Вот,— говорит,— например, «Ната вечерняя», а это «Ната курортная». С разлетающей в косую полосу. А это «Киселевка дорожная».

— А кто это такая Ната Киселева?

А та ей возьми да и бухни:

— Очень,— говорит,— дефицитное дарование, но с придурью.

— С какой,— спрашивает Ната,— придурью?

— У нее,— говорит,— от матери швейный талант перешел. И так,— говорит,— стихийно перешел, что какую бы картину она ни рисовала, главное на ней узоры материй да фасоны платьев получаются. Наточка-то и не чувствует, что из нее самородное материно наследство бьет и что она кистями да красками не картины рисует, а мирового значения моды создает и расцветки материй выписывает. По всему свету ее смелые покрои пошли, а сказать ей об этом стесняются. А чего, спрашивается, стесняться?.. Вы только посмотрите, какие художественные произведения она создала...

Тут продавщица весь прилавок платьями Наточкиных фасонов закидала. А Ната белее бумаги стоит — ноги подкашиваются. Шутка ли, столько лет высшее образование получала, а выучилась на швею. Стоит Ната и слова выговорить не может, а та не унимается:

— Последнюю-то картину, можете себе представить, за двадцать пять тысяч купили. Купили и на куски изрезали.

— На какие куски?

— На разные,— отвечает та.— Кому какие нужны. Швейпромтрест из картины платья вырезал. Текстильный комбинат расцветки взял. Обувные фабрики у этих фигурок ноги вместе с туфлями отрезали. Галантерея свое — сумочками, кушачками, гребешками попользовалась. Продают уж их. Говорят, даже ковровая фабрика и та с Наточкиной картины дорожку перекупила. Сейчас Наточка над новой текстильной картиной работает. Так ее, говорят, еще сырую пересняли на цветную фотографию, и штапель теперь по ней гонят...

Пока продавщица тараторила таким способом, Наточка брык на креслице и без чувств. Окружили ее. «Ах да ох!» Кто кричит, что вентиляция в магазине плохая. Кто говорит, что, может быть, она ирландским окунем отравилась. Люди, они чего только не напридумают, а понять не могут, что у Наточки золотой сон улетел и она уже теперь никакая

не художница, а швея. Хоть какой будь мозг, все равно сотрясется при таком открытии. Пока махали на нее покупатели, оттирали духами виски, благо тут парфюмерный киоск рядом, «скорая помощь» приехала. На носилки и к Склифосовскому. У Склифосовского она сколько-то полежала, пришла в себя, и ее к Боткину переправили.

Долго не могли историю болезни установить. Все «потрясение да потрясение». А что значит и отчего оно — в медицине этого нет. И только на девятые сутки она призналась своему братцу Ванечке:

— Кустарь я, Ванечка, несчастный кустарь-одиночка,— сказала она и залилась слезами.

Доктора, сиделки, нянечки — утешать. Утешать утешают, а лечить не знают чем. Ну да нашелся доктор — Геннадий Петрович. Пришел он в больницу и говорит: «Поздравить хочу вас, Наточка». «С чем? — спрашивает Наточка». «А с тем,— говорит,— что вас в действительные члены Союза художников приняли, поскольку вы,— говорит,— удивительное событие в искусстве и дефицитное дарование».

Сказал так и развернул афишу. А в афише анонс о выставке моделей и тканей молодой художницы Натальи Киселевой.

Наточка-то как услышала это — опять заплакала. Только уж на другой волне. Мозги-то у нее обратно стряхиваться начали. А Геннадий Петрович лекарство за лекарством ей подает. Умный гомеопат. Журнал «Советская женщина» вынул и говорит:

— Смотрите, как вас прославляют, какие цветные фотографии с вашей работы печатают.

Ната глядит и глазам не верит. А там буковка в буковку напечатано, что молодая художница подняла фасоны платьев и расцветку материи до настоящих высот изобразительного искусства.

Потом уж я стал Нату долечивать — через день к ней визиты делал. У нас тоже сразу общий язык нашелся, поскольку я в изобразительном искусстве нахожусь свыше тридцати лет и тремя медалями награжден.

— Что ты,— говорю,— рыбочка моя, долго не очухиваешься. У тебя теперь, говорю, вся наша страна салон и в каждом населенном пункте выставка. Приходи зимой на кремлевский бал — свою-то изрезанную картину в живом виде увидишь. Ни один фасон не пропал. Поезжай в колхоз — тысячи тысяч твои хороводы водят.

А сам ей клюквенного морсу наливаю, поскольку он с дорогим крымским портвейном пополам. Лечить так уж лечить. С этого-то морсу она не то что куриный бульон — ветчину требовать стала.

К Первому мая ее выписали. Крупный «детский крик на лужайке» у них в квартире был. Наш-то доморощенный «Стасов» — Геннадий Петрович так наморсился, что уж бесполезно было такси вызывать, там и уснул. И Наточка тоже расцвела в этот май — трудно узнать. Выросла после болезни. Глаза как-то во Врубеля ударять начали и что-то таксе билибинское в ней проступило.

Хорошая жизнь началась у Наточки Киселевой. Теперь она в Чехо- словакию с персональной выставкой уехала. Оттуда, говорят, во Францию махнет. Там по платяной части тоже не последние мастера живут. А как вернется из Франции, какой-то женский ансамбль своими кистями-красками одевать примется. Теперь-то уж ей картины никто не заказывает, а напрямки действуют. Ковер ли нужен для экспорта... Или там подарочный чайный сервиз изукрасить... Даже чемоданно-сумочная фабрика и та к Наточке за ее художественным вкусом бегаёт. Новую модель холодильника по внешнему виду у Наточки консультировали. И правильно. Тонкий глаз у нее, дефицитное дарование. На этом я, так сказать, и того...

Конечно, я еще бы часа два мог о Наточке говорить, да только зачем: хорошее вино клюквенным морсом разбавлять?



НИКОЛАЙ РЫЛЕНКОВ



## ЗЕМНОЕ ТЕПЛО

### МУЗА

Смутит ли музу жаркий пот работы,  
На влажном лбу намокнувшая прядь!  
Ей чужды самохвалы-виршеплеты,  
Что могут смаху все зарифмовать.

Таким в любви к ней бесполезно клясться,  
Ей режет слух пустого слова звук.  
Как женщине, ей нужно постоянство,  
То, что живет в ладонях умных рук.

\* \* \*

Я б хотел, чтоб в стихах у меня между строк  
Прилетевший с полей заплутал ветерок,  
Чтоб в волшебном краю моего ремесла  
Круглый год было вдоволь земного тепла.  
Чтоб кустилась пшеница, цвели клевера,  
Чтоб звенела от пчел медосбора пора,  
Чтоб трещала во ржи перепелками мгла,  
Чтобы в городе ты усидеть не могла,  
Чтоб тебя потянуло под звезды полей  
На дороги любви и тревоги моей.

\* \* \*

Реки разлившейся извивы,  
Ручей, бегущий наугад,  
Цветы на голых прутьях ивы,  
Похожие на гусенят.

Туман вечерних придорожий,  
Тетеревиный разной —  
Мне с каждым годом все дороже,  
Как память первых встреч с тобой.

## АВГУСТОВСКАЯ ТИШИНА

Груды спелых плодов в саду,  
На току вороха зерна.  
Ты, как яблочный сок, свежа,  
Августовская тишина.

Чья-то песня грустит в полях,  
Далеко-далеко слышна.  
Это ты откликнулась мне,  
Августовская тишина.

По реке плывут облака,  
А река прозрачна до дна,  
А река прозрачна, как ты,  
Августовская тишина.

Я в тебя — как в себя гляжусь,  
Пережитым душа полна.  
Ты — как зеркало передо мной,  
Августовская тишина!

\* \* \*

Влекут из вьюжных дебрей декабря  
Нас оттепели так же, как морозы.  
Мороз — поэт. Он сеет блеск, творя,  
А оттепель — образчик трезвой прозы.

Их прелесть ценим по контрасту мы,  
Как двух отличных мастеров картины,  
Но слякоть, лужи посреди зимы —  
Всегда, как слезы лживые, противны.

\* \* \*

Люблю Москву в ее красе и блеске  
И многие иные города,  
Но на вопрос: где я живу? — в Смоленске,—  
Я отвечаю с гордостью всегда.

Среди других я лучшим не считаю  
Свой город, вставший у днепровских круч,  
Но верю я: любовь к родному краю  
Мне все откроет, как заветный ключ.

Я помню, слыша волн днепровских всплески  
Под ветром, набегающим с полей,  
Как пахнет хлеб ржаной крутой замески,  
И так хотел бы жить среди друзей,  
Чтоб и по мне судили о Смоленске  
На всех просторах Родины моей!



Сергей Львов

# ПУТЕШЕСТВИЕ В ДВЕ ТЫСЯЧИ ШАГОВ

ОЧЕРК

*Уже несколько недель я хожу по собственной улице так, будто приехал сюда в командировку. И вот почему.*

*Мои товарищи по работе, московские критики, обсуждали неувядающую тему «Критик и жизнь». Я рассказал о своих журналистских поездках. Меня внимательно выслушали. Но потом один из моих друзей сказал, что хотя всякая поездка сама по себе, может, и полезна, он не видит необходимости для литератора специально куда-то ездить, чтобы изучать жизнь. Он говорил примерно так: «Мы живем в обычных домах. Каждый день мы встречаемся с разными людьми, занимаемся разными делами. Все это и есть жизнь. Мы ее знаем, потому что сами ею живем».*

*Я не стал возражать. Мне подумалось, что стоит проверить справедливость его слов на самом себе.*

*Я тоже живу на обычной московской улице — на Новопесчаной. Каждый день прохожу по ней. Но что я знаю про свою улицу?*

*Вопрос этот оказался волшебным. Стоило мне его себе задать, и отношение к своей улице переменилось. Я очень любил ее и раньше, но проходил по ней, как бы не замечая. Цель всегда была где-то за ее пределами: библиотека, редакция, вокзал, музей, театр.*

*Теперь целью стала сама улица.*

*Итак, Новопесчаная, которая тянется от площади Марины Расковой до Окружной железной дороги, двенадцать домов с одной стороны, тринадцать — с другой, две тысячи шагов от угла и до угла.*

*Я хожу по ней каждый день, но мне еще никогда не было так интересно ходить по своей улице, как с того дня, когда я задал себе вопрос: что я про нее знаю?*

*В поисках ответа и родились эти заметки.*

## НЕМНОГО ИСТОРИИ

Как во всяких путевых заметках, — вначале немного истории.

Новопесчаная выходит на Ленинградский проспект, который недавно назывался Ленинградским шоссе.

В троллейбусе меня еще иногда называют «молодым человеком» («Молодой человек, передайте, по-

жалуйста, билет!»). Но когда я рассказываю дочке о Ленинградском шоссе моего детства, она слушает это как репортаж из далекого прошлого.

...Мы жили на Садово-Триумфальной, а картина «Мисс Менд», в которой мне случилось сниматься мальчишкой, делалась в деревянных павильонах киностудии «Меж-

рабпом-Русь». Помещались эти павильоны где-то на Масловке. Поездка по Ленинградскому шоссе на Масловку в двадцать шестом году, особенно зимой, — о, это было целое путешествие! Между высокими сугробами, которые тянулись вдоль тротуара и середины мостовой, трусила извозчичья лошадка, запряженная в санки. По аллее бульвара, легко обгоняя лошадку, бежали лыжники в ботинках с загнутыми крючком носами — пьексах. Где-то около кинофабрики мы спустились с горы. Тогда она казалась мне очень крутой. Недавно я долго ходил в этих местах и, конечно, не нашел той горы, но ясно помню ощущение снежной дороги далекой окраины города.

А ведь все это связывается в памяти с самым началом нынешнего Ленинградского проспекта, с кварталом теперешних улиц Правды, Марины Расковой, Масловки...

Прошел год, может быть, два. Новую картину снимали уже не на Масловке, а на самом Ленинградском шоссе в здании, которое было когда-то рестораном «Яр» (теперь после перестройки оно вошло в гостиницу «Советская»). Называлась кинофабрика по-другому — «Межрабпом-фильм». Видно, была она побогаче своей предшественницы. Когда съемку назначали неожиданно, за нами присылали черный высокий фордик. У него в колесах были спицы, и от этого он казался тонконогим.

По Ленинградскому шоссе изредка ходили автобусы — красные, круглобокие, похожие на фельдшерские чемоданы машины английской фирмы «Лейланд». Фордик, на котором мы ехали, желая разминуться с автобусом, попал колесами в глубокую колею и мягко перевернулся в сугроб. Движение по шоссе было таким, что следующая машина появилась минут через двадцать, когда прохожие уже помогли нам выбраться из сугроба и снова поставили автомобиль на его тоненькие ножки. Снег с нас отряхивали в несильном свете газового фонаря.

Прошло еще несколько лет. Наши знакомые поселились в новом поселке, где-то страшно далеко — около села Всехсвятского. Поселок назывался Сокол. Давая адрес, они всегда объясняли, что это не в Сокольниках, а на Ленинградском шоссе. И когда растолковывали, где именно, все изумленно качали головами: куда забралась! Ни Горьковского радиуса метро, ни троллейбуса еще не существовало. До Сокола добирались на трамвае. Путешествие в один конец занимало больше часа. Потом по Ленинградскому шоссе пошел троллейбус, и несколько лет Сокол был конечной остановкой самой дальней в Москве линии. Но и тогда и позже, когда до Сокола уже можно было доехать от центра за двадцать минут на метро, ощущение, что Сокол — это не город, осталось.

Когда мы приезжали сюда, то сходили с асфальта Ленинградского шоссе на поросшую травой улицу. Маленькие домики за заборами, дачные террасы, лай собак, петушиная перекличка, мостики через канавы... Поселок с коттеджами и дачками отчасти сохранился, но сейчас его со всех сторон обступили многоэтажные дома. А тогда за улицами этого поселка, названными именами художников — Врубеля, Левитана, Кипренского, Сурикова, — начинались огороды, пустыри, рощи... Вилась узенькая речка Таракановка. Квакали лягушки. Звенели комары. На Окружной дороге гудели паровозы: тут уж ничто не напоминало город...

Так эти места выглядели до самой войны, да и в первые послевоенные годы.

Снова в районе Сокола я оказался только в сорок девятом году — приехал к товарищу, который получил тут квартиру. Около станции метро уже стояли большие здания. Но улица, на которую я приехал, выглядела еще как строительная площадка, да и название ее, видно, только что сошло с листов проекта: «Проезд 700». Город как бы кончался сразу за домом, в котором поселился мой товарищ.

Дальше тянулся пустырь, на нем стояло несколько ветхих деревянных домиков вполне деревенского вида.

Но по другую сторону будущей улицы (ее очертания уже угадывались) возвышались подъемные краны новых строительных площадок. За домом, где жил мой товарищ, виднелись деревья — остатки старого парка. Между двором и парком протекал не то ручей, не то речка. «Таракановка!» — сказал товарищ. Я не узнал старую знакомую: она протекала теперь не в зеленых бережках, а среди теснивших ее холмов строительного мусора и перекопанной земли, и все вокруг нее имело какой-то временный вид.

Не знал я тогда, что через четыре года сам поселюсь на этой улице.

Теперь ее уже все называли Новопесчаной. Кроме старожилов, которых еще три-четыре года назад считали новоселами, и почтальонов, никто не помнил ее временного названия, да и выглядела она совсем по-другому.

В ее отдаленном от Ленинградского шоссе конце выросли новые дома. По улице пошел троллейбус. Остальные перемены — появление огромного сквера и широкоэкранный театр, возникновение широкого проезда с двумя лентами мостовой и цветника на том месте, где стояли два деревянных домика, — совершались уже на наших глазах.

Но самым поразительным было исчезновение Таракановки.

Еще недавно, летом, мы с опаской проходили над ней по шатким мостикам из нескольких торопливо брошенных досок. Ребятишки зимою скатывались на лыжах и санках на дно ее глубокого оврага. Потом Таракановку забрали в огромную бетонную трубу. Никогда я не думал, что с такой речонкой может быть столько возни! Десятки машин со всех строек округи день за днем свозили сюда строительный мусор. Овраг исчез. Но то, что его сменило, не радовало глаз. Это была смесь негодного щебня, битого стекла, железа, обрывков проволоки.

Потом наступили дни, когда машины стали возить сюда не строительный мусор, а черную рыхлую землю... Здесь будет парк!

Работы в парке еще не завершены (они ведутся по проекту архитекторов З. С. Гриневецкого и С. В. Чаплиной), и официально парка еще нет. Но какие деревья растут тут, какая тут бархатная трава летом! А ведь это бывшая свалка.

Новый парк вошел в жизнь всей нашей улицы. Но подробнее об этом потом. А сейчас о том, к чему мы — обитатели Новопесчаной — привыкли, но что, если поразмыслить, составляет ее самую большую особенность.

...На углу улицы Грановского есть старый дом с мансардным этажом, напоминающим круглую башню. В нашей жизни — моей и моих друзей — этот дом значил очень много: здесь жил наш товарищ, который был для нас в студенческие годы непререкаемым авторитетом. Наш товарищ погиб на фронте в боях за Москву, и с тех пор я никогда не мог решиться зайти в этот дом. Но проходя по улице Грановского, я всегда поднимаю глаза на его окна. Старый дом ничуть не изменился, да и старая улица все та же. Когда проходишь по старым улицам, когда видишь старые дома, испытываешь щемящее чувство: люди меняются, уходят, а старые стены неизменны.

На Новопесчаной все по-другому. Все, что построено на ней, построено на наших глазах. Моя дочка смотрит на эту улицу как на свою младшую сестру. Гуляя, мы проверяем друг друга: помнишь, здесь вот был кособокий домик с собакой в конуре? Помнишь, как здесь поставили забор и привезли подъемный кран? Помнишь, как мы спорили, что тут построят?..

Мы помним. Но, оказывается, помним не всё.

Чтобы точнее припомнить, как выглядела наша улица еще недавно, я пошел в Музей истории и реконструкции Москвы. В этом музее

есть удивительная фототека. В ящиках по алфавиту стоят карточки с названиями московских площадей, проездов, набережных, улиц, переулков и тупиков, а на карточках — их фотографии.

И я увидел нашу улицу, какой она была. Осень 1951 года. На фотографии наш двор. Место для будущего газона только обозначено, но нет еще ни деревьев, ни цветов.

Другая фотография. Школа, которую жители нашей улицы называют «красной». Напротив нее нет еще тротуара. Мостовая сужается, обтекая асфальтовой рекой деревянный домик.

Еще фото. Перед домом, где помещается гастроном, — пустырь, рядом с этим домом выстроено всего два, третий строится. А теперь здесь целая улица — 2-я Песчаная.

Проходит несколько лет. Новый снимок места, на котором был пустырь. Теперь тут сквер с фонтаном. На фотографии фонтан такой же, как сейчас, а деревья на сквере меньше и листва их реже.

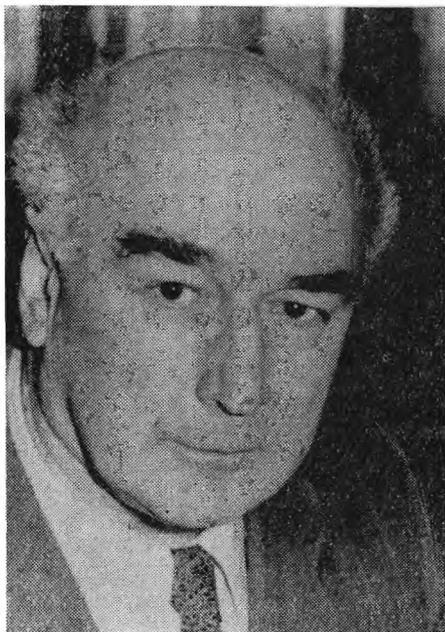
Рассматривать эти фотографии интересно, но грустно. Грустно, потому что их очень мало.

За каких-нибудь двенадцать лет на бывшей окраине столицы вырос

город. В архитектурном путеводителе по Москве говорится: «Строительство на Песчаных улицах началось в 1948 году. Ныне на территории почти в 300 гектаров возведены жилые дома с общей жилой площадью около 400 тысяч квадратных метров. Проведены также все необходимые работы по инженерному оборудованию территории, благоустройству и озеленению».

А в музее вся эта огромная работа сохранена для истории всего на двух десятках фотографий. Район Песчаных — одно из детищ нашего города. Разве неинтересно было бы увидеть альбом, запечатлевший рост этого ребенка?

Конечно, район Песчаных куда меньше тех районов жилищного строительства, которые не сходят со страниц газет, таких, как Юго-Западная зона, Фили-Машилово, Богородское, Новые Кузьминки. К тому же там другие темпы строительства, иной размах работ, более совершенные проекты, более совершенные методы строительства. Строительство там начинают с того, чем на Песчаных улицах завершали, — со сборного железобетона, крупнопанельных зданий домов си-



НИКОЛАЙ  
МОРДВИНОВ

*Театр Моссовета*

*Моя  
новая  
роль*

Новая пьеса Татьяны Сытиной «Самое дорогое», включенная в репертуар нашего театра, — пьеса об интеллигенции.

Советские зрители хотят знать возможно больше о советской интеллигенции, которая вывела науку на космические просторы, проникла в глубины земли и в тайны материи.

В этой пьесе я играю роль профессора Коржина — человека большого и острого ума, в котором ярко воплощены черты нашего современника.

О том, как я хочу сыграть эту роль, говорить преждевременно. Роль может быть не раз переацентрирована, и, кроме того, говорить наперед о том, каким мне грезится действующее лицо, я не умею. Но во всяком случае в этой роли мне хочется сказать о самом главном, самом серьезном, и без той «чужаковатости», к которой мы, актеры, часто прибегаем, характеризуя советских ученых...

стемы инженеров В. П. Лагутенко, Н. Я. Козлова и других новаторов домостроительной техники. Но ведь район Песчаных был одним из первенцев послевоенного строительства в Москве. Здесь проверялся огромный градостроительный опыт.

Стоит вспомнить, например, что на второй очереди застройки этого района одновременно «по конвейеру» строились двадцать семь корпусов! Конечно, сегодня такой цифрой никого не удивишь. Но одно то, что мы ей не удивляемся, говорит о том, как шагнули мы за эти годы! Не даром, когда я сказал в Главмосстрое, что пишу очерк, в котором будет идти речь о строительстве в районе Песчаных, мои собеседники изумились:

— Что же вы такую старину вспомнили?

Действительно, это уже стало историей. Но историю нужно помнить.

Не каждый житель Новопесчаной пойдет разыскивать в музеях старые фотографии своей улицы. Но, наверное, каждому было бы интересно увидеть их увеличенными в читальном зале библиотеки, в фойе кинотеатра, а может быть, и на улице, на специальной витрине. И уж наверное каждому было бы интересно прочитать такую справку: «Когда дождливой осенью 1948 года сюда пришли первые строители, чтобы начать застройку пока еще безымянного проезда... здесь лежали пустыри и огороды, кое-где толпились бревенчатые домишки, ветер шумел вершинами разлапистых сосен да журчали извилистые речушки».

Так рассказывается о возникновении нашей улицы в книге П. Лопатина «Москва». А вот уже упоминавшийся архитектурный путеводитель по Москве. (Кстати сказать, этот труд придется по душе всем, кому дорога история родного города. Он превращает улицу из собрания неизвестно когда и неизвестно кем построенных анонимных зданий в улицу, запечатлевшую в своих домах вдохновение и расчет, поиски, удачи, ошибки и заблуждения лю-

дей, задумавших и построивших эти дома). В нем о нашем районе говорится так: «Реконструкция Ленинградского проспекта и прилегающих к нему кварталов, начавшаяся в 1930-х годах, почти не коснулась с. Всехсвятского... и только работы, развернувшиеся в 1948 году, в короткий срок и коренным образом изменили облик всего района. Проект застройки... Песчаных улиц был разработан бригадой в составе архитекторов Н. А. Швеца, А. В. Болонова, М. Л. Зильберглейта, Г. А. Андреева, инженера Л. Ф. Бренкевича под руководством архитектора З. М. Розенфельда; генеральный план застройки района составил архитектор П. В. Помазанов».

Я пересказал эти сведения знакомым, которые живут на нашей улице, соседям, домашним. Оказалось, что они всех интересуют. Выяснилось и другое: даже те, кто приехал сюда давно и хорошо помнит, как строилась улица, не знают имен ее проектировщиков и строителей. Но почти для каждой семьи переезд на эту улицу был большим событием в жизни. Семейная хронология сделала его началом нового летоисчисления: «Это было еще до того, как мы переехали на Новопесчаную», — говорят в наших кварталах.

И, конечно, нам интересно знать тех людей, кто своим трудом подготовил такое событие.

Но если любознательный патриот улицы сможет, порывшись в справочниках, найти имена архитекторов, причастных к ее рождению, то где найти имена каменщиков, плотников, штукатуров, электриков? Для этого нужно перерыть горы старых газетных подшивок.

А ведь наш молодой район так же, как и всякий другой молодой район Москвы, может и должен найти на своих стенах место, чтобы рассказать жителям собственную историю. Право, она того заслуживает!

Между прочим, это история не только двенадцати лет нового строительства, это и трехсотлетняя история села Всехсвятского, где

## ПЕСЧАНЫЕ УЛИЦЫ И ПЕСЧАНЫЕ ПЕРЕУЛКИ

когда-то находился дворец имеретинского царевича, в котором в январе 1722 года в канун празднования Ништадтского мира останавливался Петр I.

Впрочем, не будем заглядывать так далеко. Скажем лишь, что на планах Москвы 1848 и 1864 годов в районе нынешних Песчаных улиц показано несколько дач частных владельцев — единственные здания, которые заслужили того, чтобы быть особо выделенными среди крестьянских изб села.

На более подробном плане 1854 года около речки Ходынки обозначена «Школа стрельбы в цель для придворных егерей». Никаких других школьных зданий на этом плане нет. Во «Всеобщем путеводителе по Москве и окрестностям», который был издан в 1916 году, есть подробные планы отдельных частей Москвы. На том, где изображено Всехсвятское, трудно найти существенные отличия по сравнению с планами прошлого века, а в тексте о селе говорится лишь следующее: «...Всехсвятское в пяти верстах за Тверской заставой. Дешевое дачное место. Ввиду близости к Ходынскому полю, на котором стоят лагерем войска, служит летним местопребыванием офицерских семейств».

Докопавшись в библиотеке до этого справочника, я не смог удержаться, полистал его и сделал несколько выписок. Путеводитель по Москве 1916 года сообщает с эпическим спокойствием: «Санитарное состояние Москвы оставляет желать многого... Смертность в Москве составляет 28 человек на тысячу, а с Воспитательным домом даже 33 человека на тысячу в год... По благоустройству Москва значительно уступает не только крупным европейским городам, но и некоторым русским... По числу своих церквей Москва — первый город России».

Недаром едва ли не единственное каменное здание, которое неизменно отмечается на всех старых планах нашего района, — это церковь — существующий и донныне памятник архитектуры XVII века.

Вот оно, прошлое Песчаных.

...В своих заметках я все время говорю: «Песчаные улицы». Это естественно. Здесь проектировалась и застраивалась не одна улица, а целый комплекс кварталов. Когда-то москвичи употребляли не только названия улиц и площадей, но объединяли собирательными названиями традиционно сложившиеся части города: Сокольники, Хамовники, Сыромятники...

Одни из этих названий живут до сих пор, другие сохранились лишь в памяти старожилов да на страницах книг. Зато теперь новые части города объединяются названиями бывших подмосковных поселков и деревень: Лужники, Кузьминки, Мазилово, Мневники, Черемушки и т. д.

Один из таких новых районов — Песчаные. Но значит ли это, что каждая из улиц, входящих в него, должна называться только Песчаной? А ведь в нашем районе есть Песчаная, 1-я Песчаная, Новопесчаная. 7-я Песчаная проходит параллельно просто Песчаной и перпендикулярно к 1-й Песчаной. Кроме семи Песчаных улиц, существуют еще пять Песчаных переулков, не считая Песчаного Большого и Песчаного Малого. Мудрено ли тут запутаться!

Попробуйте объяснить приезжему, который ищет 4-й Песчаный переулок, что этот переулок находится между Большим Песчаным переулком и Песчаной улицей, но что автобусная остановка, на которой ему нужно выйти, чтобы попасть в этот переулок, называется 3-й Песчаной, а троллейбусная носит название 2-я Песчаная!

Хорошо, если эти поиски он будет вести, уже добравшись до наших мест. Перебрав всю арифметику, он найдет тот переулок, который ему нужен. Но ведь в Москве немало и других похоже звучащих адресов. Есть еще Малый и Большой Новопесковские переулки, которые находятся подле Смоленского метро, и Песочный, что на Русаковской.

Когда-то московских извозчиков экзаменовали так: «Ступай на Арбат, с Арбата — на Арбатец, оттуда в Безымянный. Из Безымянного в Безумный и по Кривоколенному в Кривой».

Тот, кто задавал эту задачу, посмеивался. Он знал, что созвучные Арбат и Арбатец лежат в разных концах города, что Безумный находится на Трубе, Безымянный — на Балканах, а между Кривоколенным и просто Кривым чуть не пять верст.

Но таким же злым испытанием в шестьдесят первом году будет фраза: «Поедем на Песчаную, оттуда в Песочный, с Песочного в Песковский».

Между прочим, подобные трудности возникают и в других новых районах Москвы.

...Когда плодород предлагает новые сорта к государственному сортоиспытанию, он должен каждому из них дать такое имя, чтобы оно не совпадало ни с одним названием старого сорта, чтобы было коротким, красивым, запоминающимся.

— Несколько дней подряд придумывали мы имена и «крестили» свои сорта, — рассказывал мне однажды специалист по яблокам. — Это была трудная, но очень приятная работа. Удачно найденное название помогало почувствовать: труд завершен.

Может быть, стоит перенять этот опыт строителям новых улиц? Не приходит же в голову географам называть острова: «Второй Новооткрытый остров», «Третий Новооткрытый».

Право же, каждая новая улица Москвы заслуживает своего собственного названия!

## УТРО УЛИЦЫ

На Новопесчаной не осталось старых домов, но много старых деревьев, а молодые деревья по росту догоняют старые. Участок перед нашим домом, особенно вечером, кажется настоящим садом, с фонарями, таинственным выглядывающими из густой зелени, с шепотом влюбленных пар на скамейках.

Во всяком случае птицы, которые когда-то прилетали в сады Всехсвятского, не стали менять свою прописку. Если летом выйти на нашу улицу в рассветный час, можно услышать, как они весело пересвистываются в ветвях. Я бы даже перечислил, какие именно птицы поют на нашей улице, но боюсь, что меня подведет скворец.

Скворца я на Новопесчаной видел наверняка, а он, как известно, сам не будучи бог весть каким певцом, умеет подражать не только всем своим пернатым собратьям, но и разным звукам.

Скворец, который живет около нашего дома, — урбанист. Он подражает городским шумам. Вот и сейчас: первые троллейбусы еще не вышли на улицу, а он изображает звенящий свист троллейбусного ролика.

...Умытая ночным дождем, а если не было дождя, ночными поливальными машинами, наша улица кажется совсем юной.

Сегодня я вышел на улицу к концу того утреннего часа, когда перекличку птиц сменяет перезвон будильников. Я спешу, но на одну минуту останавливаюсь около доски объявлений. Объявления меняются часто. Неизменным остается их заповедь: «Требуются!»

Кто требуется сегодня? Списываю несколько строчек: «Срочно требуются токари всех профилей и разрядов, фрезеровщики, шлифовщики, слесари, заточники...»

«Требуются: инженеры по электронике, инженеры-физики...»

«Требуются специалисты по счетно-решающим устройствам...»

Строку о специалистах по электронике и счетно-решающим устройствам я подчеркиваю: она — примета наших дней.

Люди сорока пяти специальностей могли сегодня узнать на Новопесчаной, что они срочно требуются предприятиям и учреждениям Москвы.

А рядом с этими объявлениями — разрисованный цветными карандашами плакатик: «Приходите

на праздник цветов у фонтана». Патриоты улицы назначают свидание всем ее жителям в самом красивом месте района.

...Шесть часов утра. Почтовое отделение Д-57. Пятнадцать почтальонов разбирают газеты. Мелькают руки. Слышен только шелест листов, характерный стук выравниваемых пачек, обрывки фраз:

— «Литературная» будет через двадцать минут...

— Звонил диспетчер — надо подождать «Звездочку».

На улице — шум подъезжающей машины. Распахивается дверь:

— Девочки, возьмите «Литературную»!

Через несколько минут — другая машина:

— Девочки, «Звездочку» возьмите!

Пока почтальоны раскладывают пачки газет по своим сумкам, я записываю несколько цифр. Наше отделение обслуживает примерно треть улицы. Но оно доставляет пятнадцать тысяч газет и около десяти тысяч журналов.

У некоторых почтальонов в руках железные палки с загнутыми крючками — самодельные отмычки для лифтов. Неужели нельзя было выдать почтальонам ключи?

Впрочем, на нашем участке — он состоит из домов, построенных в 1948—1949 годах, — лифтов нет. Почтальон Мария Варфоломеевна Давыдова — тетя Маруся, как ее называет наш квартал, — не сразу соглашается отдать мне свою тяжелую сумку. А сумка действительно тяжелая, да еще в руках толстая пачка газет. Еще бы! Только на этом участке нужно разнести около тысячи экземпляров газет.

...Восемь домов, двадцать четыре подъезда, в некоторых домах — пять, в некоторых — четыре этажа.

— Вначале пойдем по клеточкам, — говорит тетя Маруся.

Что это значит? В некоторых московских домах почта установила внизу ящики с пронумерованными отделениями. Теперь почтальону не нужно подниматься по лестнице. Он раскладывает газеты по ячейкам.

— Большое нам облегчение, — говорит тетя Маруся.

Действительно, большое! Это я хорошо чувствую, когда мы начинаем разносить газеты по домам, где система «клеточек» еще не введена.

Пять этажей вверх, пять этажей вниз, пять этажей вверх, пять этажей вниз...

— Ну как? — смеется тетя Маруся.

— Ничего, — говорю я, стараясь отдышаться.

— К вечеру почувствуете!

Еще нет семи часов, но во многих квартирах, едва хлопает крышка почтового ящика, тут же открывается дверь: нетерпеливая рука полуодетого человека выхватывает газету. Я тоже привык просыпаться вместе с первым хлопком почтового ящика. Но скоро и у нас в подъезде введут систему «клеточек». Газета появится в квартире только тогда, когда кто-нибудь сойдет вниз.

Признаться, жаль, что москвичей лишают привычки — начинать свой день с газеты.

— Многие обижаются, — объективно признает тетя Маруся.

Когда я рассказал о своем утреннем походе приятелю, человеку трудовому, отнюдь не лентяю, и похвалил «клеточки», он рассердился:

— Всякий тяжелый труд надо облегчать, — сказал он. — Это аксиома. Но только не путем ухудшения обслуживания. Это тоже аксиома. Ведь никому же не пришло в голову для облегчения труда дворников отменить уборку двора. Им в подмогу дали мотороллеры, маленькие поливальные машины. Может быть, и почтальонов надо посадить хотя бы на велосипеды!

— Велосипед не поедет вверх по лестнице.

— Все равно! Я хочу получать свою почту с утра и франко-квартира.

Может быть, он прав. Не знаю! Но я сегодня утром был в роли почтальона, и к вечеру, как предсказала мне тетя Маруся, у меня гудели ноги: очень важно переменить точку зрения на предмет, о котором собираешься писать.

7.30... Мы разнесли всю тысячу газет.

Как изменилась за полтора часа улица! Я бы написал, что по ней движется «беспрерывный людской поток», если бы не включил однажды это выражение в список тех штампов, которые негоже употреблять литератору.

По той же причине я не могу сказать, что возвращался домой «усталый, но довольный», хотя это наиболее точное определение того, что я чувствовал.

Сколько интересного может выспросить литератор у почтальона хотя бы о приливах и отливах подписки на периодические издания!

...Итак, обход закончен. Но еще несколько дней подряд пятилетняя девочка из соседнего подъезда допытывается у меня:

— Дядя! Почему не принес мне «Веселые картинки»?

Тетя Маруся начинает разбирать письма, которые будет разносить в десять утра, а я возвращаюсь домой через парк. От семи и до девяти зимой и летом он во власти физкультурников. Нет, это не какие-нибудь организованные группы. Это люди, которые перед работой заполняют дорожки парка: одни перебрасываются мячом, другие прыгают со скакалкой, третьи делают упражнения с гантелями.

Я узнаю знакомого профессора, который каждое утро — зимой и летом — возглавляет тут зарядку своей семьи. Позавидуешь такому характеру!

## ЗЕЛЕНый ОСТРОВ

Чтобы попасть в парк, нужно выйти с нашего двора и пересечь узкий асфальтированный проезд. Новая часть парка с молодыми деревьями разбита там, где проходил овраг Таракановки. Старая часть существует издавна. Когда-то здесь был лес. Во время первой мировой войны и в первые годы после нее — военное кладбище. От него осталось одно надгробие — гранитная глыба со строкой: «Как хороша жизнь! Как хорошо жить!», взятой из фронтového дневника студента.

Когда наш парк еще не был парком, его называли просто — роща за Таракановкой.

Действительно, хоть этот зеленый участок невелик и не очень густо растут на нем деревья, но они разбросаны так волно, так естественно проходят между ними тропинки, такой непринужденно-непричесанный вид у кустарников, что все это воспринимается как природная роща. Сейчас здесь прокладывают аллеи. К счастью, не все из них отбиты по линейке. Некоторые мягко изгибаются, повторяя начертания годами протоптанных тропинок.

Новые аллеи покрывают асфальтом. Надо ли это делать? Почему, планировщики и строители московских парков и садов так привержены к асфальтированным дорожкам? Ведь как выигрывают старые московские бульвары, вроде Тверского или Гоголевского, оттого, что по их аллеям идешь не как по серому камню, а как по земле — пусть утрамбованной, но живой земле.

П. П. Волков — заместитель начальника Управления благоустройства Москвы — согласен, что асфальт не очень украшает наши сады.

— Но весной и осенью по зеленым аллеям старых бульваров не пройдешь. Асфальт неприятен в жару, зато по нему можно ходить в любое время года.

И мой собеседник рассказывает о преимуществах так называемого красного асфальта, дает сравнительную характеристику дорожек в Булонском лесу Парижа и в парках Риги. Словом, простой вопрос, если всерьез им заняться, оказывается не таким уж простым, и те, кто занимаются благоустройством Москвы, хотят решить его с учетом мирового опыта.

## ЭКСПЛУАТАТОРЫ СО 2-Й ПЕСЧАНОЙ

Парк еще создается, скверу уже несколько лет.

Павел Павлович Волков, рассказывая о нашем сквере — одном из самых красивых в Москве, — произ-

нес фразу, которая мне очень понравилась:

— Неплохо, конечно, написать о тех, кто этот сквер спроектировал и построил (проектировали его,— я узнал это потом,— Ю. С. Гриневицкий и В. М. Семенова). Неплохо — и о тех, кто посадил кусты и деревья на месте, где не было и на сантиметр культурной почвы,— только песок. Но напишите-ка про тех, кто этот сквер эксплуатирует. Есть у нас такое служебное слово. Лучше бы, конечно, сказать: «кто за ним ухаживает», еще лучше — «кто его выхаживает». Вы знаете, сколько нужно труда, чтобы в Москве цвели и приносили плоды каштаны? А чтобы сорокалетняя лиственная чувствовала себя как дома?

Так я познакомился с «эксплуататорами со 2-й Песчаной», садоводами нашего сквера, и главным из них — Ниной Александровной Сысоевой. Она закончила сельскохозяйственный техникум, потом — заочно институт и в последние годы специализировалась по декоративному садоводству.

Традиционные для всех московских садов липы — их привозили сюда пятнадцатилетними и двадцатилетними. Пирамидальные тополя. Они окаймляют весь сквер по периметру и разрослись так, что этой осенью придется часть деревьев выкапывать, чтобы они не мешали друг другу. Елочки. Сто пятьдесят яблонь культурных сортов. Как они цвели весной! А каштаны? Конечно, каштаны есть с недавних пор и в сквере около памятника Пушкину. Но там они растут одиночными экземплярами, а у нас — целая аллея.

Взгляните, как хорошо смотрится на фоне темной зелени снежник с его белыми ягодами! Обратите внимание на рябину! Какая она декоративная — какая стройная, сколько ягод вспыхивает на ней.

Посмотрите сюда! Видите, дерево все облито красным? Как вы думаете, что это? Не знаете? Это особая декоративная яблоня — сибирская, ягодная, она будет гореть плодами среди других деревьев до самых морозов.

А клен Гинала высажен здесь ради тех недель осени, когда его узкие листья станут ярко-красными и будут выразительно контрастировать с широкополыми медно-золотыми листьями клена.

— Обыкновенного? — спрашиваю я.

— Обыкновенного, только у нас, у садоводов, обыкновенный называется остролистным.

Мне показывают сорт флоксов, примечательный тем, что у него не бывает «выскачек», — это значит, что все цветы расцветают сразу и держатся два с половиной месяца; напоминают, как цвел весной этот огромный куст жасмина, просят полюбоваться плакучей ивой...

Я и раньше видел, что наш сквер красив, но проходил по нему, как часто ходят москвичи по своему городу, — быстро, не вглядываясь, не замечая подробностей...

Нина Александровна идет по скверу не спеша и говорит не слишком быстро, но я едва успеваю записывать то, что она рассказывает. Знакомый сквер, когда проходишь по нему с человеком, который знает в лицо и по имени каждое дерево, каждый кустик, начинает казаться огромным. А он и на самом деле не маленький — 3,5 гектара. Бульвары, конечно, в городе есть побольше, сады — тоже, а скверов, как наш, еще поискать.

Сколько труда нужно было положить, чтобы все это вырастить, выходить! Вот что значит «эксплуатировать» этот сад.

И, оказывается, не только труда физического, но опытов, поисков, споров...

Детские площадки в сквере защищены не забором, а живой оградой.

— Кустовая липа, — поясняет Нина Александровна Сысоева. — Ее до нас в Москве никто не сажал. Когда посадили, сколько вокруг споров было! Выходили мы кустовую липу и в спорах ее отстаивали — посмотрите, какая прелесть!

Мы еще долго ходим по скверу, рассматривая деревья, кустарники, цветы...

В сквере работают десять человек. Им помогают ученики средней школы: они проходят здесь практические занятия по ботанике. Ребятам есть чему поучиться у «эксплуататоров» сквера — умения и знания помножены в их труде на любовь.

Но появляются в этом сквере и эксплуататоры без кавычек — люди, которым плевать на то, сколько вложено сюда труда и сколько радости доставляет сквер людям, живущим в его округе. Ни одному яблоку ни на одной яблоне не дали они созреть. А какое бы значение имели эти яблоки, если бы их, выращенных в сквере, видела вся улица, а потом бы вся улица узнала: яблоки получают школьники, трудившиеся в сквере. Но на плоды даже не пришлось взглянуть — их оборвали зелеными, обламывая ветви, уродуя деревья. Кто? Неизвестно.

Я представляю себе, как гоготали саврасы, которые однажды ночью стащили все урны сквера на детскую площадку и построили из них пирамиды. Садовникам пришлось утром вместо того, чтобы ухаживать за цветами, разносить урны по местам. Хулиганы не попались. Жаль! Их нужно бы на глазах всей улицы заставить руками собрать весь мусор, которым они осквернили сквер, и при всех громко назвать их имена. Жаль, деревья не могут сами постоять за себя. Как было бы хорошо, если бы яблоня, у которой ночью обломали ветки, могла бы пометить того, кто это сделал, звонкой пощечиной!

## МЕЧТА ЛЕСНИЧЕГО И БИОГРАФИЯ МОНТАЖНИКА

Года два назад некий гражданин получил под Москвой участок и начал его «освоение» с того, что вырубил на нем семнадцать берез. Семнадцать берез в полном расцвете сил! Целую березовую рощу! Когда Дмитрий Терентьевич Ковалин — главный лесничий Министерства сельского хозяйства СССР — рассказывает об этом, у него темнеет лицо от гнева и глаза становятся жесткими.

Мы познакомились как соседи. Дмитрий Терентьевич живет рядом со сквером, о котором только что шла речь, и как специалист с восторгом говорит о превращении пустыря в сад. Разговор о людях, украшающих землю, — этот ли клочок, где возник сквер, огромные ли пространства, — переходит к тем людям, кто эту красоту разрушает. Я понимаю боль, звучащую в голосе моего собеседника. Он и его товарищи вынашивают сейчас мечту: создать недалеко от Москвы Национальный парк — «Русский лес», чтобы представить в нем в естественных условиях все; какие только можно будет акклиматизировать, породы деревьев и кустарников; чтобы здесь были и дубравы, и березовые рощи, и уголки тайги, чтобы здесь были холмы, овраги, лесные бочаги, родники. Сделать этот парк огромным и свободным, чтобы можно было ходить по его траве, лежать на ней, ставить палатки, провожать здесь заход солнца и встречать зорю, но чтобы неизменно чистой оставалась вода в ручьях, и нетронутыми деревья, и нераспуганными птицы...

Пока это еще не проект. И даже не проектное задание. Это — замысел. Мечта. Впрочем, работы, которые уже начинаются в новой лесопарковой зоне Большой Москвы, — ступень к этому замыслу. Как все тесно связано в жизни! Мой собеседник, рассказывая о том, где именно должен быть заложен Национальный парк, упоминает сокращенный рабочий день.

— Национальный парк, — говорит он, — должен быть создан в таком отдалении от города, чтобы в него можно было доехать после конца работы и не устать при этом. Сокращенный рабочий день дает такую возможность. Парк будет воспитывать в людях любовь к родной природе. Но до его создания многих нужно предварительно воспитать, чтобы можно было потом без сторожей и запретительных надписей оставить человека наедине с деревом — в уверенности, что он не вырежет на его коре свое имя, не обломает его...

А вот задачи ближайшие:

— Мы уже сейчас должны знать, сколько многолетних деревьев понадобится паркам, садам и скверам Большой Москвы в будущем. Покупаем липы, например, которые пересаживаются на московские улицы в «зрелом возрасте», отыскиваются в лесах. Подходящие экземпляры растут далеко друг от друга. Нелегко в лесу ухаживать за ними, готовя их к пересадке. Нужны новые большие питомники, и в этих питомниках, конечно, нужно выращивать гораздо больше разнообразных деревьев. В городских парках Женева деревья подобраны так, что их листва образует всю гамму зелени — от почти белой до почти черной. Разве нам это недоступно?

Главный лесничий Советского Союза размышляет об отдыхе москвичей, об условиях этого отдыха — не только сегодняшних, но и тех, которые сложатся через пять-семь-десять лет...

А Алексей Митрофанович Коротеев — бригадир монтажников треста «Мосжилстрой» — уже начал работу в зоне отдыха Большой Москвы. Сейчас он вместе со своей бригадой строит пансионат на Клязьминском водохранилище.

Мы встретились с Алексеем Митрофановичем на нашей Новопесчаной; живет он рядом, на 1-й Хорошевской, в доме, который сам строил. Когда говорят «строил сам» — возникает представление о маленьком «личном» строительстве. Дом, который Алексей Митрофанович «строил сам», — огромный корпус, собранный из крупных панелей. Квартал, где этот дом и его братья воздвигнуты, еще недавно назывался 7-м кварталом Песчаных улиц. Все Песчаные вместе, включая и 7-й квартал, были университетом строительного опыта, а теперь могли бы стать выставкой его строительной истории. Алексей Митрофанович рассказывает об этом в своей книге «Организация работы в бригаде монтажников».

Алексей Митрофанович пришел сюда, когда у него позади была работа на Большом Каменном, Усть-

инском и Краснохолмском мостах и на строительстве МГУ. На Песчаных ему предстояло, как он пишет в своей книге, «не только смонтировать новые, невиданные строительные конструкции, но и освоить совершенно отличную от прежней технологию».

В книге это сказано в двух строках. Далее эти строки раскрываются в их технических и организационных подробностях, а я гляжу на обветренное лицо моего собеседника, на его седеющую голову и понимаю, сколько волнений, споров, переживаний стоит за деловитыми страницами его брошюры!

Когда 7-й квартал был построен, Алексей Митрофанович Коротеев и его семья получили квартиру в одном из новых корпусов. Мы разговариваем в этой квартире. На столе — китайские коробочки: память о командировке в Китай для передачи опыта. Когда мой собеседник объясняет особенно хитрые приемы монтажа, он берет в руки эти хрупкие коробочки, и мне почему-то вспоминается сцена с картошкой из «Чапаева».

Вслед за 7-м кварталом Новопесчаной Алексей Митрофанович строил 12-й квартал в 12-м экспериментальном квартале Новых Черемушек, осваивал монтаж жилых крупноблочных зданий, перенимал и совершенствовал методы, для этого применяемые на строительстве школы. («Школы строить легче! Меньше «начинки», — поясняет мой собеседник). Потом его бригада перешла на жилой массив в 11-м квартале тех же Черемушек — осваивала керамзитобетонные панели и метод монтажа домов с колес; работала на площадке 75-го квартала Хорошево-Мневники, где собирались дома из новых тонкостенных панелей. И так далее. И так далее. Как многие строители Москвы мой собеседник мог бы сказать о себе словами поэта: «Покой нам только снится!»

Это его бригада на выставке строительной техники собирала несколько секций экспериментального дома — уже не из крупных блоков,

не из крупных панелей,— дом будущего собирался из «коробок». Каждая коробка состоит из отделанных на заводе двух жилых комнат, или комнаты и кухни, или кухни и лестничной клетки...

А теперь Алексей Митрофанович, как уже говорилось, строит пансионат для москвичей на Клязьминском водохранилище.

Так в одной встрече и в одной биографии возникает вся история строительства и реконструкции Москвы — от тех дней, когда профессия монтажника была редкой и монтажники появлялись только там, где строились такие уникальные объекты, как мосты, до дней сегодняшних, когда монтажник — ведущая профессия в массовом строительстве жилых домов.

...Песчаные улицы можно было бы назвать улицами писателей — здесь живет немало моих собратьев по профессии; и улицами медиков — целый дом, где живут светила московской медицины, стоит в начале улицы; и улицами новаторов — здесь живут Александр Чутких и Валентина Хрисанова; и улицей строителей — об одном из них я уже рассказал, — всех не перечислишь.

Это, наверное, невозможно, но как было бы заманчиво устроить выставку, где в фотографиях будут показаны все дома, построенные теми, кто живет на этой улице, все больницы, которые вылечены ее медиками, все роли, которые сыграны ее артистами, все студенты, которые обучены ее профессорами, все книги, которые написаны ее писателями. Леса Дмитрия Терентьевича Ковалина и дома Алексея Митрофановича Коротеева заняли бы почетное место на этой выставке.

### «КОМЕТА», КСЕНОНОВАЯ ЛАМПА И «ЧУГУННЫЕ ШЛЯПЫ»

Прошлой весной в наш парк пришли строители. Не только мальчишки, которым до всего есть дело, но и пенсионеры, которым тоже до

всего есть дело, спорили о том, что именно воздвигается в парке.

Мальчишки утверждали, что сооружение будет иметь касательство не то к авиации, не то к космосу. Пенсионеры качали головами:

— Непонятно, но оригинально!

Уж очень необычными были контуры сооружения. Казалось, что это «нечто» состоит из одной крыши. Зато что за крыша! Два смело поднятых вверх треугольных крыла — хоть сейчас в полет! Когда была построена крыша, начали монтировать стены из стеклянных листов и тонких, почти незаметных переплетов. Дом из прозрачного стекла, сверкающего металла и светлого кирпича, опоясывающего его низкий фундамент декоративной полоской, оказался новым кафе — к слову сказать, покуда единственным на нашей улице.

— Хорошо у вас, — говорю я официантке. — А как называется кафе?

— Просто кафе! — говорит она.

— Кафе от столовой № 1, — добавляет другая.

— Скучно, девушки, — говорю я, невольно цитируя «Двенадцать стульев».

Впрочем, «скучно, девушки» можно повторить и подойдя к буфетной стойке. Здесь продаются сосиски свиные, яйца крутые, пирожки жареные, холодные. У сдобы уныло-черствоватый вид. Аппарат для варки кофе не действует, а кофе с молоком, который варят в титане, это типичный кофе «от столовой № 1».

Словом, пока что в прелестном кафе торгует зауряд-буфет. Жаль! Хотелось бы, приглашая сюда друзей, сказать не только: «Какое у нас на Новопесчаной красивое кафе!», но и добавить: «Как в нем вкусно кормят!»

Впрочем, сие от строителей не зависит! Оказывается, зависит. Красивое и удобное для посетителей кафе не устраивает тех, кто должен в нем работать: подсобного помещения нет, буфетчица едва может повернуться за стойкой.

— Со временем у нас в «Ко-

мете» будет неплохо,— обещает заведующая столовой № 1.

Оказывается, и название уже есть — «Комета»! И совсем не скучное. Недаром мальчишки утверждали, что тут сооружается нечто не то авиационное, не то космическое. В кафе с таким современным названием совестно будет торговать резиновыми пирожками.

И все-таки даже сейчас в этом кафе неплохо. Вечером оно светится в парке как огромный фонарь. За стеклянной стеной — молодые деревья, небо и ночные звезды. Здесь не нужно никаких других украшений. Впрочем, трест столовых собирается поставить сюда зеркальную горку. Будем надеяться, что на стеклянные стены не повесят картин в золоченых рамах, не закроют их плюшевыми занавесками.

Кафе, конечно, не главное новое сооружение в нашем парке. Все жители Новопесчаной твердо знают, где находится лучший кинотеатр Москвы. Это построенный в нашем парке широкоэкранный кинотеатр «Ленинград». Его преимущества неисчислимы. Во-первых, он рядом,

никуда не нужно ехать: наоборот, к нам теперь многие едут из центра. Во-вторых, все картины идут здесь первым экраном. В-третьих, в зале никогда не бывает душно. В-четвертых, со всех мест хорошо видно...

Не уверяйте жителей Новопесчаной, что «Ленинград» построен по тому же проекту, что и «Прогресс» на Ломоносовском проспекте, и, следовательно, «Прогресс» обладает теми же достоинствами! Мы не согласимся с этим. Мы вообще ревниво относимся к Юго-Западу, и хотя признаем, что там все современнее и больше, чем у нас, но зато на Песчаных тише, уютнее. Словом, мы любим свою улицу и любим ее ревниво. Вот и я хотел написать, что не «Ленинград» построен по проекту «Прогресса», а что «Прогресс» сооружен по проекту «Ленинграда». Локальный патриотизм бушует во мне, не считаясь с данными архитектурного справочника.

Ну, а если говорить серьезно, то у обоих кинотеатров одни и те же достоинства. К тем, что уже были перечислены, можно добавить современное внешнее и внутреннее

## Моя новая роль



ЭЛИНА

БЫСТРИЦКАЯ

*Малый театр*

Наш театр поставил новую пьесу греческого драматурга Алексиса Парниса. «Остров Афродиты» — современная социально-героическая драма, посвященная борьбе кипрского народа за свою независимость. Эта интересная пьеса дает возможность актерам раскрыть сложные характеры, проявить темперамент и мастерство.

Я играю в пьесе Кэт Паттерсон. Она принадлежит к поколению скучающих молодых людей — носителям весьма распространенной болезни современного общества на Западе. Кэт нравятся вещи, которые вызывают негодование и возмущение у всякого нормального человека. Несмотря на это, в ней есть какие-то здоровые ростки, которые приводят к сознанию того, что происходит вокруг. Однако она недостаточно сильна, чтобы найти новый путь в жизни, и не выдерживает тяжести сделанных ею открытий.

Мне, советской женщине, эта английская мисс, испорченная воспитанием и социальной средой, антипатична, но для актрисы такая роль представляет большой интерес...

оформление здания. (Проект коллектива в составе арх. Е. Гельмана, Ф. Новикова, И. Покровского и инженера М. Кривицкого. Кстати сказать, на зданиях «Прогресса» и «Ленинграда» этих сведений нет. И напрасно). Но у них один и тот же недостаток: неудобные выходы. Это частность, которую, впрочем, меня просили непременно отметить работники «Ленинграда».

Наш «Ленинград» строители сдали в эксплуатацию в январе 1959 года. В нем тысяча мест, когда демонстрируют обычные фильмы, и девятьсот, когда демонстрируют широкоэкранные. За все время работы не было случая, чтобы наш кинотеатр не выполнил плана.

— Хотелось бы посмотреть демонстрацию фильма из кинобудки,— говорю я Льву Ивановичу Боякову — техноруку театра.

— Ну что ж, пойдёмте в будку,— говорит он и налегает на слово «будка». Видно, я что-то не то сказал.

Конечно, не то.

Во-первых, как объясняет мне Лев Иванович, помещение, в которое мы входим, называется, если употреблять профессиональное выражение, «кинопроекционной камерой». А во-вторых,— это я вижу сам,— оно решительно ничем не похоже на кинобудку прошлых лет. Это большая светлая комната с окнами, которые широко распахнуты в

парк. Стены облицованы кафельной плиткой. Здесь стоят три современных кинопроекционных аппарата отечественной марки. И их устройство, которое дает возможность демонстрировать и обычные и широкоэкранные фильмы, и их кожух какой-то обтекаемой, я бы даже сказал, элегантной формы, который скрывает от меня, освобождая от необходимости их описывать, малодоступные технические подробности,— все это ничем не напоминает хорошо знакомые с детства киноаппараты.

Впрочем, одну черту сходства я нахожу. Над верхним отверстием в кожухе киноаппарата (вероятно, у него есть специальное техническое название, но бог с ним!) вьется голубой дымок — испарения углей, сгорающих в вольтовой дуге. Дымок, поднимающийся в вытяжную трубу, красив, но ядовит.

Правда, из трех аппаратов, установленных в кинопроекционной камере, дымок вьется только над двумя. На третьем аппарате проходит испытание новинка — мощная ксеноновая лампа.

Лев Иванович с энтузиазмом объясняет ее преимущества: нет вредных испарений от углей, обеспечивается ровная освещенность экрана и, самое главное, ксеноновая лампа — путь к автоматизации работы кинопроектора.

«Ленинград» работает в содру-

---

## ПТИЦЫ ЗАСЕЛЯЮТ ГОРОД

В городском ветеринарном отделе раздался звонок. Кого-нибудь из орнитологов просили срочно приехать в кафе-мороженое на площади Дзержинского. Там появилась какая-то необычная, впервые увиденная в Москве птица.

Через полчаса орнито-

лог Е. Ловцов был на месте. Он обнаружил, что эта птица — вальдшнеп...

Лесные птицы в самом центре Москвы, конечно, большая редкость. А вообще какие пернатые обитают в столице? Мы справились об этом у одного из лучших знатоков — научного сотрудника Дарвиновского музея П. Смолина. Сорок лет он изучает фауну столицы.

— В 1959 году в Москве удалось насчитать сто

сорок шесть видов птиц. В 1960 году это число возросло до ста пятидесяти семи.

И не удивительно. Москва становится городом-парком. Ежегодно на улицах, в садах и скверах города высаживают более трехсот тысяч деревьев и несколько миллионов кустарников. Сейчас в столице развешено двадцать пять тысяч дуплянок, синичников, скворечников и других птичьих домиков.

жестве с Научно-исследовательским институтом кино- и фотопромышленности.

Поэтому здесь и испытывается ксеноновая лампа.

Но это еще не все. Вот устройство, которое слегка напоминает артиллерийский затвор. Оно придумано здесь, в «Ленинграде», и позволяет мгновенно переходить от демонстрации обычного фильма к широкоэкранному. (А в «Прогрессе» уже применили его?). Современная цветная пленка на ацетатной основе жестче, чем пленка прежних лет. Она ломается и рвется. Киномеханики «Ленинграда» сделали нехитрое приспособление, при помощи которого увлажняют пленку непосредственно перед демонстрацией. (Интересно, додумались ли до этого в «Прогрессе»?).

— Картина «Отверженные» шла у нас два месяца, — говорит мой собеседник. — Мы могли ее сдать по третьей категории, попросту говоря, в утиль, а сдали по первой, то есть как новую...

Товарищи киномеханики кинотеатра, получившие «Отверженных» после того, как она два месяца шла на нашей улице! Если пленка ни разу не рвалась у вас во время сеансов и в зале не начиналось нетерпеливое топание ногами, знайте: о вас позаботились ваши товарищи из кинотеатра «Ленинград»!..

На прощание Лев Иванович показывает мне свою статью в журнале «Киномеханик». В ней идет речь о том, что рационализаторы «Ленинграда» придумали способ, как демонстрировать зарубежные фильмы, снятые по методу «каширования кадра» (который у нас не применяется), на уменьшенный широкий экран. «Такой способ демонстрации пока что существует только в кинотеатре «Ленинград», — с торжеством записываю я в своем блокноте.

Остается сказать, что в этот день у аппаратов работали Елена Александровна Пирогова, которую все зовут просто Леной, так как она лишь недавно после средней школы закончила школу киномехаников, и Мария Ивановна Чебодухина. Мария Ивановна — работник опытный, она недавно закончила вечернюю школу рабочей молодежи и носит звание «лучшего киномеханика Москвы».

Этому я не удивляюсь. Я с самого начала был уверен, что лучший киномеханик города Москвы работает в нашем кинотеатре.

Недавно к «Ленинграду» присоединили в качестве филиала старейший на нашей улице кинотеатр «Дружба». О нем только одна справка: здесь работают шесть киномехаников, из них четверо учатся в заочном институте, а один — в техникуме.

---

Самая распространенная в Москве птица — голубь. Подсчеты, проведенные минувшей осенью, показали, что стая сизарей насчитывает восемьдесят тысяч штук. На многих площадях появились голубятни-вольницы. Это причудливые домики на высоких столбах.

Голуби будут расселяться из центра в кварталы жилищного строительства. Архитекторы и орнитологи решают вопрос: как

устроить в новых зданиях ниши для стрижей?

Летом в Измайлове и на Всесоюзной выставке достижений народного хозяйства СССР поют соловьи. Однажды, в конце мая, жителей Озерковской набережной разбудило под утро кукование кукушки. А над Фрунзенской набережной летают белоснежные красавцы лебеди, «прописанные» на Чистых прудах. Совсем обычным явлением стали стайки уток над Мо-

сковой. Осенью во время перелетов в самом центре города, на Чистых прудах, появляется ежедневно сто — сто пятьдесят диких уток. Отправляясь на юг, они опускаются на гладь пруда, чтобы отдохнуть и подкормиться.

*Московский*  
**КАЛЕЙДОСКОП**

Конечно, это характерно не только для нашей улицы, но наша улица характерна для новой Москвы. Люди, которые работают на ней, изобретают, стремятся к новому, учатся, соревнуются.

Впрочем, чтобы эта в общем справедливая фраза не стала слишком общей, не станем применять ее ко всем.

Вероятно, если я зайду в универсальный магазин, расположенный на нашей улице, меня тоже познакомят с продавцами, которые учатся. Расскажут о соревновании, в котором участвует этот магазин. Но мне это будет неинтересно, так же, как мне были бы неинтересны сведения об учебе и соревновании киномехаников «Ленинграда», если бы я как зритель знал, что они плохо делают свое главное дело.

А как покупатель я про магазин Мосторга, который расположен на нашей улице, знаю это твердо. Мне случалось не раз слышать от соседей: «Поеду за ботинками на Хорошевское шоссе». «Съезжу за материалом на пальто на улицу Чайковского». «Поеду за тетрадями на Арбат».

Ни от кого и никогда я не слышал, да и сам ни разу не говорил:

— Схожу-ка я в универсальный магазин на Новопесчаной. Хороший магазин!

От работников торговли требуют, чтобы витрины отражали асортимент. Это единственное, в чем преуспел наш магазин. Его скучные витрины оформлены без вкуса и выдумки. Зато они вполне отвечают тому, что есть внутри.

За прилавком, где продают граммофонные пластинки, стоит хорошенькая девушка. Перед ней лежит захватанный руками куцый список долгоиграющих пластинок. Он не обновлялся уже полгода. Три четверти названий вычеркнуто.

— Это все? — спрашивают ее покупатели.

— Все,— отвечает, позевывая, девушка.

— Классики нет?

— Не бывает.

— Новинки не поступало?

— Не поступало.

— Когда будут?

— Неизвестно.

Вот и поговорили. На лице у хорошенькой девушки такая скука, такое отвращение к своей профессии, что она перестает казаться хорошенькой.

Недавно я вычитал в старой книжке, что неходовой товар москвичи называли когда-то «чугунными шляпами». Попробуй продай человеку чугунную шляпу!

Мосторг на Новопесчаной полон «чугунными шляпами», особенно в отделах галантереи и готового платья. Кто их делает? Но это уже не на Новопесчаной, утешаю я, патриот улицы, сам себя.

Будем справедливы: на Новопесчаной есть, к сожалению, не менее удивительное производство — артель, которая изготавливает шелковые, преимущественно оранжевые абажуры. Фельетонисты затупили перья, высмеивая этот атрибут мещанского убранства, продавцы хозяйственных магазинов, любящие свое дело, устали вопрошать местную промышленность: доколе же? Но каждый день артель, что в подвале дома № 4 по Новопесчаной улице, спешит подарить москвичам еще несколько сот оранжевых ужасов, распыленных на проволоке.

## УЛИЦА НОЧЬЮ

Как и на других улицах, на Новопесчаной есть свой свет, есть и свои тени.

Для того чтобы узнать не только о видимых, но и о невидимых тенях нашей улицы, я провел на ней ночь в обществе Вячеслава Ивановича Богоявленского, заместителя начальника 109 отделения милиции.

Капитан Богоявленский показал мне план Новопесчаной и всех прилегающих к ней улиц, пристегнул кобуру с револьвером и сказал:

— Пойдемте в обход...

Был субботний вечер. Фонтан в сквере уже выключили. В темной боковой аллее погас зеленый глазок, который горит здесь по субботам и воскресеньям.

Теперь я знаю, что это за глазок, а когда я увидел его в первый раз, то изумился: зачем занесло такси на самую узкую дорожку нашего парка? И тут я заметил другую странность: зеленый глазок горел не на переднем стекле, а в глубине машины. Оставалось предположить, что внутри сидит зеленоглазый циклоп. Разгадка оказалась простой: по субботним и воскресным вечерам в наш парк приезжает автомобиль, в котором смонтирована маленькая трансляционная станция с магнитофоном и хорошим подбором музыкальных записей. Радиоавтомобиль, который приезжает в наш сквер к фонтану, не заставляет, к счастью, вспоминать изречение Тувима, который говорил примерно так: «Великое изобретение радио. Повернул ручку и, слава богу, ничего не слышно». Передача хорошо подобрана, идет негромко и украшает сад музыкой.

Когда мы отправились в обход, музыка в сквере уже отзвучала, в кинотеатре шел последний сеанс, но на улице еще было много прохожих.

Проходим мимо кафе «Комета». Вячеслав Иванович бросает на него озабоченный взгляд, но, не дожидаясь моего вопроса, разъясняет:

— Нет-нет, и не думайте! Здесь хотя и разрешено к продаже легкое вино, никаких нарушений пока не было. Работу провели соответствующую, а главное — уж очень красивое кафе. Красота, она, знаете ли, заставляет себя вести культурно.

Наверное то же самое можно сказать про наш парк. Когда-то у пустырей, прилегающих к Таракановке, была недобрая слава: ночью не всякий решился бы прогуляться тут.

— Сейчас ничего такого не бывает, — объясняет Вячеслав Иванович. — Здесь можете спокойно находиться в любое время. Конечно, пришлось провести соответствующую работу. Все-таки неплохо бы поставить фонари, темновато в на-

шем парке, но все равно — порядок обеспечиваем.

Постовые милиционеры докладывают начальнику:

— Все в порядке. Никаких происшествий.

Однако Новопесчаная отнюдь не идиллия. На углу Вячеслав Иванович ловит смущенный взгляд немолодого человека, который переходит улицу. Тот вроде бы решает — поздороваться ему или не стоит.

— Ученый, — объясняет мне мой спутник, — редкого ума человек. А когда выпьет, такое творит, что сладу нет! Пришлось после последнего художества потребовать от руководителей его учреждения, чтобы с ним провели соответствующую работу. Вот он и поглядел на меня: хотел, видно, объяснить, что взял себя, наконец, в руки.

Около «Ленинграда», в котором, кстати сказать, отменено дежурство милиции, потому что порядок успешно поддерживается народной дружиной, Вячеслав Иванович знакомит меня с немолодым человеком отличного роста и с юным паренком.

— Наши дружинники! Это товарищ Леонтьев, — представляет он старшего, — работник одного из складов. Награжден часами за задержание опасного преступника.

Оказывается, бывают вечера, когда наша тихая Новопесчаная — не такая уж тихая! Впрочем, после того, как была поймана группа «работавших» здесь автомобильных воров («не местных», приезжих, — уточняет Вячеслав Иванович), особых происшествий не наблюдается.

Второй раз мы совершаем уже не обход, а объезд всех Песчаных на милицейском мотоцикле. В одном из дальних переулков на ступеньках дома, понурив голову, сидит женщина.

«Вот оно, кажется, происшествие, которое потребует нашего вмешательства», — думаю я.

Мотоцикл останавливается в нескольких шагах от сидящей. Мы

всматриваемся в нее. Она громким шепотом зовет кого-то:

— Скорее! Скорее!

Нет, это не происшествие: это всего-навсего последняя прогулка с малюсенькой кривоногой собачкой, которую ее хозяйка ожидает, сидя на ступеньках дома. Я, увы, сам владелец собаки — есть отчего понурить голову, особенно, если в момент прогулки рядом с тобой возникает милицейский мотоцикл. Ни один «собаковладелец» не знает, где именно разрешено гулять с собакой.

Едем дальше.

На углу площади Марины Расковой водитель мотоцикла резко тормозит.

— Товарищ капитан, нас зовут,— говорит он.

Пассажиры, выскочившие из такси, взволнованно машут руками:

— Милиция!

Мы круто разворачиваемся и подъезжаем к тем, кому нужна наша помощь.

— Как проехать на 5-ю Песчаную? Двадцать минут ищем!

— Следуйте за нами,— строго говорит капитан Богоявленский. И такси с приездными, лидируемое нашим мотоциклом, направляется к 5-й Песчаной.

— Происшествий не произошло,— подвожу я итог нашего ночного путешествия.

«Потому что была проведена соответствующая работа»,— вероятно, мог бы сказать мой спутник.

Над кусочком этой работы он приоткрыл для меня занавес, когда в нескольких концах улицы и парка показал работников милиции в форме и в штатском. Они ожидали предполагавшегося в этот вечер некоего человека, уже однажды пытавшегося нарушить ночной покой и добрую репутацию нашей улицы.

Мы прощаемся с Вячеславом Ивановичем глубокой ночью. Ему еще ехать домой: он живет на другом конце города.

— Спокойной ночи, товарищ капитан!

## УГОЛ СЧАСТЛИВОЙ И НОВОСЕЛОВ

Нашу улицу можно пройти из конца в конец минут за восемь-десять, а я никак не могу закончить своего рассказа об этом коротком — в две тысячи шагов — путешествии. Ведь мы еще не прошли по дворам... В летнюю пору дети самозабвенно качаются здесь на качелях; стучат мячики пинг-понга. В одном дворе гигантскую клумбу украшают бронзоволистные канны, полыхающие красными цветами. Эту клумбу видно даже с вертолета, который летит с Центрального аэродрома в Шереметьево. В других дворах цветники поскромнее, но нет на нашей улице ни одного двора без цветника, без травы, деревьев и кустов.

А с угла 5-й и 7-й Песчаных виден самый знаменитый в стране сиреневый сад, «рукотворный рай» садовода Колесникова. Правда, он находится уже не на нашей улице, но он от нас виден, и старожилы Песчаных по праву считают его одним из чудес района.

Впрочем, и угол 5-й и 7-й Песчаной тоже примечательное место. Здесь можно увидеть всю историю этого района Москвы, материализованную в вещественных образах: вот двухэтажный деревянный дом с отставшей штукатуркой, которая обнажила дранку. Еще недавно тут стояло много таких домов. Их снесли. Тот, о котором я говорю,— пуст. Жильцы выехали в новый дом. Опустел и барак рядом с ним — один из немногих последних барачков в нашем районе: недавно их тут были десятки.

На месте других снесенных барачков — семизэтажный красавец дом. Построенный совсем недавно, он всего на десять лет моложе стоящих рядом с ним корпусов, выстроенных из силикатного кирпича, и всего лет на шесть моложе домов, облицованных граненой плиткой, но выглядит намного современнее, чем его молодые старшие братья. Он словно делегат самых новых кварталов Москвы, командированный сюда для обмена опытом. Зна-



В. Арапов (Ленинград)

В. И. Ленин у крестьян

ВЫСТАВКА ДИПЛОМНЫХ РАБОТ  
СТУДЕНТОВ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ВУЗОВ СССР

ЖИВОПИСЬ



М. Касьянова (Рига)

Хохломские мастерицы



К. Геокчакян (Ленинград)

Каждое утро...

В. Крысин (Харьков)

Аэроклубовец





В. Воронков (Москва)

1. Девушка — строитель

Серия «жилищное строительство»

ГРАФИКА





3. Пеликаны



2. Дети около верблюдов



К. Калиничева (Москва)

Серия «в зоопарке»

1. Пингвины



чит, скоро снова будет в наших кварталах праздник новоселья.

Никогда не надоест быть зрителем и гостем на таком празднике. Новый дом — это так много для человеческого счастья!

Почему бы не назвать одну из Песчаных улиц Счастливой? «Я живу в районе Песчаных улиц на углу Счастливой улицы и переулка Новоселов». Какой отличный и какой точный по настроению адрес!

Первоклассникам, живущим на Новопесчаной, кажется, что улица, по которой они шагают каждое утро в школу, всегда существовала и всегда была такой, какая она сегодня. Но она еще будет расти и меняться вместе с ними. Она еще очень молода, наша улица.

Кажется, я кончаю свои заметки, которые хотел начать и закончить очень спокойно, объяснением в любви! Да, я люблю эту улицу, я полюбил ее больше с того дня,

когда спросил себя: что я про нее знаю? Но ведь вначале был задан и такой вопрос: нужно ли уезжать куда-нибудь, чтобы узнать что-то новое?

Кажется, мой товарищ был прав: уезжать не обязательно.

Нужно только на все окружающее взглянуть так, будто видишь это в первый раз.

Между прочим, это лучше всего удается, когда возвращаешься на старое место, побывав где-нибудь далеко. И я прерываю свое путешествие по собственной улице, чтобы уехать в другой и далекий город.

Я вернусь на Новопесчаную рано утром, в час, когда почтальоны на почте, постукивая, выравнивают пачки газет, когда в деревьях пересвистываются птицы, а в домах перекликаются будильники, и снова увижу: вот она какая необыкновенная, наша обыкновенная улица!

*Между строк*

#### ЖЕРТВА ПРИНЦИПАЛЬНОСТИ

Редактор издательства был так принципиален, что боялся перечитывать собственные предисловия.

*Между строк*

#### ХОЗЯИН И РАБ

Хозяином слова нужно быть до того, как его дал. Когда дал, нужно быть его рабом.

#### СОРАДОВАНИЕ

Писатель очень волновался за литературный успех своего однофамильца, на этом держалась его собственная известность.

#### РАСПОЗНАЛИ

Критик бойко выступал против бездарных романов, и все думали, что он талантлив. Но когда он выступил с разбором талантливого романа, все увидели, что он бездарен.

*Между строк*

# Робинзон на обитаемом острове

## ТЫ НЕ ОДИН НА СВЕТЕ!

Эти слова повторяла мне мать, когда я был еще ребенком. Они прочно вошли в мое сознание, и потом на протяжении жизни я все глубже постигал их значение.

— Ты не один на свете! — и сорванец должен был умерять крики, и грохот, и топотню, сообразуясь с тем, что другие хотят покоя...

— Ты не один на свете! Возле тебя люди. Как интересны они, как многому можешь ты научиться у них, как необходимы они тебе...

— Ты не один на свете — нет, не один! Тебя поддержат, тебя ободрят, тебе помогут, смело иди вперед...

— Ты не один на свете — значит, твой долг помогать тем, кто возле тебя, поддерживать их, заботиться о них.

Так от ребяческих лет шли со мной эти слова и пришли к самому главному смыслу: я не один на свете потому, что есть мой народ, составленный из таких же, как я, людей, и все мы вместе — великая и прекрасная сила, вне которой жизнь не только невозможна, но и бессмысленна.

Однако все предшествующие смыслы слов моей матери, начиная от того, что дурно шуметь, когда другие хотят отдохнуть, — уничтожены ли они этим вершинным смыслом?

Нет, они по-прежнему существуют.

Философ бы сказал, что они остались в «снятом» состоянии. Они перестали быть главными, определяющими нынешний социалистический день истории, но они не отменены.

Они, эти частные смыслы прекрасного пятилетия, звучат в нем даже когда мы думаем о строительстве коммунизма, то есть о самом возвышенном понимании общности людей, их равенства, их товарищества.

В нашем обществе нормы чести, законы вежливости, идеалы дружбы, любви, правдивости, заботливости к соседу, отвращение к эгоизму живут, не с неба свалившись, а — выработанные всем противоречивым развитием культуры долгих столетий, но освобожденные от мистифицированной формы и обращенные к новым условиям социалистического общежития, то есть к той всеобщности, которая доступна человечеству в нашем столетии.

Эти нормы, законы и правила получили новое обоснование, новую цель, но они существуют.

Для всех ли?

Я не буду говорить о всякого рода паршивцах — о преступниках, ворах, воришках... Я не специалист в криминологии. Это — особая область, в которой сцеплены тюрьма и педагогика. Впрочем, тут мне невольно приходится на память одно детское впечатление, сохранившееся от шестилетнего возраста.

В то время мать моя служила секретарем в камере мирового судьи в Петербурге. Это был участок, обильный мелкими жуликами, проститутками и т. п. И вот я помню: меня усадили в закуток между двумя шкафами, чтобы не мешал, а к столу судьи подводят сравнительно молодого оборванца, и судья строго и грустно глядит на него.

— Опять вы кошелек украли, — говорит судья. — Когда же это кончится?

Оборванец извивается спиралью и трет коленку о коленку:

— Вы же знаете, Юлий Михайлович, — говорит он аристократично, — что у меня клептомания. Меня надо не судить, а лечить.

Я не имею в виду также тех, которые научно утверждают, что больны спиртоманией и потому, покуда их не вылечат, имеют право хулиганить сколько и как угодно. Самое странное при этом состоит в поведении

окружающих. Если такой, с позволения сказать, больной вытворяет свои фортели, например, на улице (позвольте мне быть уверенным, что он в это время отлично понимает, что хулиганит, но — «я пьян и ничего не сознаю»), окружающие весьма часто не только не отвращаются от него с омерзением, а, наоборот, потешаются, как если бы видели, скажем, ломающегося медведя, и даже сочувствуют: эх надрался!

Не знаю, можно ли представить себе что-нибудь более оскорбительное для человеческого достоинства! И как невыносимо, когда вдруг видишь в таком скотском и жалком состоянии человека, которого привык уважать за его труды, за его ум!.. Не знаешь, как помочь ему, как увести его от этого оскорбительного хохота. Но зато как бы досталось ему от окружающих, если бы его безобразия помешали их личному спокойствию!

Я не хочу говорить ни о «клепто», ни о «спирито»-манах. Но поскольку и те и другие позорят нашу страну, не могу относиться к ним снисходительно. Речь пойдет не о тех и не о других. Я хочу поговорить о себе, о соседе моем по квартире, соседе моем по каюте, соседе в кино, в автобусе, в театре, на тротуаре... Словом, о нас с вами.

После войны я особенно полюбил этих моих соседей.

Теперь уже не в результате чтения книжек, а на личном опыте я познал их настоящую цену, как бы скромно и даже без всякой стилистики они ни были одеты и как бы сурово ни встречали они незнакомого человека.

Я знал, что вот эта закутанная, с авоськами и хитроватыми глазками женщина — не называть иначе, как Фефела,— бесстрашно тушила зажигалки на крыше;

что вот этот надменный и величественный старик принес под осколками зениток в медпункт раненого мальчика;

что такие же граждане, какие сидят сейчас против меня в метро, потеряли самых любимых, самых дорогих людей и продолжали ожесточенно трудиться во имя победы.

Да, много историй о трудной и самоотверженной жизни слышал я и многое наблюдал сам и убедился, что чем труднее, чем суровее обстоятельства, тем большую самоотверженность проявляли советские люди, чтобы добиться успеха или победы. И делалось это всегда во имя всех, то есть именно согласно высшему пониманию прекрасного пятисловия:

— Ты не один на свете!

Но жизнь полна противоречий, и диву даешься, как уживаются они в одном народе, в одном городе, даже в одном человеке.

Вот идете вы по Петровке в густой толпе и видите: против движения идет на вас гражданин. На вас? Нет, сквозь вас. Если вы не броситесь в сторону, вы погибли: она протаранит вас навывлет, как «Наутилус» пронзил враждебный корабль. Вот уже подлинно: она — одна на свете. Во всяком случае именно так она чувствует себя в эту минуту.

Вот гражданин ступает на мостовую и,

даже не глядя по сторонам, переходит улицу. Он совершенно один на свете. Он ведет себя так, как если бы кругом была пустыня. Пусть из-за этого его поступка столкнутся машины, пусть автобус налетит на столб, пусть задавят ребенка... Ему все равно: сторонись, я иду!

В Англии, где люди живут очень скучно и где народ в течение столетий выработывал культуру общежития, я наблюдал многое, что мне очень понравилось.

Вот, например, «зебра-кроссинг». В гигантском Лондоне не всюду и не всегда стоят регулировщики движения, на многих оживленных магистралах вы увидите их только в часы пик. Но зато там есть «зебра-кроссинг». Это — как бы полосатые коврики, положенные через улицу: белые клавиши, нарисованные по темному асфальту от тротуара к тротуару. Закон таков: если хоть один человек есть на «зевре», транспорт останавливается, как будто зажегся красный светофор.

— Значит, транспорт все время стоит? — спросил меня один москвич.

Отнюдь! На «зевру» ступают всегда сразу много пешеходов. Вы подходите к переходу, поджидаете минуту, а то и меньше, и, когда собираются человек десять-пятнадцать, ставите ногу на белый клавиш. Поток машин сразу останавливается, и группа пешеходов переходит улицу.

Из английских воспоминаний приведу еще одно. Я примостился на лестнице, ведущей к Трафальгар-скверу в Лондоне, чтобы сделать один из тех банальных снимков, без которых не обходится никакое путешествие: снять детшек, кормящих голубей. Я нацеливал мой фэд довольно долго, а когда отнял аппарат от глаза, увидел, что лестница, дотеле бывшая пустой, вдруг заполнилась людьми. Оказалось, они все ждали, пока щелкнет затвор, чтобы не пройти перед объективом и не испортить мне снимок.

Признаюсь, именно к себе я и забыл тут применить прекрасное пятисловие, что же касается лондонцев, то каждый из них выполнил его с честью.

Иные могут сказать: что это вы так про Англию, уж не низкопоклонство ли это?

Нет, это не низкопоклонство, а уважение к трудовым людям Англии. Ибо «зебра-кроссинг» придуман скорее не для, а против тех, кто ездит на машинах или верхом на лошадях, а фотографируют на улицах Лондона тоже не пары и не лорды, а простые трудовые люди вроде нас с вами.

Поэтому я и думаю, что все, что выработано любым народом ради блага и удобства простых людей,— хорошо и достойно подражания, если оно может пригодиться в нашей стране.

Мы часто еще проявляем бесцеремонность к соседям, ведем себя так, как будто никого вокруг нет и каждый из нас — один на свете.

Однажды ночью я был разбужен стрельбой, как мне показалось, крупнокалиберного пулемета. Грохот повторился, едва я заснул. Я оделся, вышел на улицу и через несколько минут опять услышал адскую пальбу, которая и днем была бы непристойна. Мотоциклист кружил вокруг квартала, но на этот раз с его

мотоциклом что-то случилось как раз у моего дома. Я воспользовался остановкой и подошел. Я был охвачен не столько возмущением, сколько любопытством, я хотел увидеть и услышать человека, который своего каприза ради будит среди ночи тысячи усталых людей.

Я спросил его как мог вежливее, находит ли он правильным свое поведение.

— А вы купили эту дорогу? — спросил он меня.

— Дорога эта принадлежит всем, а именно потому... — начал я...

— Ну и катитесь по этой дороге, чего пристаёте?

И он стал что-то нажимать и поворачивать в своем механизме.

— Однако люди хотят поспать, отдохнуть после работы.

— Я тоже! — И, вскочив в седло, он исчез в чудовищном грохоте и облаке дыма.

Я не успел сказать ему, что он не один на свете.

Впрочем, пожалуй, это было хорошо: несомненно, я получил бы ответ, который нельзя было бы привести в печати.

У моей старой знакомой, очень известной журналистки, есть в Москве комната, но фактически она бездомна и живет то у друзей, то в домах творчества, то в командировках. Дело в том, что ее соседи по квартире любят радио. Стекла дрожат, когда они наслаждаются гармонией полек и краковяков. По собственному опыту скажу, что письмо под эти звуки написать еще можно, но работать за письменным столом нельзя. Вот она и бродяжит на старости лет.

Пойти и сказать им, что они не одни на свете?

Давайте пойдем вместе, а то одному как-то не хочется.

Инструкция — вещь хорошая, во многих областях совершенно необходимая. Но бывают такие обстоятельства в человеческих взаимоотношениях, когда инструкцию издать невозможно, и следует полагаться только на сознательность людей. Из громадного количества примеров я хотел бы привести один, опять же вполне обыденный, так сказать «низменный» и все же показательный.

Вечером в предпраздничный день остановитесь возле кассы большого продовольственного магазина. Понаблюдайте за работой кассирши. По правде сказать, это нечто достойное удивления. Вот длинная очередь подает к кассе вальжную даму: фарфор в мехах. Глядя в бесконечность, фарфор диктует:

— Масло экстра триста граммов. Ветчина сто пятьдесят граммов. «Мишка на севере» триста граммов. Голландского сыра триста граммов. Орехов грецких четыреста граммов.

И еще названий пять-шесть в столь же дробных порциях.

Кассирша считает. Она помнит цены на все товары в молочном, гастрономическом, кондитерском и фруктовом отделах. Непонятно, но именно так! Она со скоростью арифмометра определяет стоимость каждой продиктованной порции, потом подбивает итог, потом высчитывает сдачу и отсчитывает деньги покупательнице. Если «фарфор в мехах» после

всего этого вдруг не вспомнит, что ей нужно еще двести граммов «Стратосферы», или не сообразит заменить голландский сыр доргобужским, то это уже хорошо.

А очередь ждет, переминается, тоскует...

Говорят, издать инструкцию о том, чтобы покупатели сами подсчитывали стоимость своих покупок нельзя, потому что всякие старушки и домработницы будут только путать. Возможно. Хотя эти же старушки, придя домой, весьма тщательно проверяют свои расходы и нисколько не путают. Однако я не об этом. Я — о «фарфоре в мехах». Ведь судя по мехам, «фарфор» знает четыре действия арифметики? Взяла бы карандашик и подсчитала, сколько стоят двести граммов «Стратосферы», а кассирше бы сказала сразу: кондитерский — столько-то, молочный — столько-то. Ведь видит, что люди ждут, торопятся, что кассирша измаялась, что в магазине теснотища... Ты ж не одна на свете, душенька!

Возможно, что тех, кто не привык считаться с соседями, все изложенное выше не заставит переменить их поведение. Может быть, формула «ты не один на свете», пусть она и кажется автору прекрасной, ничего им не скажет. Но я уверен, я знаю на опыте, а не из книжек, что наши советские люди отзывчивы, добры и великодушны, только не всегда сразу удается раскрыть в них эти качества. Иногда нужен подход.

Позвольте привести один пример в заключение.

Недавно я устроился писать в маленьком санатории в Крыму. По правде сказать, редко где мне было так удобно работать. Санаторий был переполнен, но люди, по стуку машинки узнавшие, что я тружусь, устроили вокруг моей комнаты «зону тишины», а Крым... Впрочем, уж точно известно, что если есть на земле рай, то это — Крым.

Был в санатории только один недостаток: вследствие переполненности и очень маленького штата уборщиц умывальные, душевые и т. д. не блистали чистотой и порядком. Мы с главным врачом придумали воззвать к самодельности населения.

Мы поехали в Ялту и купили там всяких щеток, полотенец, толстых мешковых тряпок, стараясь, чтобы все это выглядело как можно пестрее и красивее. Дальше дело было только за воззванием к населению. Как написать, чтобы произвело впечатление? Я предложил начать с пятисловия: «ты не один на свете», а потом уж расписать, как важно соблюдение чистоты для здоровья, и прочее.

— Нет, — сказал главврач, — это не пойдет. Нравоучительно. Народ, знаете, не всем позволяет его поучать.

После долгих творческих мук мы, наконец, написали такое:

Если вам неприятно  
оставлять после себя беспорядок,  
к Вашим услугам  
эти орудия  
чистоты

С трепетом ждали мы результатов.

И, представьте себе, подействовало! Люди смеялись, но вытирали пол великопеной

мешковиной, надетой на Т-образные держатели (как выразился один технолог), выкрашенные в желтый и голубой цвет, смывали мыло с умывальников и протирали их чистыми, в радужных полосах полотенцами. Подход оказался правильным. Умывальные записали.

Может быть, и эту статью, которая ведь тоже представляет собою «воззвание к населению», надо было написать иначе, с другим подходом?

Будет хорошо, если напишут еще и еще раз на ту же тему и по-другому и с иным подходом: тема для жизни весьма важная. И весьма даже интересная для размышления.

Действительно, почему иные наши люди — те самые, которые на работе проявляют замечательную силу коллективизма, самоотверженность, дисциплину, так эгоистично ведут себя в обыденных бытовых условиях?

Всем нам ясно, что прекрасное пятисловие в полной мере и без труда будет осуществляться, когда построим коммунизм. Ну, а при социализме оно разве невыполнимо? Или вернее сказать — выполняя его в большом, великом, осуществляя в истории самую совершенную коллективность, имеет ли право кто-либо из нас в повседневности забывать, что —

он не один на свете?

### «ТЫ ОДИН НА СВЕТЕ»

Когда говорят об одиночестве, вспоминают Робинзона.

Я не собираюсь разбирать знаменитый роман Даниэля Дефо, хотя это и следовало бы сделать, если принять во внимание, что он входит в дюжину наиболее распространенных у нас юношеских книг. Я хочу только выразить некоторые впечатления, которые он вызывает во мне.

Я думаю, что в неокрепшем юношеском сознании этот роман должен оставлять борозды, которые в наше время никак не нужны.

Борозда первая: вещи.

Вы помните, что весь роман наполнен перечислением и описанием всяких вещей, которые прибирает к рукам герой. Табачные плантации, тюки табака, шкуры зверей, товары для продажи, капитал в Лондоне, бусы и стекляшки для торговли с неграми, наконец, имущество двух погибших кораблей и всякая возня с вещами после того, как покинут необитаемый остров. С какой утомительной подробностью рассказывает автор о стаскивании вещей с кораблей, как бухгалтерски точно перечисляет он, в какие сундуки совал герой какие предметы и как не мог насытиться и все ездил и ездил на корабли, пока на них осталось только такое тяжелое, что один человек уже не в состоянии был поднять.

Борозда вторая: замки и запоры.

Множество страниц посвящено описаниям того, как герой устраивает себе дома — сперва основной, потом «загородный», и какие хитрости он применяет для того, чтобы в эти дома никто не мог влезть: первая стена, и вторая стена, и крыша, и убираться лестница, и наблюдательный пункт, и запасной выход, и пещера, и грот...

Борозда третья: запасы.

В хозяйстве всякая веревочка пригодится. Громадный склад в пещере, тайники по всему острову, по всем тайникам — склады. Запасные загоны со скотом, запасные амбары с зерном, запасные делянки посевов... Копит на черный день!..

Борозда четвертая: страх.

На протяжении всей книги Робинзон боится. Боится диких зверей, людоедов, пиратов, измен, нищеты... В любой момент на тебя могут напасть, — убеждает читателя автор, — у тебя могут отнять, тебя могут известить...

Борозда пятая: преданный слуга. Не только раб, но раб обожающий, боготворящий, готовый идти на смерть ради хозяина. Появление такого раба достигается путем облагодетельствования его: спасите дикаря от смерти, и он будет жить только для вас!

Все эти борозды легко соединяются в большой шрам на душе. Его лучше всего называть:

«Ты один на свете».

Скажут:

— Позвольте! Робинзон был один не на свете, а на необитаемом острове. Он попал в отчаянную беду, и неудивительно, что он тащил к себе вещи и устраивал дом-крепость.

Но дело в том, что он не попал ни в какую беду по той простой причине, что его не было. Его выдумал Даниэль Дефо, и только от Дефо зависело писать его жизнь так, а не иначе. Писатель же решил написать, во-первых, увлекательную, во-вторых, назидательную книгу. Героем этой книги он сделал не дворника, не военного, не правителя, а начинающего купца, который хочет разбогатеть. Он посылает купца в путешествие для покупки негров-рабов. Купец терпит крах: кораблекрушение. Он должен начинать все сначала, с пустого места, с необитаемого острова.

Это — увлекательно.

История того, как, начав с ничего, рачительный, трудолюбивый и скопидомствующий человек может устроить свое личное благополучие и стать властелином, — таково содержание книги.

Это — поучительно, во всяком случае для тех, кто именно в этом и полагал смысл существования. Таких — десятки миллионов, и потому «Робинзон Крузо», вышедший в свет незадолго до начала промышленной революции в Англии, пользовался таким гигантским успехом.

Пользуется он успехом и сейчас, и тоже в большой мере по такой же причине. Ибо людей, полагающих смысл своего существования в устройстве личного благополучия, — хватает еще на планете!

Я не знаю, как изложен трактат Даниэля Дефо «О совершенном английском купце», но несомненно, что кодекс стяжателя, беспредельного эгоиста, человека, лишенного каких-либо интересов, кроме собственной выгоды, тупого в своем упорстве, убогого в своих целях, — такой кодекс невозможно было бы изложить прямо, без косметики, без ханжеских обращений к богу, без забот о «долге совести». Но и этого было бы мало! Если бы все эти черты собственнической морали, все «добродетели» стяжательской эры человечества

были нарисованы столь же подробно и с таким же вкусом не на фоне пустынного острова, а в обстановке города или деревни, получилась бы карикатура или инфернальность вроде Иудушки Головлева, Чичикова, Собакевича. Представьте себе произведение, в котором несколько глав посвящено описанию замков на входной двери в квартиру героя! Впрочем, мог бы получиться и такой роман, как драйзеровская эпопея о Каупервуде, где вместо необитаемого острова — Нью-Йорк или Лондон, а вместо пещеры с запасами — особняк с картинной галереей.

Нет, не Робинзону пришлось прибегнуть к стяжательству и насилию, чтобы спасти себя от гибели на необитаемом острове, а писателю Дефо пришлось прибегнуть к необитаемому острову, чтобы спасти своего героя от обвинений в стяжательстве, в эгоизме и в скудости мысли!

Он сделал это с тем большим успехом, что в число способов личного обогащения включил труд, чем, однако, никак не погрешил против официальной буржуазной морали, ибо она всегда восхваляла трудолюбие не менее, чем бережливость или строгое соблюдение деловых обязательств, что и называлось честностью. Ведь хорошо известно, что эксплуататоры и стяжатели далеко не всегда лодыри и лентяи, и особенно не были таковыми на заре капитализма!

Я хочу привлечь внимание читателя к еще одной черте Робинзона.

Может быть, вы помните, что, обирая первый корабль, он заметил шкафчик, в котором нашел дюжину хороших вилок и ножей и деньги «частью европейской, частью бразильской серебряной и золотой монетой, всего до тридцати шести фунтов стерлингов». Пересчитав деньги со свойственной ему тщательностью, Робинзон произносит проникнутый величественной грустью монолог о том, что злато для него — ненужный хлам и его не стоит «спасать», то есть прикарманивать.

Далее он презрительно отворачивается и уходит?

Отнюдь!

Сказав монолог, он бережно заворачивает деньги в кусок парусины и тащит к себе вместе с дюжиной хороших вилок и ножей.

Во втором корабле он нашел тысячу сто серебряных восмериков, шесть золотых дублонов и слитки золота весом около фунта.

Совершенно как и на первом корабле, он произносит и тут слова о злате как о «ненужном соре», не представляющем для него никакой ценности. И потом сообщает:

«Тем не менее я принес эти деньги в пещеру и спрятал...»

Когда на острове были замечены жители с соседних островов, Робинзон колеблется, имеет ли он право уничтожить чернокожих. Он произносит множество прекрасных слов о человеколюбии и христианском милосердии. И потом убивает чернокожих десятками. Правда, предвзвешенно он приводит себя в состояние «священного» гнева против них, доказывает себе, что это не люди, а чудовища дикости и кровожадности, то есть использует все те аргументы, которые нам известны из

практики колониализма, в частности из недавних событий в Африке, но факт остается: красивые монологи и мерзкие убийства<sup>1</sup>.

Когда читаешь «Робинзона Крузо», невольно вспоминаешь другой роман, в котором похожая ситуация: «Таинственный остров» Жюль Верна. Я не буду сравнивать литературные качества этих двух произведений: они несравнимы. Но посмотрите, как бедно и уныло философское содержание романа Дефо («Надейся на бога и сам не плошай») и какая глубокая, светлая гуманная идея лежит в основе произведения Жюль Верна!

Даниэль Дефо сделал все, чтобы придать правдоподобие своей робинзонаде. Он не брезговал даже прямой мистификацией, когда выпустил роман без своей фамилии, а в предисловии «от издателя» заверил читателей, что необычайные приключения записаны самим человеком, их претерпевшим. Жюль Верн никого не пытался обмануть, он не скрывал, что написал фантастический роман. И однако в его фантазии куда больше правды, чем в «хроникальном романе» Даниэля Дефо. Правды, а не правдоподобия!

Человек не один на свете — такова главная правда романа Жюль Верна. И именно потому, что он не один, что он всегда «вместе», ему не страшны коварство случая и враждебные силы природы. Попав в условия первобытности, люди преодолели ее. Потому что они люди! Их разум прекрасен в своей мощи. Знание может все.

Следить за тем, как маленькая группа людей, лишенная инструментов, оружия, запасов, пищи и одежды, побеждает стихию и превращает необитаемый остров в культурную страну — поистине увлекательно. Никаких мыслей о собственности — о вещах, о запорах, о запасах не возникает, когда читаешь этот великолепный роман. В противоположность унылому, тупому и упорному коммерсанту Робинзону с его бухгалтерией выгод и потерь инженер Сайрус Смит покориет читателя живостью ума, остроумием решений, чистотой мыслей, любовью к людям, огромными знаниями, широтой кругозора. И как прекрасно, что он не один, что он — член коллектива, что люди вокруг него самоотверженны, добры, благородны, что их обуревают большие и хорошие порывы души!

Оторванность от мира не сделала этих людей робинзонами! Они ничего не таскают с кораблей, их не занимают «дюжины хороших вилок и ножей». Автора интересует не то, сколько и какие вещи герои приобрели, а как они эти вещи и зобрели. Сайрус Смит и его друзья — представители человечества девятнадцатого века. И вот они исследуют

<sup>1</sup> Французский журнал «Пари-матч» борьбу конголезского народа против угнетателей называет «черной яростью». Он пишет, что Конго якобы оказалось отброшенным на сто лет назад. Он стремится разжечь тот самый «священный гнев» против людей черной кожи, который возбуждал в себе Робинзон. «Снова звучит дробь африканского барабана», — пугает журнал. — «Вид крови пробуждает примитивные инстинкты чернокожих...» Словом, еще немного, и «дикари» начнут «пожирать белых», а значит, уже сейчас можно стрелять в них — «во имя человеколюбия!»

недра своего острова, выплавляют железо, добывают соль и серу, устраивают водяные и ветряные двигатели, проводят дороги, словом, создают цивилизацию и в два-три года проходят путь, пройденный техникой за века.

Они даже «робинзона» превращают в человека!

Айртон, проживший в одиночестве на острове много лет, сделался дикарем, зверем, но коллектив людей снова возвращает ему человеческий облик, человеческое достоинство.

Навряд ли Жюль Верн имел в виду полемизировать с Даниэлем Дефо, когда рисовал образ этого одичавшего в одиночестве моряка. Скорее он исходил, во-первых, из документальных данных о судьбах так называемых «марунов», провинившихся матросов, которых оставляли на необитаемых островах и которые обычно гибли, во-вторых, — мне думается, — из своей глубокой уверенности, что сила человека в коллективе, что одинокий человек, даже такой гениальный, как капитан Немо, неизбежно приходит к трагическому концу.

Вы помните прекрасные страницы, посвященные прощанию капитана Немо с человечеством? В мировой литературе не много найдется сцен, написанных с такой силой и так проникнутых духом гуманности.

В гигантской пещере над неподвижной водой подземного озера выступает корпус «Наутилуса» — стальное веретено в 75 метров длиной. Потoki ослепительного света вырываются из его носовой и кормовой части. Лучи превращают базальт пещеры в алмазы. Пилоны, арки, карнизы пылают, как будто в них скрыт огонь. А внутри подводного корабля, в зале, наполненном бесценными сокровищами — творениями человеческого гения, — умирает капитан Немо. Вождь сипаев, борец за осво-

бождение своей родины Индии от власти английских колонизаторов, человек, потерявший все, что он любил, и обрешкий себя на уединение в глубинах океана, обращается в свои последние часы к представителям человечества с просьбой судить его жизнь и его деяния. Он верит в правду, верит в справедливость, хотя жизнь его была сломана ложью и подлостью врагов. Он рассказывает о себе, ничего не тая. И в конце своей исповеди произносит слова, которые могут служить девизом всего романа, а в сущности и всего творчества Жюль Верна:

— Одиночество, оторванность от людей, — говорит капитан Немо, — участь печальная, непосильная... Я вот умираю потому, что вообразил, будто можно жить одному!...

## ЧУВСТВО ЦЕЛОГО

Обе книги, о которых шла речь, — и «Робинзон Крузо» и «Таинственный остров» — созданы творческой фантазией писателей. Мне хотелось бы вспомнить еще одну книгу, на этот раз лишенную всякого вымысла, документально точную. Она посвящена отношениям между человеком и обществом в нашей социалистической стране.

Казалось бы, какие уж тут отношения, если почти три года люди были вне общества? Навряд ли какому-нибудь литератору пришло бы в голову воспользоваться столь странным сюжетным приемом, чтобы развернуть эту тему. Его обвинили бы в нелепейшей изысканности: вместо того чтобы бросить своего героя в пучину человеческого моря, он вздумал отправить его в море буквальное, да еще арктическое, да еще под самый Северный полюс!

Однако, вероятно, капитан К. С. Бади-



ВЛАДИМИР

ЭТУШ

Театр Вахтангова

Моя  
новая  
роль

Когда Анатолий Софронов прочел нам свою новую пьесу «Гибель богов», посвященную освободительному движению колониальных народов, она сразу же привлекла наш театр своей острой злободневностью.

Режиссер Евгений Симонов нашел очень интересный ключ к этой пьесе. У зрителя создается ощущение, что он сидит в цирке, а все события разворачиваются как бы на мировой арене. Театр словно оглядывается из будущего на пройденные этапы — капитализм, колониализм...

Я играю Дэвида Купера, американского дельца, беспринципного человека, для которого нет ничего святого. Вот что Купер говорит о Советсах: это сильный противник, он всюду проникает, но не берет процентов — у них другая психология... Чтобы не отдать народам Африку и Азию, надо любимыми способами внедряться в экономику зависимых стран, покупать, кого можешь, а если надо, то и продавать, продавать кого угодно, и даже друзей.

Мне хочется показать пройдоху и циника, который прекрасно понимает, что рано или поздно наступит «гибель богов», но всеми силами старается оттянуть неотвратимый крах и пытается, пока «еще не все потеряно», как можно выгоднее для себя использовать существующий порядок вещей...

гин, написавший книгу о дрейфе корабля «Георгий Седов», меньше всего думал решать литературные проблемы и, может быть, вовсе даже не имел в виду тему личности и общества. Да и вообще он не писал романа. Он изложил события дрейфа. А получилась одна из самых интересных книг, написанных о людях, которые оказались отрезанными от мира.

«Опыт был учителем тех, которые хорошо писали» — правило Леонардо да Винчи, имеющее общеобязательный характер, к чему бы оно ни относилось — к научным трудам, к художественным романам или даже пьесам для театра, оправдалось и здесь, в мемуарах полярного капитана, молодого человека тридцатых годов нашего столетия. Опыт Константина Бадигина богат и простирается далеко за пределы кораблевождения в высоких широтах или организации зимовки корабля в Арктике: он имеет гораздо более широкое общественное значение.

...Пятнадцать человек плывут вместе со льдами — год, два, три. Кто более оторван от мира, чем они? Кто в более жестоких условиях? Кто более зависит от стихий?

Казалось бы, все должно быть направлено только к спасению своей жизни, которой непрерывно грозит опасность. Все помыслы должны быть лишь с тем, чтобы выбраться из ледовой мельницы!..

И вот, когда представляется возможность покинуть корабль для приветливого тепла Москвы, они остаются. Никто не приказывает им. Но это совсем не легко. Они вовсе не каменные, не железные — у одного ревматизм, у другого ребятишки дома, третий впервые в Арктике, да еще после солнечной Одессы... Каждому трудно решиться, однако они решаются. Их капитан молод, и, хоть в его биографии немало смелых поступков, он тоже впервые командует судном в такой обстановке.

Сколько несбывшихся надежд! Вот проходит зима, и к ним на выручку пробивается ледокол, чтобы вырвать их корабль из ледяного плена. Через месяц-полтора они — дома, все готово, чтобы закончить плавание. Но вывести корабль невозможно, и ледокол уходит, уводит другие корабли, а они остаются. Прощальный гудок, они глядят туда, где скрылись суда. Еще год зимовать!

Вот идут им на помощь еще раз. Они готовят машины, красят и чистят корабль, возле своих камельков при свете коптилок мечтают о предстоящем возвращении, но... пробиться к ним невозможно. Они снова одни... Еще год зимовать!

Самолеты привезут им газеты, фрукты, письма родных, ставших вдесятеро роднее от разлуки. Они готовят аэродром, радируют перененных требующихся предметов. Погода портится. Самолеты не прилетают.

Опасностей и впечатлений довольно, чтобы заполнить все часы, всю душу. Во всяком случае их хватило бы на двадцать пьес и пять романов, полных метелей и мрака, где с реальностью были бы изображены страшные переживания, сомнения, отчаянье... Любителям такого рода психологии было бы где разгуляться. Да и самую жизнь на корабле можно было бы изобразить как цепь ужасающих со-

бытий, как постепенную гибель людей, повергнутых в бездну одиночества, брошенных в бедствия, бороться с которыми они не могут.

А перед нами — одна из самых оптимистических книг, герои которой стали героями в жизни. Тень грусти или трепет сомнения лишь изредка, лишь мимоходом проскальзывают в ней: это то, что всегда подавлялось и всегда сменялось бодростью.

В чем же тайна такого оптимизма?

Это тем более важно обдумать, что автор вовсе не уклонился от описания тяжелой обстановки экспедиции, совсем не пытался затушевать некоторые неудачные стороны ее организации. Книга никак не похожа на сценарий веселого реву, где все идет как по маслу. Автор вполне правдив, вполне реалистичен.

Может быть, люди эти — герои от рождения и, следовательно, как таковым, им надлежит плевать на опасности и лишения? Нет, они обыкновенные русские люди, такие, как все мы. Почему же они столь героичны? Почему они столь дисциплинированы?

Разрежьте целое на кусочки, выделите одну какую-нибудь деталь, углубитесь только в нее и забудьте об остальном — какие искажения грозят вам! Сколько ошибок происходило и в науке, и в литературе, и в жизни каждого человека именно оттого, что детали заслоняли целое, за деревьями не был виден лес, и человек или пугался, или приходил в отчаяние, или начинал громоздить Пелион на Оссу, и получалось уродство! Вероятно, одна из черт большого человека — никогда не терять масштабов явлений и, погружаясь в подробности, прищуренным глазом четко видеть всю огромную картину, все целое.

Этим чувством целого обладали капитан Бадигин и его спутники, когда они дрейфовали во льдах. Трудности и опасности каждого часа, как бы велики они ни были, не превращались для них в самое главное, в единственное.

Отрезанные от мира, они видели себя одним из передовых отрядов своей страны Обреченные на тысячи часов полярной темноты, они воспринимали эти часы лишь как небольшую часть большой и светлой своей жизни.

Что же двигало этих людей на научные подвиги?

Чувство ответственности перед Родиной. Об этом чувстве Бадигин пишет часто в своей книге. Мысль о стране, посланцами которой они являются, никогда не покидала седовцев. Сделать для нее возможно больше, не потерять ни часа пребывания там, где почти никто еще не бывал.

Таково отношение людей к социалистическому обществу, из которого они вышли и к которому принадлежат.

Но это отношение не односторонне. Руку страны, заботливо поддерживавшую их, седовцы чувствовали во время дрейфа. Это общеизвестно. Однако следует подчеркнуть одно обстоятельство.

Отрезанные от Родины, члены общества перенесли основные общественные навыки и отношения туда, в ледовую безлюдность. Они вели ту же идейную жизнь, что и вся страна. Они организовали как бы оазис социалисти-

ческого общества во льдах. Они это сделали, а раз так — они получили обстановку, в которой невозможно было никакое отчаяние, никакое безделье.

Отправляясь в свою антарктическую экспедицию, Ричард Бэрд среди другого снаряжения предусмотрительно захватил дюжину прочных смиренных рубашек. Седовцы смеялись, когда Бадигин рассказал им об этом.

Какова мораль этого плавания и этой книги?

«Героизм наших людей заключается в том, что они, эти люди, не только не находятся в конфликте с обществом, но, наоборот, находят в обществе силу, поддерживающую их, и цель, ради которой можно перенести любые лишения.

Целое. Цель. Вот что должен видеть человек всегда, в какие бы условия он ни попал.

А наша цель и то целое, к которому мы принадлежим, прекрасны. Сорок три года огромный народ воздвигал это целое. Можно ли позволить, чтобы отдельные люди, одиночки, лишённые понимания этого целого, — покушались на его красоту, на его чистоту и своим эгоизмом искажали его светлый облик?!

Чувство целого — это своего рода витамин, необходимый для душевного здоровья человека.

Его отсутствие делает беззащитными слабые стороны души. Человек, потерявший понимание общенародных целей, переставший видеть вещи в их развитии, разучившийся сравнивать минувшее с достигнутым сегодня, — словом, тот, кто утратил государственное, историческое зрение, — тот легко может заболеть болезнью, которую я назвал бы так:

## ОБЫВАТЕЛЬСКАЯ ЗЛОБА

Недавно в редакции одной из центральных газет мне показали пачку писем от читателей по вопросам поведения в обществе. Там я нашел много очень важного и интересного, такого, что показывало, как горячо интересуются наши люди этим вопросом. Тут были и соображения о том, как следует девушкам вести себя на танцплощадке, когда их приглашают танцевать, как должны одеваться молодые люди, когда они идут в театр, хорошо ли, что школьницы иногда ходят в брюках, поверх надевают юбки, вежливо ли двигаться по левой стороне тротуара, удобно ли свистеть в гостиницах или в коммунальных квартирах, почему у нас часто опаздывают приходиться к назначенному сроку, забывают поздравить с днем рождения и т. д. По правде, я был приятно удивлен этому потоку советов, пожеланий, критики и благих примеров в области, к которой, как мне казалось, у нас не очень-то большой интерес. Я ошибался: интерес огромный.

Среди этих писем я встретил и очень печальные — они пришли от людей, находящихся в стесненных жилищных условиях, где часто возникают дурные отношения между соседями. Их вызывает непрестанное столкновение противоречивых требований: один хочет поспать, другой поплясать, у одного девушки, которые не могут не бегать и не шу-

петь, другой стар, и его раздражает всякий шум...

Одна пожилая женщина пишет:

«...Когда я стала просить соседку, чтобы приемник потише включили, чтобы ночью не шумели, то она мне ответила: «Скорее уйдешь на Васильевский поворот».

У нас на Васильевском повороте находится кладбище.

Группа москвичей, живущих в общежитии, прислала коллективное письмо, в котором сообщается:

Вот поймите, каково жить одиноком без детей и семейным без детей, потому родители своих детей с семи часов утра выталкивают из комнаты в коридор с велосипедами, они начинают кататься что есть силы да привяжут игрушку, автомобиль, и начинается грохотанье целый день — с утра до позднего вечера.

А родителям нельзя сказать, они отвечают: а куда я его дену, комната тесная, пусть гуляет в коридоре, а их там соберется человек десять, и начинается кто во что горазд.

Родители так отвечают: «Не господа, поживите и так. Это — общежитие, что же вы хотели тишину какую-то. Идите в квартиры и живите там...»

Я хорошо представляю себе обстановку, которая описывается в этих и во многих других письмах: ведь я сам стал жить в отдельной квартире только когда мне стукнуло 53 года, так что на собственном опыте успел познать все сладости коммунального бытия. Но я держался и не «заболел». Хотя мне приходилось тем более трудно, что мое рабочее место — дома. Я был твердо уверен, что жилищные беды будут побеждены, что партия не примирится с нехваткой жилья.

Я решил уберечь себя от беды куда более страшной: от обывательской злобы. Эта злоба ослепляет человека, он перестает разбираться в окружающем, и он может пропасть, опуститься, погубить себя. Как я себе представляю анатомию обывательской злобы?

Ею может заболеть даже хороший, но нестойкий человек.

Это — дурная болезнь, она подкрадывается постепенно, незаметно, без температуры и сыпи.

Вот у человека неприятности, неудачи, затруднения... Это ведь бывает, это может случиться с каждым. Он становится нервным, все его раздражает, и прежде всего — окружающие. Но ведь они тоже люди, у них тоже есть трудности и заботы... Они обижаются. В ответ на эту обиду он злится и готов уже перестать разговаривать... Так создается почва для заболевания. Потом наступает следующий этап. Человек еще не делает ничего дурного своим соседям, однако он уже не без удовольствия прислушивается к слухам о том, что они плохие люди или что им почему-либо плохо. Исчезает главное условие общественного здоровья: благожелательность к другим. Человек постепенно сползает к ужасной беде: он начинает думать, что все люди — враги. Так он опускается к идтизму капиталистической жизни. Дальнейшая его судьба может быть трагической: он становится обывателем, он пышет злобой, его разжигает зависть, он отдается во власть мечтаниям о том, как богатеет и возвышается, а «враги» его, наоборот, терпят неудачи и несчастья...

Тут ему и конец!

Чтобы не погибнуть, важно вовремя распознать болезнь.

Первый шаг на пути к обывательской злобе состоит в том, что человек теряет объективность. Он отмахивается от всякого широкого рассмотрения вопроса, как бы говоря: все это — теория, а моя жизнь — практика, я не могу философствовать, пока другие устраивают свои дела.

А как только человек теряет широкий, объективный взгляд на вещи, ему начинает казаться, что такого взгляда вообще никто не имеет, что все притворяются, будто они смотрят на мир широко, по-партийному, а на самом деле только и норовят организовать себе сладкую жизнь.

Вот и кончился человек! Вот и родился обыватель!

Между тем обратимся хотя бы к жилищному вопросу, и на его примере посмотрим, как может выглядеть широкая, необывательская позиция.

Я бывал за границей, в странах капитализма. Я видел, как живут там богатые люди. Это — ужасающая, немыслимая разнузданность, когда дворцы, особняки во много десятков комнат стоят пустыми в течение многих лет, потому что их хозяева проводят время в других своих дворцах и особняках; когда в домах богатей немыслимая роскошь отделки, часто соединенная с безвкусицей, меняется чуть ли не каждый год в зависимости от капризов моды; когда внутри помещений устраиваются громадные плавательные бассейны или беговые дорожки, не говоря уже о зимних садах и оранжереях...

С другой стороны, мне приходилось посещать дома рабочих и интеллигентов во Франции, в Англии, в Японии, в ГДР... Я вспоминаю, например, сверхскромную квартиру под самой крышей в Лондоне, где принимал

нас, советских литераторов, известный писатель Олдридж, вспоминаю маленький, бедный домик крупного английского журналиста Айвора Монтегю... Могу сказать ответственно: наши литераторы, даже куда менее знаменитые, живут в условиях значительно лучших.

Я бывал в домах рабочих в Йокогаме, в Майдзуру, в Глазго, в Уэллсе. Тяжело вспоминать об этом! Трущобы — не миф, не сказка, они — реальная жизнь многих миллионов людей!.. Особенно страшно смотреть на детей, живущих в этих домах! Нельзя себе представить, как много больных детишек видел я во время моих путешествий по Западу и по Японии!

Но главное во всем этом — полное отсутствие надежд на то, что будет лучше! Чего-нибудь, хоть отдаленно напоминающего наше развернутое наступление на жилищную нужду, я не видел нигде.

Когда глядишь на любой советский город, прежде всего видишь краны. Потом — стены возводимых домов. Километры стен: да, это — подлинная атака! Стройные бесконечные ряды новых домов движутся по всей стране в великом походе за удобную, хорошую жизнь.

Я помню, как в Кремле открылось Всесоюзное совещание строителей. Оно открылось речью Никиты Сергеевича Хрущева, которую следует считать поворотным моментом в истории нашего градостроительства. Две главные темы, которые, в сущности, представляли собою две стороны одной и той же проблемы, были развернуты в этой речи. Во-первых, мысль о том, что архитекторы должны строить полезное, а не декоративное. Во-вторых, что надо отказаться от кустарных методов стройки и перейти на массовое индустриальное строительство, основой которого должен быть сборный железобетон. Со страстью и глубоким знанием дела убеждал



ТАТЬЯНА  
ЛАВРОВА

МХАТ

*Моя  
новая  
роль*

Я работаю в театре второй сезон. Еще будучи студенткой четвертого курса школы-студии имени Немировича-Данченко, я сыграла роль Мэри Меррей в пьесе А. Кронина «Юпитер смеется», а после окончания школы получила роль Нины Заречной в «Чайке», которую театр поставил к юбилею Чехова.

Я мечтала сыграть современницу и рада, что мне поручена роль медицинской сестры Кати в пьесе С. Алешина «Точка опоры», которую ставит наш театр.

Катя — хорошая советская девушка с незаурядным умом и цельным характером. Ее личная жизнь сложилась неудачно, но Катя достойно встречает все трудности и горести и с честью выходит из них.

Сильная натура помогает девушке выдержать тяжелые испытания, ее характер от этого только крепнет, и она пересматривает свои позиции в жизни.

Что выйдет из этой роли, сказать сейчас трудно, об этом будут судить зрители. Но если мне удастся правдиво показать становление характера молодой советской женщины, столкнувшейся с большим горем в жизни, я буду счастлива...

Никита Сергеевич архитекторов и строителей бросить рутину, обратиться к нуждам народа, организовать грандиозный поход за жилье.

Это было почти что вчера. А что мы видим сегодня?

Идеи партии были с энтузиазмом восприняты строителями. Наступление началось по всем фронтам сразу — от постройки новых цементных заводов до создания предприятий, почти автоматически выпускающих железобетонные детали для строительства зданий. Проектные мастерские срочно стали готовить чертежи домов по новым принципам. И вот начали расти кварталы, районы, целые города со скоростью, доселе небывалой.

За семилетку будет сдано жильцам 660 миллионов квадратных метров.

Другими словами, по три квадратных метра в среднем на каждого жителя СССР!

Шестьсот шестьдесят миллионов! Пятнадцать таких городов, как Москва! Или сто таких городов, как Горький!

Значит, если объективно, по-партийному взглянуть в положение с жильем в нашей стране, мы увидим:

у нас нет жилищной роскоши и излишеств, нет вопиющей социальной несправедливости в пользовании жилым фондом. У нас все силы государства направлены на то, чтобы в ближайшие годы вывести из жилищной нужды весь народ, без всяких исключений — в Москве и на окраинах, в городе и в деревне, людей высокооплачиваемых и тех, кто получает самую малую зарплату.

Можно ли как-нибудь иначе решить эту проблему по-справедливому, достойно социализма? Думаю, что нет. Ибо вселять в квартиры к академикам, конструкторам, руководителям хозяйства посторонних жильцов значило бы решительно помешать им работать и — главное! — ничего реально не добиться, так как путем утеснения можно было бы выжать ничтожное количество жилплощади.

Такова объективная, партийная, широкая точка зрения на жилищную проблему. Если стоять на этой позиции, невозможно заболеть обывательской злобой, то есть пасть до уровня обывателя. Если стоять на этой позиции, то и в тесном жилье можно установить достойные, человеческие отношения между людьми.

Мысль об общем, о более важном, о более крупном, чем твое частное, личное, исключает заблуждение обывательской злобой, как витамины исключают заблуждение цингой или пелагрой.

## НЕЛЬЗЯ ЖИТЬ БЕЗ БОЛЬШИХ МЫСЛЕЙ!

Вспомните время войны и учитесь у этого времени самоотверженности и благородству. Тогда у всех была одна большая, великая идея — идея освобождения Родины от нашествия фашистов. Во имя этой идеи люди отдавали свою жизнь на фронте и не жалели своих сил в тылу. И как часто можно было видеть братскую помощь одного человека другому, заботу посторонних людей друг о друге! Особенно это проявлялось по отношению к детям.

Я помню, как в одном доме, где жили эвакуированные и семьи мобилизованных, матери, которые все работали на заводах, так распределили свои выходные дни, ночные и дневные часы работы, что всегда одна или две были дома. Они брали на себя заботу обо всех детишках и при помощи стариков устроили нечто вроде детского дома, правда без помещения и без всяких ассигнований. Но это был выход. И он был основан только на сознательности и добром отношении друг к другу. Я уверен, что именно большая мысль о трудных днях Родины, о том, что в эти трудные дни бросать завод нельзя, породила эту кооперацию, в которой, конечно, никакой возможности возникновения склоки быть не могло, хотя была теснота, был шум, была усталость, были острые нехватки в самом необходимом. Большая мысль о том, что усилие всех помогут победить и покончить с трудностями, окрыляла всех.

Я думаю, что без больших мыслей жить в нашем обществе вообще невозможно. Вся жизнь нашего общества устремлена к ясным и большим целям. Это особенно ярко видно именно сейчас, когда капиталистические руководители яростно ищут, какие бы цели поставить перед обществом, в котором они живут, чем бы зажечь миллионы людей, которыми они руководят, что бы противопоставить нашей, коммунистической идеологии... Какое жалкое зрелище являл собою глава современного капиталистического Запада президент Эйзенхауэр, когда с трибуны пятнадцатой сессии Генеральной ассамблеи ООН он пытался высокими словами подменить большие мысли и создать впечатление, что капиталистическое общество тоже имеет ясные и высокие цели, объединяющие людей! Его речь была выслушана как сотни речей подобного рода, как повторение общих фраз о «высших моральных ценностях», за которыми могут скрываться любые методы поведения и любые действия, в том числе и самые агрессивные!

И с каким горячим интересом слушала и ассамблея и весь мир речь Н. С. Хрущева, когда посланец социализма раскрыл глубокие и ясные идеи ликвидации колониализма и ликвидации вооружений! А разве этими большими идеями не живут все, буквально все люди нашего общества?! Или разве поставленная партией цель перегнать Америку в экономическом отношении и предоставить всем людям нашей страны лучшие условия жизни — труда, отдыха, лечения, образования, — разве эта большая мысль не вдохновляет, не радует буквально всех наших людей?!

Само наше общество устроено так, что личная, частная жизнь отдельного человека полностью зависит от того, как будут выполнены большие замыслы, которыми живет весь народ.

Невозможно в нашей стране жить без больших мыслей!

Затруднения коммунального бытия временны. Очень скоро они отойдут в область воспоминаний. Ни я, ни мои соседи не виноваты, что нам приходится так тесно соприкасаться друг с другом. Значит, надо постараться найти такие условия, которые были бы наиболее справедливы и целесообразны.

Добиваться чего-либо лишь для себя не только несправедливо, но и нецелесообразно, потому что это приведет лишь к непрерывной борьбе, то есть склоке. Значит, каждый должен найти в себе мужество быть вполне объективным не только к другим, но и к себе самому.

Для этого придется отказаться от некоторых своих требований? Да, несомненно. Однако такой отказ неизбежен, когда люди живут вместе. Он все равно происходит. Не лучше ли провести его добровольно? Тогда окружающие, может быть уже заболевшие обывательской злобой, вдруг ощутят как бы действие морального пенициллина: они увидят, что человек идет им навстречу, стоит выше мелких личных интересов, они поймут, что это вообще возможно, что это бывает среди людей, и глядишь, — заболевание пойдет на убыль, а может быть, и совсем прекратится.

На эти соображения обычно отвечают:

— Если уступить, «они» и совсем сядут вам на голову.

Но, во-первых, я не знаю, что хуже: когда у тебя сидят на голове или когда ты сам пытаешься усесться на чью-либо голову. По-моему, и то и другое одинаково мерзко.

Во-вторых, я говорю не об уступках ради уступок, а о способах лечения обывательской злобы. Мне кажется (и об этом говорит весь мой жизненный опыт), что люди только в редких случаях бывают неизлечимы, и тогда, конечно, с ними приходится поступать, как с душевнобольными или как с неполноценными, то есть обращаться за помощью к государству. В громадном же большинстве случаев они только временно больны обывательской злобой, и их можно вывести из этого состояния, относясь к ним по-товарищески, человечно и вместе с тем строго объективно, то есть будучи непримиримыми к собственным недостаткам, к собственному неверному поведению.

## ОСТАТКИ ПРОШЛОГО

Казалось бы, стоит ли говорить о морали буржуазных приобретателей в наши дни в социалистическом обществе?

Да, стоит. И вот почему. Хотя правила буржуазной морали создавались в совершенно иных, отличных от наших, экономических и идеологических условиях, однако они были рассчитаны на всех людей и исходили из каких-то человеческих особенностей, присущих всем людям. Иначе никакие силы не могли бы навязать их даже самым покорным, самым угнетенным!

Мораль «образцового английского купца», о которой писал Даниэль Дефо, — отнимать, тащить в свою нору, копить, богатеть, пользоваться чужим трудом, поменьше работать, побольше пренебрегать интересами окружающих, — все это легче, чем жить для всех.

Личное удобство, личное благополучие это, пожалуй, главное, что осталось в человеке от примитивных, первобытных стремлений. Ничего особенно плохого в таких стремлениях нет, они естественны, как желание поесть. Однако экономика частной собственности в те-

чение многих тысяч лет направляла эти потребности в сторону эгоизма, понуждала человека создавать свое благополучие за счет других. И не так-то просто освободить людей от этой «внутренней Сухаревки», как называл частноприобретательские навыки Ленин.

Вот почему и в социалистическом обществе, в котором уже нет экономической и политической почвы для буржуазной морали, в сознании отдельных людей все еще гнездятся чувства и стремления прошлых эпох и подчас проявляются в быту, вызывая возмущение и гнев окружающих.

Вот выдержка из статьи Василия Аксенова в «Литературной газете» — «Принципы, нищие духом»:

«— Скучно у вас в комсомольской организации? — спросили мы Дмитрия Морозова.

— А что там может быть веселого? Что может быть веселого в комсомольской организации? — ответил он вопросом на вопрос. Речь шла о комсомольской организации ГУМа, где на учете состоит несколько сот человек...»

Итак, комсомол не предоставил Морозову достойных развлечений. Что же произошло дальше?

Дмитрий Морозов, продавец, 19 лет, комсомолец в прошлом, осужден за спекуляцию валютой и сидит в тюрьме. Жизнь его сломана, во всяком случае надломлена, и не на день, не на неделю. Василий Аксенов хорошо пишет о тропинке, по которой такие люди переходят границу между обществом и блатным миром.

«...О, Ремарк!.. Но как им представляется герой Ремарка? Крепкий малый, говорит мало, много пьет, проводит ночи с женщинами или в кабаках, гоняет авто, обидчику спуска не дает...»

Вот идеал. Где же его искать? И парень устремляется в центр Москвы.

«Гудящие незнакомой, а поэтому интересной жизнью гостиницы, стекла автомобилей, заклеенные флажками разных стран, джазовые аккорды из окон ресторанов — вот его центр».

Но для ресторанов, и для автомобилей, и для костюмов, и для каких-то особенных штанов, которые называются «джипсами» и имеют, как мне объяснили, большое количество металлических вкраплений, а потому особенное, почти неотвратимое обаяние, для всего этого нужна монета, причем иногда — иностранная монета! Там, где-то на Западе, где жизнь «сплошной рай», умеют делать «джипсы» с вкраплениями, оттуда привозят пластинки с джазом, абсолютно небывальым, полным зноя, яростной страсти, таким, что «все тутощные джазы могут закрыться...» Для этого тоже нужна монета.

Вот тут-то и приоткрывается щель в блатной мир. Появляются господинчики в «джипсах», которые знают секрет, как добывать монету, следует только слушаться их советов или их приказаний — не все ли равно?!

Так и перешел Дмитрий Морозов роковую границу.

В начале двадцатых годов один мой приятель, в то время такой же юнец, как и я, сказал мне как-то:

— Я хочу интересно жить — шикарно одеваться и курить самые лучшие сигары в мире! Поэтому я решил помучиться лет пять и поступаю в Институт востоковедения. А стану дипломатом — лафал!

Он стал большим ученым. Он не заботится о деньгах. Правда, курит «Беломор» и одевается небрежно, но живет действительно интересно, увлеченный своими изысканиями, поездками, встречами с учеными других стран... Юношей он поставил перед собой жалкую цель, но пошел к ней хорошим путем, путем труда, а хороший путь привел его к высоким целям.

Могут возразить, что низменная цель никогда не приводит к высоким достижениям. Однако курить дорогие сигары и красиво одеваться нельзя назвать «низменной» целью. Это — мальчишеская цель, свойственная иногда молодому возрасту. Скажите юноше или девушке, что хорошо одеваться — дурно, и вы навсегда захлопнете дверь к их сердцу. Но когда они станут взрослыми, эта мечта отойдет на второй план, хотя вовсе не обязательно подвергнется их осуждению. Известно, что такие замечательные люди, как Кржижановский, Красин, Брюсов, любили хорошо, со вкусом одеваться, а Горький питал особенное пристрастие к изысканным сортам табака.

Да, бывает, что в юности мы мечтаем о красивой и даже «шикарной» жизни, но все зависит от того, какой путь мы избираем, чтобы осуществить эти мечты. Путь труда может быстро вправить мозги человеку. Путь общественного долга очень легко отодвинет мелкие заботы, которые станут только мешать большому делу. Ребяческие фантазии покажутся бедными и карликовыми перед новыми горизонтами, которые раскрывает перед человеком наше социалистическое общество.

Но никогда не бывает, чтобы безделье приводило к чему-нибудь, кроме несчастий и преступлений.

Никогда не бывает, чтобы самоизоляция от общества обогащала человеческую душу и толкала человека к хорошему. Как раз наоборот!

Да, комсомол не всегда и не везде умеет сервировать веселый отдых девушек и юношей, не всегда знает, как развлечь их... Комсомол это сам понимает, он старается исправить этот недостаток. Но значит ли это, что когда люди, достигшие совершеннолетия, люди взрослые идут за весельем в блатной мир или прибегают к помощи негодяев, их можно оправдать тем, что комсомол не сумел их развлечь?!

— Комсомол меня не увеселял, и вот я — вор!

Как вам нравится это рассуждение?

...Но ведь мы говорили о буржуазной морали, а ушли как будто совсем в сторону.

Не так уж в сторону, читатель!

Я помню такую картину из времен, когда был еще ребенком.

На набережной Зимнего дворца в Петербурге медленно шествует в шинели нараспашку молодой человек с очень высокомерным и бездушно красивым личиком, а за ним по мостовой столь же медленно едет извозчик с откинутой полостью пролетки. Кто сей аристо-

крат? Он — воспитанник пажеского корпуса, сверхпривилегированного военного училища для детей генералов и высших сановников царской России. Кастовая «честь» не позволяла этим дворянчикам ходить пешком и тем самым вести себя как все люди, как «чернь», а между тем пофрантить на набережной и поглазеть на встречных девиц очень хотелось. Вот и был придуман способ: как будто бы и ехать, а вместе с тем идти.

Глупо и смешно? Да, конечно. Но ведь у прусского юнкерства понятия чести, идеал благородства выглядели примерно так же. И это уже не смешно, ибо на пруссачестве вырос гитлеризм.

Если вечером вы взгляните в толпу, заполняющую улицы Москвы и многих других крупных городов, то заметите среди нормальных советских людей, среди веселой молодежи, среди наших студентов, рабочих, служащих, окончивших свой трудовой день и спешащих в театры, в концертные залы или в кино, тоже своего рода «пажей». Они не принадлежат к родовитым семьям, не учатся в генеральских учебных заведениях, они, в сущности, такие же, как и все. И однако...

Опущенные плечи, выпяченные животы, подогнутые колени, походка враскачку и нагло-испуганный взгляд — откуда все это? Таких типов называют «стилягами», «наследными принцами», «пижонами». Настоящие советские парни и девушки относятся к ним пренебрежительно, о чем и свидетельствуют эти насмешливые наименования.

Я очень хотел узнать, что они такое. Через моих молодых друзей я пытался выяснить, что они думают, какие цели перед собой ставят...

Это, пожалуй, и есть главное, что их объединяет: отсутствие целей.

Но может ли человек жить без целей?

Может, если цели заменены приманками.

Сегодня его манят зеленые глаза Алены. Завтра — «джипсы» с медными вкраплениями. Послезавтра — кафе, где будет Стелла с синими глазами... А чтобы забывать, что это все не то, что нужно настоящему человеку, существуют спирто-водочно-ликерные продукты, которые придают к тому же вкус безответственности и даже храбрости там, где ее не хватает.

Большинство подобного рода типов воображают, что живя так, они выделяют свою неповторимую личность из «стада». Они не видят того, что в действительности сами-то и составляют стадо, вернее отару, где все бараны на один образец. Грубость в разговоре, цинизм в суждениях, презрение ко всему серьезному и высокому, ненависть к труду и многие другие особенности, о которых противно говорят, столь же далеки от своеобразия личности, как и от новизны: все это, во-первых, стандартно, во-вторых, известно уже очень давно.

И вот круг замыкается. Вырвавший себя из общества человек социально загнивает. Приманки вместо целей ведут его в блатное подполье, и мы встречаемся с ним уже как с заключенным.

А ведь можно было жить так увлекательно, увидеть и узнать так много, сделать так

много! Ведь голова еще свежа и может принять уйму знаний! Ведь тело еще полно сил, и ему нипочем вынести и таежные тропы, и адские ветры Антарктиды, и стометровки на олимпийских играх, и — чем черт не шутит — подготовку к полету в космос!

А ты что сделал? Достал джипсы? Купил сто франков?

Есть ли способы бороться с «пажами» нашего времени, с «опижониванием» молодых людей?

Несомненно. Комсомол уже ведет эту борьбу и прямым воздействием и культурными мероприятиями, среди которых немалую роль должен сыграть VIII пленум ЦК ВЛКСМ, на котором обсуждались задачи комсомола по организации досуга молодежи.

Но и вне комсомола можно вести борьбу с «опижониванием», с хулиганством.

Хамство может быть раздавлено презрением. Это весьма сильное оружие, если им пользуются многие. Создается обстановка, невыносимая для безобразников.

...Как-то мне попалась переписка двух людей: студента и профессора. Студент был на практике в Швейцарии, профессор в России. И письма эти меня очень взволновали. Сам я потерял отца в раннем детстве и всю свою молодость испытывал тоску не о нем, которого почти не помнил, а о наставнике, о человеке, который был бы мне старшим другом, примером и даже идеалом, если так можно сказать о реальном человеке. В прочитанных письмах я увидел с величайшей завистью, что у студента был именно такой мудрый, прямотаки всезнающий учитель, и перед ним он отчитывался в своих трудах и в своих днях. Он отчитывался не перед начальником, ибо никто не обязывал его писать эти письма, а потому, что глубоко уважал своего наставника, и ценил его помощь, и ждал от него критики и советов. Профессор был Докучаев, студент был Вернадский, впоследствии замечательный русский, советский ученый.

Как прекрасно, когда в юности у тебя есть наставник!

## ЧУДЕСНЫЙ ПРИБОР

Можно ли усыпить перед операцией больного, не прибегая к лекарствам и наркозу?

Оказывается, скоро это станет возможным.

В одной из лабораторий Научно-исследовательского института экспериментальной хирургической аппаратуры и инструмента стоит удивительный прибор. Если его включить и положить на голову больного идущие от аппарата электроды, он через несколько минут крепко заснет. Проснется же сразу после того, как электроды уберут,

причем не будет чувствовать недомогания, как это бывает после наркоза.

Чудесный аппарат назван «универсальным биостимулятором». Авторы его — доктор медицинских наук Н. Джавадян и инженеры Б. Ростовцев и Л. Ковалева. Создавая прибор, они решили использовать электрические импульсы, возникающие, как известно, при работе любого живого органа. В данном случае ученые записали на магнитную пленку биотоки мозга крепко спавшего человека, а затем, во много раз усилив их, передали через электроды мозгу больного. Подчиняясь идущим от прибора электрическим

И плохо, кажется мне, что у нас зачастую молодые отделены от пожилых — то ли вследствие своей гордости и ложно понимаемой самостоятельности, то ли от равнодушия старших...

Вот бы завести такую традицию!

Как это сделать? Я не имею точных рецептов. Думается, здесь должны «копать» с двух сторон, друг другу навстречу — старые и молодые. Я могу, например, себе представить, что какой-то молодой начинающий публицист избирает меня своим наставником. Он показывает мне свои работы, советуется о своих планах, знакомит меня со своими друзьями. Я, со своей стороны, слежу за его успехами и ошибками, делюсь с ним своими знаниями, критикую его произведения... Может быть, в этом есть нечто от отношений отца и сына. Однако я не связан с молодым человеком ничем, кроме идейных вопросов, я встречаюсь с ним в моем лучшем состоянии, вне обычных забот, плохих настроений. Он тоже видится со мной, так сказать, «в порядке праздника», когда люди оказываются в своем «оптимальном варианте». Никакие материальные, жилищные, семейные обстоятельства не вмешиваются в эту дружбу. Наши беседы или наша переписка обогащают обоих: меня — потому что я вхожу в мир настроений, стремлений, раздумий молодого поколения, его — потому что он обретает опыт труда, какого не получит ни в каких книжках...

В наших высших учебных заведениях часто можно встретить то особенно дружеское и глубокое общение двух поколений, которое может послужить образцом для всех.

Кажется, мы вновь отвлеклись от нашей темы — взаимоотношений людей в нашем обществе и норм поведения. Однако это не совсем так. Разговор о двух поколениях возник именно потому, что правильное моральное содружество этих поколений может способствовать тому, что дурные замашки и робинзонская хватка пожухнут. Хотя, пожалуй, коммерческий подход к жизни истребит трудней, чем самую коммерцию!

импульсам, пациент заснул и во время операции не чувствовал ни малейшей боли.

Но это не единственное применение биостимулятора. С его помощью можно остановить сердечный приступ, передав больному человеку записанные на пленку биотоки здорового сердца, наладить работу желудка.

Сейчас новый прибор, который станет хорошим помощником врачей, проходит экспериментальную проверку.

*Московский*  
**КАЛЕЙДОСКОП**

...Как-то весной 1945 года, сразу после окончания войны один фабрикант сигарет в Берлине выпытывал у меня сведения о социализме.

— Скажите,— спрашивал он,— у вас можно иметь прислугу?

— Да, домработницу у нас нанимать можно.

— А скажите, можно ей поручить набивать для меня сигареты?

— Отчего же? Если это необходимо...

— Ну, а двух домработниц я могу иметь?

— Закон этого не запрещает, если без этого нельзя обойтись.

— А если я и моя жена будем заниматься хозяйством, а домработницы будут только набивать сигареты, и мы купим очень хорошие набивочные машины?..

— Ну, а дальше? Зачем вам столько сигарет?

Мой собеседник был очень доволен таким вопросом.

— Конечно,— залопотал он,— они нам не нужны. А ведь у вас, как я узнал, человек может продать ненужную ему вещь? Мы будем их продавать...

Робинзон ориентировался: нельзя ли в социализме устроить себе небольшой собственный остров с двумя, а то и больше Пятницами?

Да, жить капиталистом при социализме довольно трудно. Почвы для крупного стяжательства нет. А раз нет почвы, вымерли и те хищники, которые без этой почвы расти не могут.

Однако какие-то остатки бытового робинзонства еще живут в нашем обществе. Вероятно, они находят для себя почву. Я подозреваю, что почва эта называется «непротивление».

Вот один из многих эпизодов, который показывает, что это такое.

В продовольственном магазине небольшая очередь. Хорошо одетый человек подходит к прилавку, требует директора:

— Я тороплюсь, вот вам чек, скажите продавщице, чтобы отпустила вне очереди. Коньяк и шампанское.

Заместитель директора говорит продавщице:

— Если покупатели не возражают, отпустите.

Однако очередь противится, продавщица не отпускает.

Покупатель выскакивает на улицу и тотчас возвращается с милиционерами. За эту минуту он уже успел привести себя в состояние «священного гнева» против всех, кто находится в магазине. С искренним негодованием, пылая чувством справедливости, полный ненависти к людям, нарушающим его покой, Робинзон разъясняет милиционерам, что перед прилавком стоит толпа хулиганов... Пока милиционеры пытаются разобраться, в чем дело, испуганная продавщица выдает нахалу его бутылки, и тот успевает исчезнуть.

Как это произошло? Может быть, он был гипнотизер? Или у него из-под пиджака маячило дуло автомата?

Несомненно, что ни то ни другое не имело места. А имело место явление, к сожалению, довольно частое у нас: махнули рукой. Подумали: «Да ну его к черту, еще связываться... Протокол, милиция, свидетели... Стоит ли?» — и махнули рукой.

Кто же сей Робинзон?

Оказалось, его узнал какой-то его знакомый, бывший в это время в магазине. Робинзон с высшим образованием.

Красиво? Я думаю, что некрасиво не только его поведение, но и поступок окружающих.

Какой поступок? Ведь они ничего не сделали. Вот в этом и состоит их поступок. То, что окружающие самоустраниются, когда кто-то ведет себя антиобщественно, есть поступок, причем поступок нехороший, неблагоприятный, предосудительный. Ибо именно такие поступки и создают в робинзонах ощущение, что они — не в социалистическом обществе, а на своем необитаемом острове, где могут творить что им заблагорассудится, что общества вокруг них как бы и нет вовсе, а есть только «людоеды», которых надо уничтожить, стирать с лица земли.

## КИБЕРНЕТИКА ДУШИ

Привычка часто определяет наше поведение. Она — как бы таблица умножения в обыденной жизни: быстро и автоматически мы делаем вывод, как должны поступить.

Без привычки мы погибли бы физически, не говоря уж о том, что всякое образование, всякое производственное умение было бы невозможно.

Сечас мы много говорим о кибернетике, об автоматизации в промышленности, в торговле, в транспорте, даже в науке. Привычка тоже автоматизация наших действий в обыденной жизни. Если бы мы, сев обедать, размышляли о каждом движении вилки и ножа, то умерли бы с голоду или принялись бы поедать пищу как обезьяны.

Та часть привычек, которая относится к обращению с равными нам людьми, к нашему поведению, удобному для этих людей, называется вежливостью.

Это поведение имеет характер автоматизма. Воспитанный человек, сам того не замечая, не говорит громко, не сядет в присутствии женщины, если она стоит, не чавкает за едой... Все это прививается людям с детства и носит черты своего рода условных рефлексов, очень прочных.

Вероятно, каждый из многочисленных законов вежливости имеет в основе какую-то пользу для «всех присутствующих», имеет цель не принести неприятности окружающим.

Например, не принято брать ложкой куски сахара, чтобы положить их в чай: их берут или щипчиками, или пальцами. Возможно, что это установлено для того, чтобы освободить сидящих за столом от длительных и шумных попыток поддепить ложкой кусок сахара в сахарнице. Не принято сразу разрезать все мясо на своей тарелке и потом приниматься за еду: это произошло бы впечатление жадности, сугубой деловитости, понятной в каком-

нибудь производственном процессе, но неприятной за обедом.

Конечно, вежливость, даже в ее «физическом субстрате», в ее зримой материальной форме относится к сфере надстроек и полностью определяется социальными условиями, в которых родился и в которых продолжает действовать. Говорят, например, что обычай рукопожатия возник как знак, что в руке нет оружия. Если наш закон вежливости предписывает мужчине идти позади женщины, то в Японии считается невежливым заставлять женщину идти впереди, а самому двигаться по проторенному ею пути. Может быть, японский обычай родился тогда, когда идти впереди было более опасно, чем следовать сзади? Или, возможно, он подчеркивал покорность женщины?

Но если утрачены основания закона, почему сам закон сохранился? Почему мы пожимаем руку знакомому, снимаем шляпу при встрече, хотя это шляпа, а не боевой шлем?

Сейчас первоначальный смысл этих действий позабыт. Однако все они имеют вполне точную цель — создать привычную, удобную для общения обстановку, установить равновесие между участниками встречи, должным образом разместиться, приглядеться друг к другу и т. д. Когда в комнату, не постучавшись, врывается человек в шляпе, в пальто и сразу громким голосом начинает говорить, — это означает или катастрофу или хулиганство, то есть враждебный вызов присутствующим.

Поэтому важно не то, сидят ли люди на полу, на циновках, как в Японии, или в креслах, как в Европе, многократно кланяются при входе, или пожимают руки, снимают обувь, или снимают шляпу, — важно то, что они ведут себя строго определенным образом и тем показывают, что уважают общность и равно-

правность людей, выраженную в принятых законах вежливости, а следовательно, уважают и тех, с кем им довелось встретиться.

Вежливость, как уже сказано, должна «срабатывать» автоматически, как бы помимо сознания и даже воли человека. Значение этого автоматического «регулятора температуры и давления» в общении людей было очень велико во все времена.

Феодализм выработал запутанно-утонченную систему правил поведения в высшем обществе настолько сложную, что без специальных преподавателей освоить ее было невозможно. Многие от этой системы перешло и к капитализму, освобожденное от той иерархичности и напыщенной военности, которые были характерны для феодального духа.

Новое, коммунистическое общество требует и нового кодекса правил поведения. Кодекс этот, конечно, должен соответствовать коммунистической морали, и потому многие правила его создаются заново, и очень многие переосмысливаются. Отношение к женщине, к другу, к обществу, к собственности — все у нас иное, чем когда-то. Хорошо писал об этом А. С. Макаренко.

«Самое важное, что нам предстоит, — это накопление традиций коммунистического поведения. Мы иногда злоупотребляем словом «сознательный». Наше поведение должно быть сознательным поведением человека бесклассового общества, но это вовсе не значит, что в вопросах поведения мы всегда должны апеллировать к сознанию. Это было бы слишком убыточной нагрузкой на сознание. Настоящая широкая этическая норма становится действительной только тогда, когда ее «сознательный» период переходит в период общего опыта, традиции, привычки, когда эта норма начинает действовать быстро и точно, поддер-

## ПИОНЕРСКИЙ ЗАВОД

Давно погасли огни пионерских костров, отзвенели в Подмосковье веселые песни школьников. Грустно прощались ребята с лагерем...

Особенно жалко было оставлять пионерский завод. Завод с самыми настоящими токарными, фрезерными и сверлильными станками, слесарными тисками и столярными верстаками.

А сколько всякого инструмента!

Много полезных вещей смастерили за лето ребята. А теперь?... Летних каникул ждать долго!

Неожиданно пришла помощь. Руководители машиностроительного завода

имени Ярославского задумались над тем, чтобы занять ребят зимой. И решили: чем стоять станкам без дела девять месяцев в году, не лучше ли перевезти их пока в Москву?

Автомшины быстро доставили оборудование на Большую Почтовую улицу. Здесь, в нижнем этаже жилого дома-новостройки, для него уже подготовили помещение. Побелили потолки, выкрасили стены, полы. И пионерский завод возродился.

...Тонкий звук мотора прорезает тишину. Резец снимает круглую стружку. Пионер Юра Беленков уверенно обрабатывает деталь. Мастер завода — бывший старший вожатый лагеря Ю. Сомов внимательно следит за его работой.

Два раза в неделю за-

вод работает на полную мощность. От ребят с Большой Почтовой и других близлежащих улиц буквально нет отбоя.

В соседнем помещении также стоят машины — только швейные. Здесь девочки занимаются рукоделием — они шьют костюмчики для подшефного Дома ребенка. А в других комнатах ребята будут учиться домоводству, постигать тайны фотоискусства.

— У нас уже не завод, а целый комбинат, — говорят ребята. — Ведь нам надо за пионерскую двухлетку сделать сорок хороших, полезных дел. И мы выполним эту двухлетку!

*Московский*  
**КАЛЕЙДОСКОП**

жанная сложившимся общественным мнением и общественным вкусом».

Еще далеко не для всех этические нормы коммунизма стали чем-то неотъемлемым, органически присущим. Есть люди, сознание которых еще находится в плену эгоизма, черствости, безразличия к другим. Они немногочисленны, однако именно поэтому они очень заметны. Они вредны не только вследствие того, что приносят неприятности и даже страдания другим, но и потому, что подают мерзкий пример другим, прежде всего молодежи, еще не выработавшей в себе прочных моральных убеждений.

...Глухая деревенька. Кругом — леса да болота. В больницу поселка при фабрике привозят женщину: ей пришло время рожать. Врач считает случай тяжелым и направляет беременную в родильный дом, который находится в сорока двух километрах. Просят машину у директора фабрики. Тот отказывает: пойдет машина за ватой, тогда и повезете.

Роженца ждет. Ей плохо. Ожидание и мысль о долгой ухабистой дороге усугубляют ее страдания. Наконец, грузовик приезжает. В кузове набивается народ. Может быть, страдающую женщину можно посадить в кабину рядом с шофером? Нет, это невозможно. Там уже сидят. Кто же? Директор фабрики. Сам директор. Но, быть может, с а м директор уступит место женщине? Нет, он не уступит.

Двадцать два километра до районного центра роженца подавляла стоны, кусала губы от боли, пока ее мотало в машине, которая тряслась на ухабах размытой дороги. В районном центре директор слез. Тогда в кабину пересела акушерка, которой было поручено доставить роженца в родильный дом. И еще двадцать километров мучений. В родильном доме ее сразу положили на операционный стол — настолько опасно было положение. К счастью, опыт и знание хирургов спасли жизнь и женщине и ребенку.

Ну, а директор? К директору приехал из Москвы журналист С. Руденко. Он спросил директора:

— Как вы могли спокойно ехать в кабине, зная, что в кузове страдает от боли роженца, которая каждую минуту может умереть?

Что же ответил директор? Ответ этот потряс корреспондента, потряс он и всех читателей «Известий», когда они прочли фельетон.

— Мне,— ответил директор,— по служебному положению полагается ехать в кабине...

Что породило этот ответ? Удивительная тупость? Бессердечие? А вдруг здесь проявились какие-то отзвуки тех времен, когда мир делился на черную и белую кость, когда лица «высокого звания» считали для себя унижительным находиться в обществе «простолюдинов»? Может быть, тут и прокрасились в нашу современность остатки кастовой морали?

Я думаю, что в конце концов это именно так. Когда журналист сказал директору, что рабочие говорят о его поступке как о хамстве, тот ответил кратко:

— Пусть говорят...

Этому человеку было безразлично мнение о себе «низших», мнение народа. Он чувствовал себя выше рабочих.

Что могло бы побороть этот нелепый аристократизм? Конечно, прежде всего коммунистическая сознательность. Но, вероятно, директор был лишен этого качества. А что еще? Вежливость!

Можно легко себе представить, что директор остался бы таким же бессердечным и эгоистичным человеком, но воспитанная в детстве вежливость сработала бы автоматически, и он уступил бы место в кабине женщине, тем более что она себя плохо чувствовала. Пожалуй, он не мог бы поступить иначе и в том случае, если бы все, кто был вокруг него в это время, были тоже хорошо воспитаны: ему было бы неловко показать себя хамом среди вежливых людей. Но, к сожалению, ни того ни другого не было в действительности: ни директор, ни те, кто собирался ехать в районный центр, не были вежливыми.

Вежливость — великая вещь в человеческом общежитии. Буржуазное общество часто использует законы вежливости для того, чтобы прикрывать истинные склонности или намерения людей. За границей мне иногда приходилось видеть на лицах тех, у кого не было никаких причин радоваться присутствию гостя из «страны большевиков», фальшивую улыбку, такую холодную, такую автоматическую, что она леденила сердце. Говорят, в Англии детей заставляют произносить слово «чииз» (сыр), чтобы выработать это механическое растягивание рта, должествующее обозначать приветливость. Нам это не к лицу. Но приучать детей автоматически заботиться об удобствах окружающих мы обязаны. Этим мы облегчим им жизнь, как облегчаем им счет, заставляя учить таблицу умножения. Пусть вежливость станет условным рефлексом для каждого из нас!

Вежливость улучшает настроение так же, как хамство огорчает всех, портит всем настроение, вызывает ответную агрессию. Когда вы видите юношу, уступающего дорогу старику, мужчину, пропускающего вперед женщину, когда прохожий, прежде чем обратиться к вам с вопросом, говорит: «простите», а получив ответ — «спасибо», когда в людных местах вы не слышите громкого голоса и никто не мешает вам слушать то, что вам интересно,— у вас становится спокойнее на душе, вам удобно, приятно, и вы поддаетесь общему настроению благорасположенности и внимательности к окружающим.

Есть еще одно понятие, близко примыкающее к понятию вежливости, это — такт. Когда говорят о такте, уже не имеют в виду полную автоматичность поведения. Тут речь идет о чем-то более тонком, требующем душевной чуткости и даже известной изобретательности, чтобы не огорчить, не испугать, не обидеть кого-то, не помешать кому-то. Мне очень понравился один английский анекдот на эту тему.

Два джентльмена вели беседу о том, какая разница между вежливостью и тактом. Они прошли уже немало по газонам Гайд-парка, но не могли найти удовлетворитель-

ного ответа. Наконец, решили обратиться к первому встречному. Встречный оказался трубочистом. Он выслушал их со вниманием и сказал:

— Я человек необразованный, и потому могу только предложить вам в виде примера один случай из моей жизни, который, быть может, пригодится вам для ваших рассуждений. Однажды, закончив чистку каминов в очень богатом и большом доме, я заблудился в коридорах и по ошибке открыл не ту дверь, какую было надо. Я увидел сидящую в ванне леди. «Простите, сэр!» — сказал я, захлопывая дверь. Так вот «простите» — это была вежливость, а «сэр» — это был такт, джентльмены!

## ДОБРОЕ ПЯТИСЛОВИЕ

На первый взгляд, темы, которым посвящен этот очерк, могут показаться незначительными, особенно по сравнению с великими движениями современности — за мир во всем мире, за освобождение колониальных стран, за победу социализма в мирном экономическом соревновании с капитализмом...

Весьма скромными покажутся затронутые в этих заметках вопросы и на фоне громадных успехов науки, и особенно успехов советских ученых и техников, прокладывающих человечеству пути в космос.

И все-таки темы, которых я коснулся, кажутся мне достойными внимания.

Устремляя к звездам свою научную мысль и свои космические снаряды, разоблачая кровавые замыслы империализма, борясь за мир во всем мире, советские люди хотят, чтобы у них дома, на их советской земле, всем жилось удобно и уютно. К этому направлены усилия коммунистической партии, на это работают заводы, этим заняты земледельцы, садоводы, доярки, архитекторы... С каждым днем хорошеют наши города, богатеют наши села...

И самое замечательное состоит в том, что к богатству, к культуре идут не отдельные удачники, не маленькие группы избранных, а широким фронтом идет весь народ, рядовые люди...

Это и отличает нас от всего, что было в истории человечества, от того, что происходит в странах капитализма.

Мы часто говорим: «простые люди», «обыкновенные люди». Я мог бы привести статистические данные о том, кто такой «простой», «обыкновенный» человек нашего времени в нашей стране, как повысился его культурный уровень, как выросли его духовные запросы, его общественная сознательность. Не раз приводились цифры о количестве студентов, о количестве учащих, о тиражах книг... Все это говорит о небывалом движении вперед нашего народа. Я же, верный своей писательской привычке доверять личным своим впечатлениям, вспоминаю при мысли о нашем прогрессе следующее.

1923 год. Трубная площадь. Ломовые извозчики, водители («ватманы») и кондукторы трамваев вваливаются в столовку «Низок» в

подвальном этаже дома на углу Рождественки. Тут питаюсь и я, работник РОСТА. В полутьме — пар от пищи, махорочный дым. На голубых клеенках — горы черного хлеба и миски с едой: кислые щи, вареное мясо, гречневая каша и ничего кроме. И вот — разговоры!

Уже не в том дело, какие словеса висят в воздухе, но что за говор! Дремучий, иногда даже интересный с фольклорной точки зрения, но явно обнаруживающий полную, святую неграмотность говорящего. Никогда не только не держал он книжки в руках, но, пожалуй, даже и не слышал литературной речи, присущей только «барам».

Теперь, когда я еду в метро, я всегда осторожно жду остановки, чтобы улыбнуться голосу, который слышится из репродуктора в вагоне.

Голос объявляет станции. Но какой это голос, и как он объявляет! Вслушайтесь в произнесение такой, например, фразы:

— Станция Мейковская (авторитетная пауза). Следующая станция — Белорусская. Переход на кольцевую линнию!

В этом молодом голосе столько уверенности, столько собственного достоинства! Сами по себе интонации принадлежат интеллигентной речи. Безусловно, если бы они прозвучали в «Низке» — там сочли бы, что это говорит адвокат или студент.

А ведь так оно и есть! Ничего удивительного нет в том, что большинство водителей поездов метро — учится, знает литературу, историю, изучает философию, математику, а может быть, музыку или живопись!.. Я знаю сталеваров с высшим образованием, продавцов, которые учатся в экономических вузах.

И — что особенно важно — это отнюдь не какие-то особенные люди — таланты или сверхработяги. Это — всеобщее явление в стране. Можно сказать, что «так устроено» наше государство, и иначе в нем не может быть.

Когда я обедал в «Низке», чего только я не наслушался там, чего не навиделся — ведь рядом был «Цветной» — одно из самых богатых, хулиганских мест в Москве. Сейчас там место игр. Дети играют в мяч, пенсионеры в «козла», а на многих скамейках шахматисты, окруженные болельщиками, ведут свои медленные и тихие сражения...

Тем более огорчительно и режет глаз и слух всякое проявление грубости, безразличия к окружающим в нашей новой и культурной стране. А ведь бывает, что человек и с высшим образованием, но невежлив, ведет себя бурбоном. Мне кажется, что, двинув неслыханно вперед образование, наш народ не успел еще столь же широко и высоко поднять воспитанность.

А ведь культура мысли и культура сердца, умение вести научный эксперимент и умение вести себя среди людей — не совсем одно и то же.

По этому поводу замечательный режиссер и писатель Александр Довженко, человек тонкой и глубокой души, рассказал как-то очень хорошую притчу.

Был у них в деревне один дидок, уже очень старый и совсем неграмотный. И приехала к нему внучка из города, студентка. Она только что вышла замуж и хотела показать деду своего избранника — ученого, кандидата наук.

Пожили они в колхозе недельку, очень были обласканы и уехали довольные. Вот и спросил как-то Довженко у старика, как ему понравился новый родич.

— Умный человек, — сказал дед, — образованный. — Потом подумал немного и добавил: — Тильки интеллигентности не хватает.

\* \* \*

В нашем социалистическом обществе нет классового антагонизма, а следовательно, и нет оснований для борьбы между людьми за

право жить, за место под солнцем. Это значит, что никаких серьезных неустрашимых причин к вражде внутри нашего народа не существует, и только от сознательности, чуткости, внимательности друг к другу зависит, как будем мы вести себя. Никакой реальной нужды в грубости, в бессердечии, в ненависти у нас, в нашем общем родном доме, нет и быть не может.

Новая мораль, мораль коммунизма уже торжествует в нашей стране, и как было бы хорошо, если бы она проявлялась также в самых малых подробностях нашего быта, в нашем обыденном повседневном поведении.

Как было бы прекрасно, если бы каждый из нас всегда и везде мог сказать о любом своем поступке:

— Я сделал это потому, что ведь я не один на свете!

## Между строк

### ОТРЕАГИРОВАЛ

- Вас так резко критиковали, а вы почему-то не реагировали.
- Позвольте, а инфаркт?

### ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД

Критик, отмечая одно и то же качество у разных писателей, пользовался разной терминологией. Говоря о писателе, с которым дружил, он называл его произведения «актуальными», а произведения писателя, с которым враждовал, именовал «однодневкой».

## Между строк

### ЛЮБЛЮ, ЛЮБЛЮ...

Поэтов от шестидесяти лет и старше, пишущих на любовные темы, следовало бы числить по секции мемуаристов.

### МНЕНИЕ О ПИСАТЕЛЕ

Хорошо пишет. Разборчиво. Можно не переписывать на машинке.

## Между строк

Представляете себе некрашенный автомобиль? Или квартиру, в которой стены кирпичные, а пол и мебель являют первородную наготу дерева? Холодно, скучно. Первое впечатление об окружающем дает нам зрение, а зрение прежде всего воспринимает краски. В народе говорят: «По одежке встречают, по уму провожают». Краски — это одежда домов и автомобилей, книг и мебели, станков и утвари. Большинство предметов только после окраски получает законченный вид.

Но не только в этом значение красок. Они верные защитники дерева и металла. Подсчитано, что в нашей стране за один только год коррозия может погубить до пяти миллионов тонн металла. Если бы не было лаков и красок, человечество не успевало бы восполнять потери, наносимые ржавчиной. Краски стали для нас столь же необходимы, как свет и воздух. Но знаем ли мы, как они создаются, знаем ли мы людей, делающих наш быт ярким, праздничным? Эти мысли и привели нас на Краснопресненский лакокрасочный завод.

Л. Дарова

## ЛАК И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ

### Секретная книжка англичанина

Сто лет назад в Москве, на реке Яузе, братья Мамонтовы организовали небольшой завод. Поначалу в нем вырабатывались сургуч, смолки и пробки. Вскоре для завода было построено новое помещение за Пресненской заставой. Предприятие стало называться «Промышленное и торговое товарищество бр. А. и Н. Мамонтовы». Оно вырабатывало спиртные лаки, политуры, малярную олифу. Не надеясь на русских умельцев, Мамонтовы пригласили к себе зарубежных мастеров. В начале 1881 года производство масляных лаков было вверено великобританскому подданному Сиднею Герберту Бигсби, — читаем мы в отчете фирмы.

... Перед нами увенчанный двуглавыми орлами альбом, выпущенный к 50-летию завода. На страницах его портреты владельцев, важных директоров правления, фотографии корпусов и цехов завода. Здесь же помещены благодарности Мамонтовых директорам правления, доверенным лицам и тем служащим, которые «неусыпными трудами и непоколебимой преданностью всячески содействовали росту и преуспеянию дела». Тщетно мы ищем имена рабочих, хотя их в ту пору на заводе было более восьмисот. Хозяева забыли о тех, чьим трудом создавались материальные ценности.

Давно нет никаких Мамонтовых. Дольше их на заводе задержались иностранные мастера. Еще два десятка лет назад в лаковарке

работал англичанин Анет. Он не расставался с записной книжечкой, в которой были записаны рецепты изготовления красок. Анет перелистывал эту книжечку, не вынимая ее из кармана: отогнет борт сюртука, посмотрит... Сколько краски отвесить, чем растворить, как варить — этого никто не знал. Он нередко старался все сделать сам, только бы рабочие не разгадали тайну производства. «Секретных дел мастер», — так насмешливо называли Анета на заводе.

### Своею собственной рукой

...Вот он, столетний Краснопресненский завод. Кирпичное здание и цехи его уже знакомы нам по фотографиям в альбоме.

Заходим в лаковарочный цех, тот самый, где когда-то в чаду над таганком у горна «колдовал» англичанин.

Поистине неизмерим путь, пройденный от «тайн Анета» до современной советской техники! Четко работают гигантские герметизированные аппараты из нержавеющей стали с газовым обогревом. Точные приборы улавливают вредные газы. В цехе чисто, легко дышать. Но почему здесь так мало людей?

— Все трудоемкие процессы у нас механизированы, — объясняет главный инженер Р. М. Курский. Он показывает, как механически загружается в варочные аппараты сырье и сразу же на огромном щите появляются показатели температуры. Горячие краски выгружаются механически. Без помощи людей пасты поступают на краскотерочные машины с водяным охлаждением. Машины фасуют и

распечатывают банки с красками и лаками. автопогрузчики поднимают тяжелые грузы. Неслышно движутся по цехам авто- и электрокары — они перевозят готовую продукцию на склады.

Переходя из цеха в цех, мы увидели сложные оригинальные конструкции. Это — опытные установки, на которых осуществляются научные исследования.

Еще недавно завод зависел от импорта — не хватало сырья; работать приходилось на природных смолах — копалах, в состав которых входило растительное масло. Теперь лакокрасочная промышленность перешла на отечественные синтетические смолы. Это даст возможность сэкономить сотни тысяч тонн ценного пищевого продукта — конопляного, подсолнечного и льняного масла. Разработана новая технология, и первым стал внедрять ее Краснопресненский завод. Сейчас отсюда во все концы страны уходят лаки и краски четырехсот видов. Кабельная и другие отрасли промышленности пользуются только краснопресненскими лаками.

Нам показали эмаль «Муар», которая идет для окраски приборов. Красивая, декоративная, она отличается большой прочностью и стойкостью против атмосферных влияний. Не случайно ее требуют сотни предприятий.

— Тридцать второй год я работаю здесь, — говорит главный инженер. — На моих глазах рос завод. Он стал кузницей кадров. Некоторые из бывших наших работников получили ученые степени и работают в научно-исследовательском институте. Среди них Журавский, Дубман, Орлов, Полякова. В Госплане работает наш воспитанник Динабург, в Госэкономсовете — Фельдеш. Пичугин стал директором проектного института в Ярославле, а Солненко — начальником центральной научно-исследовательской лаборатории Всесоюзной конторы лакокрасочных покрытий.

## Завод и институт — едины

Директора завода Василия Мефодиевича Романова мы застали за телефонным разговором. Он говорил стоя, слегка жестикулируя и, казалось, смотрел прямо в глаза далекому собеседнику.

— Лицо Москвы? Вы подумали о лице Москвы? Оно должно быть ярким и светлым. Пусть улицы наши напоминают цветущий луг! А машины, мебель, книги? Все требует красок, притом самых лучших, самых красивых, самых прочных. Надо об этом неустанно думать и ученым, и рабочим, и художникам, и архитекторам...

Окончив разговор, Романов пояснил мне, что недостаточно быстро идет оборудование опытной базы. А время не ждет...

Директор завода — кандидат химических наук — одновременно возглавляет научно-исследовательский институт лакокрасочной промышленности, расположенный на территории предприятия.

Химией он особенно увлекся, когда учился в аспирантуре. Его руководителем был академик Зелинский. В 1936 году академик

Фаворский организовал небольшую лабораторию по разработке синтетических связующих веществ, и Василий Мефодиевич стал с увлечением в ней работать.

В этой лаборатории родился первенец синтетики — карбинол-винил-ацетиленовый спирт. Позднее из этого исходного сырья стали изготавливать карбинольный клей и новый тип растворимой в спирту лаковой смолы. Она лучше, чем природная смола шеллак.

Василий Мефодиевич взял со стола книгу в яркой суперобложке и погладил ее блестящую поверхность.

— Эта обложка, — сказал он, — покрыта раствором новой смолы — лаком. Смотрите, как блестят краски, покрытые этим лаком! Его уже широко применяют Калининский полиграфический комбинат и некоторые московские типографии.

В институте думают о том времени, когда почти вся лакокрасочная продукция будет выработываться из синтетических смол. Нужно создавать новые синтетические смолы и полупродукты для их синтеза. И они создаются. За последние годы институт разработал много смол: полиуретановые, эпоксидные, полиэфирные. На их основе создаются совершенные лаки и краски.

Институту передан как опытная база Краснопресненский завод. Ученые получили возможность немедленно проверять свои изыскания на практике. Появились комплексные бригады, состоящие из научных сотрудников, проектировщиков, технологов, рабочих. Они проводят опыты, внедряют новую технологию, технику.

## Хороши новинки!

Когда писателю или журналисту говорят, что он лакирует действительность, — это тяжелый упрек. А работники института не боятся такого упрека: они «лакируют действительность», но их лак не скрывает недостатков, он подчеркивает сущность вещей, делает их более красивыми.

Тысячи сверкающих автомобилей сходят с конвейера Горьковского завода. Новенькие «Волги» и «Чайки» проносятся по улицам Москвы и других городов. Как красива их окраска! Целая гамма оттенков — от темно-зеленого до бледно-салатного создана благодаря новым органическим пигментам, входящим в состав нитролаков, разработанных институтом. Недавно заводы начали выпускать вишневую эмаль на пигменте индиго-краснофиолетовом. Но не только своим цветом хороши лаки. Алюминиевая пудра, добавляемая в эмаль, придает автомобилям серебристый блеск.

Обычно поверхность машин протирают восковым составом, промывают полировочной водой. И все же через три-четыре месяца покрытие тускнеет. Скоро появятся эмали на полиэфирокриловых смолах, которые сохраняют блеск машин на несколько лет.

А московские улицы? Что делается для того, чтобы сделать их красочными?

Вы обратили внимание на фасад здания Моссовета? Кажется, что он только что вы-

крашен. А ведь его покрывали краской почти десятилетие назад. Это новые синтетические краски. Они не выцветают долгие годы, не трескаются, не осыпаются. Такими же красками окрашены новые дома в Тестовском поселке.

Но производство синтетических красок требует большого расхода дефицитных и вредных растворителей. Нельзя ли их заменить? Можно. Для вредных и огнеопасных растворителей — бензола, ксилола — институт нашел заменители. Появились водноэмульсионные основы для красок. Изготовленные на этих основах краски не имеют запаха, безвредны, их можно мыть водой и мылом. Такие краски — находка для строителей.

Кто не знает, как сложно сделать ремонт в квартире. Обычно появляются маляры, ведут пространные разговоры о морилке, «колере». И это таинственное слово — «колера» настолько гипнотизирует хозяйку, что она невольно соглашается на все условия маляров.

Скоро можно будет, пожалуй, обойтись без услуг маляров. Сотрудник института Р. Иванов разработал краску, которая не стекает с кисти. Она легко наносится на поверхность стен, ложится ровным слоем, не дает потеков.

Выпуск мебели нередко задерживается из-за недостатка специальных лаков. Новые нитроцеллюлозные лаки будут выпускаться в больших количествах. Они позволят лучше отделывать мебель, повышать ее прочность. Разработан особый порозаполнитель. Он предохраняет от проникновения лака в поры древесины, — получается ровная глянцевая поверхность. Есть теперь и кремовая нитроэмаль для кухонной мебели. Она не темнеет даже после длительного мытья, не боится нагрева. Ставьте спокойно на стол горячие сковородки, кастрюли, тарелки — на эмали не

останется и следа. Предложены специальные лаки для отделки обеденных столов. Мебель, покрытая такой эмалью, скоро поступит в продажу.

Работников института интересуют и лаки для консервных банок. Консервы в нашем быту находят все более широкое распространение. Они сопровождают экскурсантов в пути, геологов — в экспедициях, плывут с моряками на кораблях, пилоты берут их в воздух. Многие хранят консервы по два-три года. Чтобы создать защитные покрытия для жестяных консервных банок, испробовали много смол. Лучшими оказались эпоксидные синтетические смолы. За минувший год изготовлены десятки тысяч банок с новым покрытием.

Зимой туристы ходят на лыжах. Обычно лыжи покрывали бесцветным или коричневым лаком, он быстро портился, пропускал влагу. Лыжи приходилось постоянно смазывать специальными смолами. Сотрудники института разработали лыжный лак шести цветов: голубой, синий, красный, оранжевый, коричневый, черный. Лыжи, окрашенные этим лаком, не боятся ни мороза, ни воды. Первые партии лыж, покрытых цветным лаком, изготовленным Краснопресненским заводом, выпускает Таллинская лыжная фабрика.

Сколько радости приносит путешественнику общение с природой. Но не всегда у нас бережно относятся к ее богатствам. На недавней сессии Верховного Совета РСФСР тов. Н. Н. Органов отметил, что в результате загрязнения водоемов неочищенными сточными водами с промышленных предприятий большой урон наносится рыбному хозяйству. Портятся вкусовые качества рыбы, гибнет молодь и планктон, которым она питается.

## Моя новая роль

ЭДУАРД  
МАРЦЕВИЧ

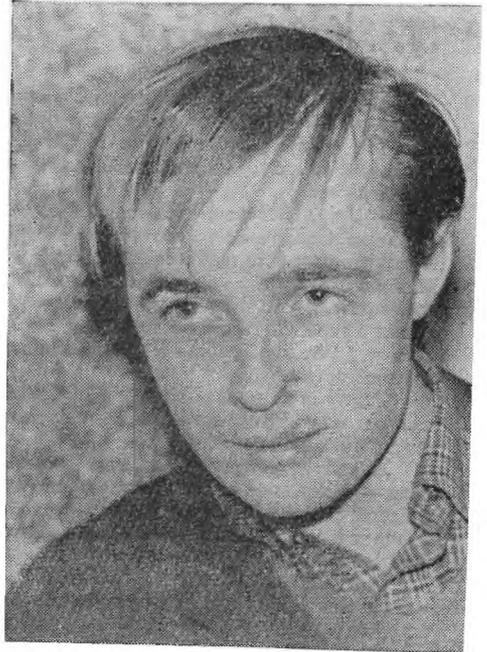
Театр Маяковского

Меня очень волнует моя новая роль. Она необычна для меня, так как резко контрастирует с предыдущими...

В театр я поступил в 1959 году, окончив Театральное училище имени Щепкина. После Гамлета сыграл Сережу в «Иркутской истории» Арбузова. Валерий в пьесе В. Пановой «Проводы белых ночей» — моя третья роль.

Валерий — человек, живущий ради собственного благополучия. Это — современный фат. Его девиз: «надо в жизни жить налегке, словно качаясь на качелях». Роль сложная. Это не штампованный отрицательный герой, а юноша, который из-за неудачно сложившихся жизненных обстоятельств потерял веру в себя, в свои силы.

Я буду рад, если мне удастся показать трагедию человека, который запутался в своих личных делах и вряд ли сумеет выйти на правильный путь, если ему не помогут...



Эта проблема давно волнует и сотрудников института. Они ведут работы по очистке сточных вод от наиболее вредных химических примесей. Разработан особый метод очистки: окисление фенола и формальдегида пиролузитом в кислой среде. Опыты показали, что можно так обезвредить фенол, что он не будет наносить вреда рыбам.

Такую очистку уже проводят некоторые заводы.

Институт работает над более совершенным методом окисления фенола. Сконструирован опытный агрегат. В этом году он будет предложен крупнейшим химическим заводам.

Все чаще и чаще отплывают в Индию, Индонезию, Бирму, Вьетнам корабли, груженные оборудованием и материалами, изготовленными в Советском Союзе. Изделия эти попадают в тропический климат, подвергаются действию палящих лучей солнца, высокой влажности воздуха, туманов, пыли пустынь, плесневых грибов. Это может испортить внешний вид изделий, ухудшить свойства материалов и даже вывести из строя точные приборы и аппараты.

Как же предохранить машины и материалы от порчи? В институте созданы особые краски. Они яркие, как южное солнце, неуязвимы для климата тропиков. Защитные лакокрасочные покрытия нашли уже широкое применение на заводах, посылающих свою продукцию в тропические страны.

О лаборатории, возглавляемой С. Якубовичем, говорят: наука для науки. Здесь испытывают и проверяют свойства смол, лаков, красок.

Какими будут их прочность, свежесть, долговечность? Как действуют на краски

свет, воздух, солнце, дождь? Ответ на это дают испытания, проводимые не только в институте, но и на его атмосферных станциях в Кутаиси, Риге, на бортах теплоходов, отплывающих в Бирму, Вьетнам.

А как ускорить результаты исследований? Нам показывают аппарат «Искусственная погода». В нем с помощью ламп сочетаются тепло и облучение ультрафиолетовыми лучами. Специальная установка разбрызгивает воду в виде дождя. Благодаря этому испытания материалов проводятся в двадцать — тридцать раз быстрее, чем в естественных условиях.

Сконструированы приборы для регистрации внутреннего напряжения в пленке — от него зависит прилипание краски к металлу. Применяют также рентгено-структурный анализ, электронную микроскопию, инфракрасную спектроскопию, изучают цвета покрытия фотоэлектрическим методом. И не записывают все это в секретную книжечку, как делал англичанин Анет.

\* \* \*

...Мы рассказали только о некоторых работах института и завода на Красной Пресне, о тех, кто всячески украшает наш быт, приносит радость советским людям. Разработанные институтом лакокрасочные покрытия встречаются на транспорте, в сельском хозяйстве, на строительстве мостов и во многих, многих отраслях нашего хозяйства. За каждой новой работой стоят пытливые и настойчивые советские люди.



РАИСА

ГУБИНА

*Театр Ермоловой*

*Моя  
новая  
роль*

В новой постановке нашего театра — пьесе А. Успенского «Девушка с веснушками», о строителях Москвы, я играю принципиальную, цельную девушку.

Глафира — техник-строитель одного из строительных участков столицы — с детства была лишена родительской заботы, воспитывалась в детдоме. Это удивительно чистая, трепетная натура. Она смотрит на мир и окружающие ее явления совсем еще детскими глазами, остро чувствует ложь, подлость. Ей хочется, чтобы все те, кто еще живет в тесноте, как можно скорее получили добротные квартиры.

Новая роль очень увлекает меня. Образ Глафиры представляется мне идеалом советской девушки. Хочется показать, как глазами, сердцем этой «простушки», с виду ничем не примечательной «девушки с веснушками», люди видят, что в жизни хорошо и что плохо...

# Тщью И КАРАНДАШОМ

(Из книги «Сорок лет»)

## В МОСКВЕ

...Не легко и не просто вспомнить и описать сегодня Москву 1922 года. Сложную «восстановительную» работу нужно проделать в своем воображении и памяти, чтобы мысленно привести город в прежний вид, посчитать несуществующими перемены минувших лет. Все же попробуем! Оседлаем машину времени и вернемся на тридцать восемь лет назад.

Я живу у брата<sup>1</sup> в крохотном номере четвертого этажа гостиницы «Савой» на Рождественке (ныне улица Жданова). Мне нужно зайти сегодня в редакцию «Правды».

Выйдя из «Савоя», я вижу перед собой Театральный проезд, наполненный звоном и грохотом многочисленных ярко-красных вагонов трамвая, что вереницами поднимаются вдоль Китайгородской стены вверх к Лубянской площади (теперь площадь Дзержинского) и спускаются от нее к нынешней площади Свердлова. Я не стану переходить на противоположную сторону к памятнику Первопечатнику Ивану Федорову и преодолею соблазн порыться на бесчисленных букинистических прилавках книжного «розвала» у Китайгородской стены. Там слишком много книг, а у меня слишком мало времени. Направо — площадь Свердлова. Она почти не изменилась. Как и сегодня, Большой и Малый театры вместе с гостиницей «Метрополь» и зданием Мосторга создают ее знакомый ансамбль. Как и сегодня, от классического здания Дома Союзов начинается Охотный ряд. Но здесь придется остановиться на минуту, чтобы «вернуть» Охотному ряду облик 1922 года.

<sup>1</sup> Михаил Кольцов.

Для этого прежде всего — и это самое простое — надо убрать гостиницу «Москва». Целиком и начисто.

Теперь (и это несколько сложнее) надо мысленно восстановить на месте гостиницы длинную пеструю линию приземистых лавок, лавчонок и лабазов, торгующих мясной, рыбной, овощной, молочной, соленой, копченой, моченой и всевозможной прочей снедью, которая распространяет пронзительные запахи. Вторым этажом этого подлинно «обжорного» ряда служит нагромождение огромных вывесок, украшенных фамилиями владельцев сих гастрономических предприятий: «Братья Кулаковы», «Пафнютев и Сыновья», «Колбасные изделия Смирнова», «Бугров и Ревякин — Бакалея»... Что поделаешь — нэп!

На месте нынешнего Дома Совета Министров — несколько старинных одноэтажных домов. На их фоне, оставив лишь тесный проход для пешеходов, всей громоздкой тушей вылезла прямо на середину улицы безвкусная церковь Параскевы Пятницы. Протиснувшись мимо нее, мы проходим к углу Тверской улицы, которая будет носить это название еще целых десять лет и только в день 40-летия литературной деятельности Горького получит имя великого писателя.

Стоя на углу Тверской, мы не видим ни здания Манежа, ни Исторического музея, ни зелени Александровского сада у стен Кремля. Все это закрыто от взоров целым кварталом узких переулков, густо застроенных невзрачными домишками, — они заполняют все пространство нынешней Манежной площади, вплотную подступают к университету, отделенному от них извилинами и тесным ущельем вымощенной булыжником Моховой.

Замыкая Охотный ряд против гостиницы «Националь», этот квартал образует не-

большую полукруглую площадь, в центре которой, в дополнение к «Параскеве», стоит маленькая часовня.

От угла Охотного ряда нам нужно повернуть направо, вверх по Тверской. Это — оживленная, многолюдная и шумная городская артерия, но до чего же она не похожа на нынешнюю улицу Горького! Где широкая, прямая магистраль с высокими нарядными домами? Где гладкий, до блеска натертый автомобильными шинами асфальт? Улица, по которой мы идем, не прямая, а загибается крючком, она вдвое уже, а дома на ней, старые и давно не отремонтированные, вдвое ниже, чем на улице Горького. На месте Центрального телеграфа — пустырь, огражденный дощатым забором.

Советская площадь. Налево — пока еще двух-, а не пятиэтажное, красное с белым, здание Моссовета, направо — серый бетонный обелиск Советской Конституции на фоне небольшого античного портика — остатка снесенного здания пожарной части.

Еще немного — и мы на Страстной площади. Она еще не переименована в честь гениального поэта, памятник которому скромно стоит у входа на Тверской бульвар. Площадь носит пока название по монастырю, который своей грязно-розовой колокольней, стенами и постройками занимает все то пространство, где теперь шумит деревьями и великолепными фонтанами обширный сквер. Здания газеты «Известия» еще нет и в помине. На этом месте пустырь и забор.

Мы почти у цели. Пройдем мимо расположенного на углу кинотеатра, который в будущем будет называться «Центральный», а теперь почему-то носит французское название «Ша нуар», то есть «Черный кот», и повернем направо в ворота большого здания в стиле «модерн», где сейчас находится редакция газеты «Труд». В глубине двора, заваленного бумажными рулонами, — пятиэтажный кирпичный корпус. Поднимемся по лестнице с простыми железными перилами. На втором этаже находится редакция «Известий». Этажом выше — «Правда».

Набравшись смелости, я, приехавший из Киева никому не известный молодой художник, принес сегодня нарисованную мною карикатуру в «Правду». В «Правду!» В газету, которую читают миллионы людей, к голосу которой прислушивается весь мир. И, кроме того (это важно, конечно, лично для меня), в газету, где работает такой выдающийся карикатурист, как Дени...

С понятным волнением я открываю дверь в редакцию и вхожу в очень просторный, прямой коридор, куда по обеим сторонам выходят стеклянные двери кабинетов и отделов газеты. В коридоре царит оживление — это место встреч, летучих бесед, деловых и неделовых разговоров. В кабинетах более тихая и сосредоточенная обстановка — там идет работа.

Именно в коридоре, а не в кабинете, я и увидел впервые одного из редакторов «Правды». Он шел быстро, слегка размахивая правой рукой, в которой держал длинные полоски газетных гранок. На нем была сияя рабочая блуза, на ногах — домашние туфли.

Пробормотав какие-то слова, смысла которых ни он, ни я не поняли, я протянул ему рисунок.

— Что ж, — сказал он. — Пожалуй, это недурно... Марья Ильинична, — обратился он вдруг к женщине, которая в этот момент вышла из стеклянной двери с надписью «Секретариат», — посмотрите-ка эту штученцию.

У женщины было серьезное ширококulosое лицо, светлые внимательные глаза. Гладко причесанная голова чуть-чуть склонена набок.

Марья Ильинична взяла в руки рисунок, но в эту секунду из секретариата выглянула молоденькая смуглая девушка с криком:

— Марья Ильинична! Верхний!

Марья Ильинична торопливо пошла обратно, унося с собой мое произведение, и я видел сквозь открытую дверь, как она взяла трубку висевшего на стене деревянного телефона, и услышал ее спокойный голос:

— Это ты, Володя?

Редактор в синей блузе тоже вошел в секретариат, и дверь закрылась.

Впоследствии мне еще не раз придется бывать в «Правде», показывать Марье Ильиничне свои рисунки и выслушивать ее мнение. Не раз буду я заходить в секретариат и беседовать с Соней Виноградской (так звали смуглую девушку, помощника Марьи Ильиничны). Я хорошо буду знать, что возглас «верхний!» обозначает звонок аппарата так называемого верхнего коммутатора Кремля, соединяющего редакцию «Правды» с кабинетом и квартирой Ленина.

Но в тот день я вышел из редакции под особым впечатлением. Я размышлял не столько об участии своего рисунка, хотя это меня весьма интересовало, сколько о том, что мне, мне самолично, довелось присутствовать при том, как в редакции «Правды» Марья Ильинична Ульянова — сестра Ленина! — разговаривала по телефону с ним самим, с Владимиром Ильичем... Я был взбудоражен и взволнован. «Вот что такое Москва!» — повторял я себе.

Развернув на другое утро «Правду», я увидел свой рисунок. Он был напечатан на обычном месте политической карикатуры — на первой полосе справа. Можно себе представить мою радость!

«Успех нас первый окрылил...»

За первым рисунком в «Правде» последовал второй, третий...

## РОЖДЕНИЕ «КРОКОДИЛА»

Редактором «Рабочей газеты» был интересный и своеобразный человек, старый большевик-правдист Константин Степанович Еремеев — «дядя Костя», как называла его за глаза и в глаза вся редакция. По его инициативе начало выходить еженедельное иллюстрированное «Приложение к «Рабочей газете», в котором помещались и карикатуры. В «Приложении» принимали участие художники Д. Моор, М. Черных, И. Маютин, Д. Мельников. Привлекли и меня. Секретарем был молодой поэт-сатирик В. Лебедев-

Кумач. Художественно-технической частью ведал И. Абрамский. Помогал «Приложению» и близкий друг дяди Кости — Демьян Бедный.

«Приложение» было любимым детищем К. С. Еремеева, который отдавал ему массу времени, энергии и выдумки. Из номера в номер дядя Костя расширял место, уделяемое сатирическим рисункам и материалам, и вскоре, примерно к шестому-седьмому номеру, «Приложение» превратилось по существу в сатирический еженедельник. У нового журнала не было только имени.

Весь наш маленький коллектив изощрялся в придумывании поджудящего названия. Перебрал всё острое, колющее, режущее... Заноза, Колючка, Шило, Жало, Перец, Шмель, Репейник — все это твердо отвергалось дядей Костей.

Наконец, наступил крайний срок. Первый номер нового журнала (одиннадцатый номер «Приложения») уже был набран, сверстан, слушен в машину. Пустой оставалась только первая страница, на которой должно было красоваться новое название.

Перед Еремеевым предстал директор издательства.

— Константин Степанович! Больше тянуть не можем. Типография ждет, машины стоят. Давайте название.

Дядя Костя немного помолчал, вынул изо рта трубку, неторопливо выколотил ее, снова набил табаком, чиркнул спичкой, затянулся, выпустил клуб дыма, помахал на него рукой и сказал:

— «Крокодил».

После короткой паузы посыпались возражения. Наперебой говорили о том, что читатель не полюбит журнал с таким «отталкивающим» названием, что крокодил не-симпатичен, безобразен...

— Зато зубаст, — отрезал Еремеев. — А насчет всего прочего, то именно от вас, художников и поэтов, зависит сделать «Крокодил» симпатичным, милым и привлекательным. От вас зависит, чтобы читатель любил наш «Крокодил». Одним словом — «Крокодил»!

На том и порешили.

\* \* \*

Я работал в газете и новом журнале, что называется, не покладая рук, стараясь при этом «на ходу» учиться, развивать и совершенствовать свою художественную технику, которая никак не могла меня удовлетворить.

Еще в Киеве я усвоил очень сухую, линейную манеру рисунка почти без заливок и штриховок. Очень нравилось мне к тому же акцентировать основные фигуры, дополнительно обводя их по контуру сильной и толстой, как проволока, линией. Мне казалось, что это придает фигурам особую четкость и рельефность и не замечал, что рисунок при этом какой-то скованный, жесткий.

— Чувствуется, понимаешь, в рисунке пот, — заметил как-то по этому поводу брат. Мне эти слова запомнились.

Однажды я принес для «Крокодила» ка-

рикатуру, которую считал вполне удачной как по сюжетному решению, так и по рисунку, и был искренне удивлен, когда В. И. Кумач отнесся к моему произведению довольно кисло.

— Понимаете, какое дело, — говорил Василий Иванович, деликатно подбирая слова, видимо опасаясь «задеть самолюбие» молодого художника. — Все это, может быть, здорово сделано, выразительно и все прочее... Но... как бы вам сказать... Не по душе мне такой рисунок. Уж очень он, понимаете ли, вылизан, вышлифован... Возьмите хотя бы вот эту вещь. — Кумач взял в руки рисунок одного из художников «Крокодила». — Пусть это небрежно, незаконченно, размашисто... Но зато какая-то, черт его знает, легкость чувствуется, искусство! А у вас уж очень, извините, сухо, вымученно.

Я слушал Кумача недоверчиво. Мне казалось маловероятным, что ему всерьез нравятся такие нарочито небрежные, разболтанные, откровенно и эстетски имитирующие детский рисунок карикатуры. Они были, может быть, талантливы, живописны, оригинальны, но что общего, думалось мне, между таким лихим, эффектным незаконченным «левым» рисунком и сатирическим сюжетом политической карикатуры, где все должно быть ясно, определено, целесообразно. Всему свое место. Ведь политическая карикатура — это не импрессионистский пейзаж или натюр-морт.

Рисунок может подкупать свежестью и непосредственностью изобразительной манеры, но вместе с тем очень плохо выполнять свою целенаправленную сатирическую функцию. Что же предпочтительнее?

Все же кое-что в замечаниях Кумача показалось мне справедливым и, размышляя об этом, я пришел к выводу, что истина, как это часто бывает, «лежит посередине».

Не нужно крайностей. Сухой, вымученный рисунок действительно неприятен. Но, с другой стороны, «непринужденный», приблизительный набросок, выдаваемый за готовое произведение, тоже вызывает сомнение.

Можно ли себе представить, что архитектор сдаст новый дом недостроенным, с неснятыми строительными лесами, считая, что это придает зданию своеобразие и прелесть незаконченности?

А некоторые художники без малейших колебаний печатают в журналах рисунки со столь небрежными, случайными штрихами, незаконченными контурами, «смелыми» капрызными пятнами, что это иногда производит впечатление не «свободной» манеры, а самой прозаической лени и неуважения к читателю.

Да, от рисунка не должно «пахнуть потом», но рисовать нужно трудолюбиво, добросовестно, и художнику следует основательно попотеть, чтобы его произведение казалось сделанным легко, непринужденно и как бы шутя.

Все эти теоретические рассуждения и благие намерения не всегда последовательно и не всегда удачно претворялись мною в практической работе. Тем более что поле для применения сил и энергии было в Мо-

скве широкое — много было в столице газет и журналов, и все время возникали новые издания. Всюду требовали быстрой и оперативной работы. Времени отпускалось немного, и следует ли поэтому удивляться явной неравноценности и разностильности моих рисунков того периода, сделанных как будто не одним, а разными художниками.

И все же, шаг за шагом, в моих работах проступала индивидуальность, их стали узнавать не только по подписи, но и по каким-то характерным черточкам и приемам.

У меня появилось «лицо».

Примерно на третий месяц своей жизни в Москве я сделалась постоянным карикатуристом газеты «Известия».

## ВПЕРВЫЕ В ПАРИЖЕ

...Слишком много талантливых и наблюдательных людей рассказывало об этом городе, чтобы я мог добавить что-нибудь новое к описанию того неповторимого момента, когда вы с мыслью: «Вот и Париж!» — впервые выходите из поезда на «Гар дю нор» — Северном вокзале.

Правда, мне лично несколько не повезло. Прелесть первых шагов по парижской земле была немного испорчена тем, что мы с писателем Ефимом Зозулей прибыли поздно вечером, ехали по городу какими-то боковыми, не очень освещенными улицами, только изредка пересекая многолюдные, сверкающие огнями площади и магистрали. Моросил холодный дождик. Было мрачновато и как-то беспокойно: в огромном чужом городе у нас не было ни друзей, ни знакомых, к которым можно было бы направиться прямо с вокзала, а остановиться в какой-нибудь гостинице мы не решались по причине неопытности и скудости средств...

Единственным ориентиром и путеводным маяком во мгле капиталистического Вавилона была полученная нами заблаговременно информация о том, что Илья Григорьевич Эренбург ежевечерне бывает в кафе «Ротонда» на Монпарнасе.

— Там его и ищите, — сказали нам в Берлине.

Не выпуская из рук чемоданов, мы явились в знаменитое кафе парижской литературной и художественной богемы и — о, радость! — действительно увидели там Эренбурга. Он отнесся к приезжим со свойственным ему гостеприимством и снисходительным добродушием. Очень быстро все было устроено. Повеселевшие и успокоенные, мы отправились на ночлег, чтобы утром проснуться в Париже.

Конечно, я буду не оригинален, но можно ли подумать о Париже, а тем более очутиться в этом городе без того, чтобы живые образы, созданные Гюго, Дюма, Ренуаром, Золя, Мане, Бальзаком, Тулуз-Лотреком, Франсом, Мопассаном, не встали перед вами? Они теснятся вокруг вас, напоминают о себе названиями улиц и площадей, зданиями и памятниками, бесконечно знакомыми по гравюрам, картинам, фотографиям и иллюстрациям.

Вооружившись подробным планом города, я добросовестно обходил улицу за улицей. Поднимался на Эйфелеву башню и Триумфальную арку, спускался в подземелье Пантеона и катакомбы площади Барбес-Рашенуар; благоговейно лицезрел сокровища Лувра и Люксембургского музея; застывал в почтительном восхищении перед Венерой Милосской и дивился кунсткамере Музея восковых фигур; от средневековых сводов капеллы Людовика Святого переходил к ультрамодернистским образцам конструктивистских домов на улице Малё-Стеван; смотрел американское ревю в театре «Фолы-Бержер» и трудолюбиво топал по каменным ступеням винтообразной лестницы в соборе Парижской Богородицы, чтобы лично проверить, мог ли архидиакон Клод Фролло видеть казнь Эсмеральды на Гревской площади по ту сторону Сены.

Должен признаться, что наибольшее впечатление произвело на меня все, связанное с революционными событиями во Франции. Интерес к этим событиям привел меня в известный музей «Карнавалё», где собрано то немногое, что осталось от «гигантов девяносто третьего года».

Волны революции, сокрушившие могучего Дантона и непоколебимого Сен-Жюста, сохранили на своей вспененной поверхности и пронесли через десятилетия жалкие обыденные вещи, бранные осколки уничтоженных жизней.

Под толстым стеклом важно лежат на бархате витрины заржавленные вилки и ножи, чернильницы, часы и медалионы.

К этим «реликвиям» остаешься, в общем, равнодушным, но один экспонат в той же витрине сразу овладевает вниманием, и ты надолго застываешь в безмолвии. Это — пожелтевший лист бумаги с ржавыми пятнами крови по краям, покрытый неровными трясущимися строками и подписанный внизу несколькими фамилиями. Среди них нетрудно разобрать имена Бийо-Варенна, Сен-Жюста, Кутона. А ниже всех, у самого края листа, в ближайшем соседстве с ржавыми пятнами, две буквы — «Ro»...

Этот лист и есть знаменитая прокламация, начинающаяся словами: «*Couage, patriotes!*»<sup>1</sup> Может быть, один из самых трагических документов, существующих в мире. Он был написан в парижской ратуше вечером 9 термидора, когда чаши весов еще колебались и нельзя было предсказать, на чью сторону склонится победа.

Тогда и было составлено воззвание к народу и войскам. Его дали подписать Робеспьеру. Но, начертав первые две буквы, он бросил перо. Дух Робеспьера был уже сломен утренней потрясающей сценой в Конвенте. Им овладели апатия обреченности и фаталистическая неподвижность...

...В самом сердце Парижа, двумя круглыми островерхими башнями — черными часовыми древнего Ситэ — встает на берегу Сены одна из знаменитейших тюрем мировой истории — Консьержерий.

Самые трагические и кровавые эпизоды

<sup>1</sup> «Мужайтесь, патриоты!»

Французской революции 1793 года отмечены на каменных страницах Консьержери, в лабиринтах полутемных галерей, крутых лестниц и высоких железных решеток.

Тяжелые дубовые двери ведут из небольшого четырехугольного дворика в полуподвальный зал, слабо освещенный высокими готическими окнами.

Скучающая кассирша за деревянной перегородкой, билеты по два франка — казенная музейная обстановка. Совсем как где-нибудь в собрании фарфоровых коллекций. Но это впечатление бесследно исчезает при первом же повороте ключа, которым служитель отпирает толстую решетку из квадратных железных брусев. Решетка ведет в небольшой зал-коридор, через который прошли без исключения все, кто совершил роковой путь: на заседание трибунала, а оттуда — на гильотину. Круглые сутки не прекращалось движение между тюрьмой и трибуналом, почему зал-коридор и получил название: «Рю де Пари» — Парижская улица.

Накануне в Версальском музее я видел картину «Последние жертвы террора», изображающую «Парижскую улицу» вечером 9 термидора, когда в Консьержери уже стало известно о падении Робеспьера, но казни «по инерции» еще продолжались. Сорок пять человек отправились на гильотину, отчетливо сознавая, что от спасения их отделяет лишь несколько часов.

Утром 10 термидора по «Парижской улице» проследовал на носилках изуверенный выстрелом в челюсть Робеспьер, встреченный дикими криками ярости, проклятиями и насмешками заключенных.

...Две двери рядом. Левая ведет в камеру Марии-Антуанетты. Дверь эта сверху заделана поперечными досками, нужно сильно пригнуться, чтобы переступить порог. Гид объясняет: это было сделано по приказанию прокурора Фуке-Тенвиля, чтобы приучить «австриячку» при выходе из камеры склонять «коронованную голову» перед представителями Республики.

Рядом — крошечная узкая камера. Сюда были поставлены носилки с Робеспьером, и здесь он, страдая от невыносимой физической и душевной боли, не произнес ни одного слова, находился еще пять часов до отправки на гильотину.

...«Зал жирондистов». В этом мрачном сводчатом помещении в ночь накануне казни жирондисты устроили прощальный банкет.

Теперь здесь часовня и одновременно музей различных тюремных раритетов, вроде конспиративного письма, посланного Марией-Антуанеттой группе роялистских заговорщиков и перехваченного революционной стражей. Письмо это не написано, а наколото иголкой микроскопически-мелкими дырочками. Есть тут и нечто более интересное: не без некоторого волнения подходишь к прикрепленному к стене деревянным брусом продолговатому куску железа, косо срезанному внизу и покрытому бурой вьешьей ржавчиной. Ошибиться невозможно... Это и есть знаменитая «Rasoir nationale» — «нацио-

нальная бритва» — нож гильотины, которым были снесены головы короля и королевы, Дантона и Демулена, Робеспьера и Фуке-Тенвиля, Лавауэе и самого изобретателя «бритвы» — доктора Гильотена...

Один из немногочисленной группы туристов — американец, в широчайшем пальто травянистого цвета, с фотоаппаратом через плечо — внимательно осматривает и ощупывает топор гильотины. Потом, справившись о чем-то в путеводителе, деловито осведомляется у служителя на ломаном французском языке, кивнув в сторону «национальной бритвы»:

— Коньбен кут? (сколько стоит?)

Служитель с видом величайшего сожаления вежливо разводит руками...

Не надо, однако, думать, что мои парижские впечатления были связаны в основном с событиями давно минувших времен. Нисколько. История историй, а живой Париж ничуть не в меньшей степени удивлял и будоражил обилием впечатлений — приятных и отталкивающих, комичных и угнетающих — но почти всегда интелесных и волнующих.

Рядом с древним, убеленным сединами веков городом, насыщенным реликвиями и преданиями прошлых столетий, существовал, органически и закономерно продолжая его развитие, как бы прорастая сквозь него, Париж современный.

Достопримечательности самого различного вида и характера буквально наступали со всех концов. Я разрывалась на части: с детства укоренившаяся любовь к истории бросала меня от Консьержери к Трианону, от гробницы Наполеона — к описанному Дюма в «Двадцать лет спустя» средневековому замку Донжон в Венсенне, от Стены коммунаров — к маленькому кафе «Круассан», где в канун первой мировой войны пал от руки убийцы основатель «Юманите» Жан Жорес; интерес к искусству увлекал в художественные музеи, салоны, на выставки, приковывал к защищенной стеклом «Джиконде», к могучим полотнам Рубенса, Веласкеса, Давида, Делакруа; наконец, как политического карикатуриста-газетчика, меня с огромной силой притягивало все, что было связано с злободневными событиями и фактами общественной жизни и международной политики.

Мог ли я не добиваться всеми правдами и неправдами билета в Палату депутатов, чтобы увидеть там Эррио за председательским столом и выступающего с ораторской трибуны Пуанкаре? Живые модели моих рисунков воочию предстали передо мной в темноватом зале Бурбонского дворца...

Мог ли я, скажем, остаться равнодушным к тому обстоятельству, что в Париж прибыл сэр Остин Чемберлен, и не постараться увидеть этого приветливого джентльмена при выходе из Парижской ратуши? Боже, и монокль на месте! Не хватает только прочих непременных атрибутов карикатур на сэра Остина — ордена Подвязки ниже колена и медали Нобелевской «премии мира».

Вспоминая Париж, я вижу и Владимира Маяковского, шагающего по Большим бульварам и Рю де ля Пэ, той же размеренно-спокойной, уверенно-хозяйской поступью, как в Москве по Столешникову переулку.

Однажды, войдя в усыпанный звонким гравием внутренний дворик советского полпредства на Рю де Гренель, я увидел поэта перед фотографом. Этот снимок хорошо известен: Маяковский в серой кепке и коротком полупальто с меховым воротником. Руки засунуты в боковые карманы, ноги стоят твердо, устойчиво. Не меняя положения перед объективом, он окликнул меня со своей характерной приветливо-повелительной интонацией:

— Е-фи-мов!

Я подошел.

— Поедем вечером на Пигал? — спросил Маяковский, твердо выговаривая букву «л» в названии известной площади на Монмартре, где находятся «Мулен-Руж» и другие популярны мюзик-холлы.

— С вами хоть в пекло, Владимир Владимыч!

— Люблю бодрых людей. Встреча вечером в «Ротонде».

Я был безмерно рад этому предложению и предвкушал, какой интересной и памятной будет прогулка по Парижу вместе с Маяковским.

Маяковский вызывал к себе необычное отношение: всегда и везде было интересно видеть его, слушать, наблюдать; в любой обстановке, в любой аудитории и компании он был центром внимания. Каждая встреча с ним, каждый, даже мимоличный разговор запоминался как маленькое событие, о котором хотелось обязательно рассказать:

— Видел вчера Маяковского. Сидим мы в редакции, разговариваем. Вдруг он входит... Весело так поздоровался, сел...

— Шел я сегодня по Тверской. Вижу — от Столешникова шагает Маяковский. Невеселый какой-то, задумчивый...

— Недавно у нас на совещании Маяковский присутствовал. Пришел, правда, к самому концу, послушал, послушал, потом встал и говорит...

И т. п.

Поэзия Маяковского затронула воображение моего поколения уже первыми своими опытами. Острыми гротескными образами и необычной ритмикой привлекали внимание ранние его сатирические стихотворения, напечатанные в предреволюционном «Сатириконе».

Помню, как весной 1919 года в Киеве Михаил Кольцов и Ефим Зозуля затеяли и осуществили издание альманаха «Стихи и проза о русской революции». В него вошли поэтические произведения А. Блока, С. Есенина, А. Белого, И. Эренбурга, Л. Никулина, Э. Кроткого, проза М. Горького, В. Лидина, Е. Зозули, публицистика М. Кольцова «Русская сатира и революция» и другие материалы. Я нарисовал для сборника обложку.

«Гвоздем» альманаха бесспорно были

два отрывка из книги Маяковского «Простое, как мычание», которые, наряду с «Двенадцатью» Блока, произвели на нас наибольшее впечатление.

...Никак не могу припомнить — досадный провал памяти, — когда я увидел Маяковского впервые. Скорее всего это могло быть в редакции «Ивестий», куда он часто приходил. Размашисто раскрыв дверь ударом ладони (Маяковский не любил браться за дверную ручку), он обычно присаживался на край стола редакционного секретаря поэта В. Василенко и начинал читать принесенные для газеты стихи.

Зато очень ясно, отчетливо помню квартиру Маяковского — Бриков в Водопьяном переулке. Кольцов, который был очень дружен с Маяковским, взял меня с собой на первую читку поэмы «Про это». Помню огромную комнату, переполненную людьми, нестройный гомон голосов. Маяковский был, по-видимому, в отличном настроении, оживлен, приветлив, произносил шуточные, забавные тосты. Наконец, все стихло. Началось чтение.

Читал Маяковский с огромным темпераментом, выразительно, увлеченно.

После чтения началось обсуждение, столь же страстное, бурное и... для меня малопонятное. В разгаре дебатов девушка, рядом с которой я случайно очутился, неожиданно предложила мне сыграть в шахматы. Мы устроились в сторонке у окна и погрузились в игру, тихо между собой беседуя.

— Скажите, — спросил я, — вы поняли все, что читал Владим Владимыч?

— Я уже второй раз слушаю, — был неясный ответ.

— Вера Михайловна, — сказал я, проникшись к ней доверием, — вы тут, как будто, свой человек. Научите, умоляю, что примерно надо ответить, если кто-нибудь вздумает спросить мое мнение?

В ее узких глазах мелькнула лукавая искорка.

— Надо сказать, — произнесла она с серьезным лицом, — здорово это Маяковский против быта.

... 1923 год. В крохотном помещении в Козицком переулке — редакция только что организованного «Огюлька». В дружеской тесноте делаются первые номера журнала. В одной комнате — и редактор журнала Кольцов, и заместитель его Зозуля, и многочисленный «аппарат» редакции, и многочисленные посетители: писатели, журналисты, поэты, художники, фотографы. На одном из столов вместе с другими материалами лежат принесенные мною иллюстрации к рассказу. Входит Маяковский. Он дружески расположен к новому журналу и в первый же номер дал замечательное стихотворение, посвященное Ленину.

Поэт по-хозяйски перебирает лежащие на столе рукописи, берет один из моих рисунков.

— Ваш?

— Мой, Владим Владимыч.

— Плохо.

Я недоверчиво улыбаюсь. Не потому,

что убежден в высоком качестве своей работы, а уж очень как-то непривычно слушать такое прямое и безапелляционное высказывание. Ведь обычно принято, если не нравятся, промолчать или промямлить что-нибудь маловразумительное.

Маяковский протягивает огромную руку за другим рисунком. Я слежу за ним уже с некоторой тревогой.

— Плохо,— отчеканивает поэт и берет третий, последний рисунок.

— Оч-чень плохо,— заявляет он тоном, каким обычно сообщают чрезвычайно приятные новости, и, видимо считая обсуждение исчерпанным, заговаривает с кем-то другим.

Таков был простой, прямой и предельно откровенный стиль Маяковского. В вопросах искусства он был непримиримо принципиален даже в мелочах, не любил и не считал нужным дипломатничать, кривить душой, говорить обиняками и экивоками.

Плохо — значит плохо, и «никаких гвоздей»!

Вероятно, немало недоброжелателей и даже врагов приобрел он себе именно таким путем. Что касается меня, то скажу по чистой совести: я не обиделся на Маяковского. Я поверил, что рисунки действительно плохи. И тем более радостными и приятными бывали для меня скупые похвалы, которые мне впоследствии приходилось слышать иногда от Владимира Владимировича.

## С ИЛЬФОМ И ПЕТРОВЫМ

Осенью 1933 года маленькую группу писателей и художников приняли на борт суда Черноморского флота, уходившие в заграничное плаванье.

Трое — Илья Ильф, Евгений Петров и я — попали на голубой красавец крейсер, флагман советской эскадры.

На этом прекрасном боевом корабле, оснащенный по последнему слову техники, все было так безукоризненно подтянуто и прибрано, так гармонично, что наши сугубо штатские фигуры в помятых пиджаках и шляпах бессовестно нарушали безукоризненную симметрию крейсера, невыносимо резали глаз истинным морякам.

Наш вид особенно портил настроение старпому корабля — красивому и стройному офицеру с идеальной выправкой. Появляясь на верхней палубе, мы читали на лице его подлинное страдание.

— Всем с левого борта-а! — кричал он звучным голосом, глядя куда-то в сторону, хотя в данный момент, кроме нас, на левом борту не было ни одного человека.

За обеденным столом он становился добрее и подробно пересказывал авторам «Двадцать стульев» и «Золотого тельца» отдельные эпизоды из походов Остапа Бендера.

Впоследствии я не раз встречал портреты нашего старпома на страницах газет. Он стал адмиралом, Героем Советского Союза, видным морским деятелем нашей страны.

Погожим октябрьским утром эскадра

вошла в Босфор и бросила якорь у стен Стамбула.

Три дня без устали бродили мы по улицам старого, причудливого, много видевшего города, натываясь на каждом шагу на какие-нибудь исторические памятники — от древних византийских ворот, через которые первые турецкие воины ворвались в окровавленный Константинополь, до пустых и мрачных покоев султана Абдул-Гамида в Большом серале.

Нечего и говорить, что первым делом мы кинулись в Айя-Софию и Голубую мечеть, потом посетили дворец Топ Капу. Семибашенный замок, побывав на древней площади Ипподрома, глазели на Розовый обелиск, Змеиную колонну и косились в сторону выходящей на эту же площадь исправно действующей зловещей средневековой тюрьмы.

Мы шагали по знаменитой «Галатской лестнице», живописно спускающейся к Золотому Рогу — ступенеобразной улице с пестрыми лавочками, кофейнями и харчевнями, окутанными острыми и сложными запахами. В прилегающих к «лестнице» кривых и запутанных переулках, куда мы не отважились углубляться, можно было наблюдать жуткую «экзотику» всемирно известных портовых притонов, видеть несчастных женщин в тесных каморках, только решеткой отделенных от каменных плит тротуара.

Видели мы и любопытное «подземное озеро» — древнее водохранилище огромных размеров, одну из стамбульских достопримечательностей. Не зная турецкого языка, мы никак не могли выяснить у прохожих дорогу к «озеру», пока не догадались пустить в ход самый понятный интернациональный язык — изобразительный. На листке из записной книжки я нарисовал несколько волнообразных линий, между ними рыбу, над ними — лодку, и все это покрыл дугой, над которой изобразил дом. Внимательно рассмотрев это произведение, пожилой турок радостно хлопнул себя по лбу, а меня по плечу и повел нас в нужном направлении.

Центральным моментом пребывания советской эскадры в Стамбуле была эффектная и внушительная церемония возложения венка к памятнику Независимости. Была прекрасная погода. В парадном строю, четко печатая шаг, громом и звоном краснофлотского оркестра оглашая залитые солнцем улицы, советские моряки с командованием во главе прошли по всему городу к площади Таксим.

Стоя в густой толпе, мы с Ильфом и Петровым любовались импозантным зрелищем и горделиво поглядывали на окружающих, как будто те могли знать, что мы имеем какое-то касательство к этой красивой, могучей силе под красноразветленным знаменем.

Утром эскадра снялась с якоря. Турецкий морской пост, расположенный на высоком мысе Хеллес, поднял на крепостной башне традиционный сигнал «Счастливого плаванья». Мы пошли Дарданеллами вдоль зловещей панорамы заброшенных кладбищ, разрушенных укреплений, валяющихся на галлиполийском берегу ржавых орудий и прово-



„Семь бед — один ответ“

ПЕРВОЕ СОПРИКОСНОВЕНИЕ



Генерал Франко... Ну, вот, ваше превосходительство, и вы тоже познакомились с этими республиканцами.



Илья и Петров на крейсере  
Сентябрь 1933 г.



Илья Ильф и Евгений Петров на крейсера  
Сентябрь 1933 г.



лочных заграждений — мрачных памятников империалистической войны, печально знаменитой «дарданелльской операции» Черчилля. Корабли вошли в Эгейское море и взяли курс через Архипелаг на Пирей.

Прибытие в Грецию ознаменовалось тем, что в матросском кубрике, где я спал сладким сном, меня ранним утром энергично растолкал Женя Петров.

— Как вам не стыдно спать, ленивец вы этакий! — восклицал Петров со свойственными ему певучими интонациями. — Ей-богу, Боря, я просто вам удивляюсь. Мы в Греции, понимаете ли вы? В Элладе! Фемистокл! Перикл! Наконец, тот же Гераклит! «Все течет, все изменяется!» Вы понимаете, что в этих словах заложена, по существу, самая настоящая диалектика? Вчера Морозов (редактор «Красного Черноморца») просил написать для газеты маленькую популярную статью о Греции. Давайте возьмемся. Я думаю прямо с Гераклита и начать. «Все течет, все изменяется!» Это же просто замечательно!

Женя Петров был удивительно милым человеком, экспансивным, легко зажигающимся и способным зажигать других. Совершенно другого склада был Ильяф — сдержанный, по-чеховски застенчивый, скептический и ироничный. Их содружество было на редкость удачным и плодотворным. Оно подкупало не только писательской талантливостью, но и своим моральным обликом: союз двух хороших, честных, принципиальных людей, верных и отзывчивых товарищей.

Раз или два мне пришлось видеть, как они вместе работают, довольно упорно препираясь по поводу какой-нибудь фразы. Писал, то есть физически водил пером по бумаге Петров. Ильяф обычно шагал взад и вперед по комнате. При появлении постороннего человека оба останавливались и весьма неохотно возобновляли работу: в своей творческой кухне они, как и многие другие, не любили зрителей.

Средиземное море встретило нас неприятливо. Прославленной лазури не было и в помине. Сильный шторм вздымал серые, злые волны. Наш крейсер шел твердо и устойчиво, но следовавшие за ним миноносцы так зарывались носом в воду, что страшно было смотреть, и мы болели душой за находившихся там наших товарищей, которые отнюдь не были презирающими качку просмоленными морскими волками, — писателя Борю Левина и художника Костю Ротова.

Вечером корабли вошли в Мессинский залив, и мы увидели изумительное зрелище: бесчисленные огни городов Реджо и Мессина, огни в горах, огни на дорогах, и дополнительно подсвечивающее всю эту иллюминацию багровое пламя действующего вулкана Стромболи. Утром перед нами открылась неправдоподобно красивая панорама Неаполитанского залива.

Итальянские власти встретили эскадру весьма любезно. По всем правилам международного этикета стороны обменялись салютами, гимнами, приветствиями, визитами, обе-

дами и тостами. Экипажам кораблей была предложена традиционная туристическая программа Неаполя — Национальный музей, набережная Санта Лучия, Вомеро, Сорренто, Капри, Помпеи... Огромные красные автобусы развозили советских гостей сразу по всем примечательным местам знаменитого города и его окрестностей. В веселой сумятице на берегу я потерял своих спутников и, сев в первый подвернувшийся автобус, оказался участником экскурсии на Везувий.

Надо сказать, что популярный вулкан, который уже много лет вел себя тихо и смиренно, как раз в том году стал неожиданно проявлять активность. Днем над Везувием висело густое тяжелое облако дыма, вечером — красное, зловещее зарево.

Мы поднялись к вершине в ступенчатых вагончиках фуникулера и из ясного утра сразу попали в холодный, пронизывающий туман и неприятный моросящий дождик. Экскурсантам роздали обшитые красной каймой черные шерстяные плащи с капюшонами, в которых мы сразу стали похожи на разбойников из оперы «Фра-Дьяволо». Потом нас куда-то повели гуськом по обрывистой скале. Туман настолько сгустился, что я различал только ближайших соседей по цепочке. Вскоре шедший впереди меня экскурсант куда-то пропал, затем в тумане исчез задний. Потом я снова нагнал группу в разбойничьих капюшонах, и через несколько минут мы спустились к какому-то страшному провалу, окутанному желтоватыми клубами густого дыма. Это и был недавно открывшийся кратер. Гиды пригласили желающих спуститься вниз. В этот момент я обнаружил, что нахожусь среди совершенно незнакомых мне иностранных туристов. Большинство из них, удовлетворившись, по-видимому, созерцанием эффектного внешнего вида кратера, воздержалось от более близкого знакомства с вулканом. Другие стали спускаться внутрь. После некоторого колебания я последовал за ними, справедливо рассудив, что подобный случай вряд ли скоро представится.

В кратер вела отлогая, спиральная и, казалось, бесконечная тропинка. Мы шли в удушливых сернистых испарениях, кашляя и задыхаясь, держась за веревки, натянутые на железные кольца. Наконец, спуск закончился, дым немного рассеялся и глазам представилось совершенно фантастическое, я сказал бы, адское зрелище.

Громоздясь причудливыми пластами и завитками, кругом шевелилась и пузырилась раскаленная лава. Местами, уже остывшая, пепельно-серая, она лежала неподвижно, похожая на туго свернутые кольца чудовищных канатов, а тут же рядом, светясь изнутри красным пламенем, она медленно наползала, подобно огненно-жаркой пасте, выдавливаемой из огромного невидимого тубика. Откуда-то снизу, из преисподней, доносился страшный урчащий гул.

Старик итальянец в потертом пиджаке брал у туристов мелкие монеты, отрывал железным крючком клочок полуостывшей лавы, «запекал» монету в еще теплое каменное тесто и продавал желающим эти тут же фабрикуемые сувениры. Чья-то сильная рука

схватила меня за плечо. Я обернулся и столкнулся нос к носу с Женей Петровым. Глаза его возбужденно сверкали. Он был в полном восторге.

— Вот это встреча, Боря? А? — закричал он. — Вы только подумайте! Мы будем вспоминать об этом всю жизнь! Будем говорить: «Где это мы с вами встречались? В «Огоньке»? Нет. В Доме писателя? Нет. На Клязьме? Нет. А, вспомнил! В кратере Везувия».

Выбравшись наружу, мы снова попали в теплый солнечный день. После похостей на ночной кошмар обстановки в подземных недрах было особенно приятно очутиться в уютном ресторане на склоне Везувия, где итальянские власти давали завтрак в честь прибывшего в Неаполь полпреда СССР В. П. Потемкина и командного состава эскадры.

На другой день советские корабли отплыли в Севастополь. Мы распрощались с нашими товарищами по морскому походу: полпред Владимир Петрович Потемкин пригласил Ильфа, Петрова и меня погостить у него несколько дней в Риме. Так я снова попал в «Вечный город».

Когда я вспоминаю это свое второе пребывание в Риме, передо мной прежде всего встает высокая, представительная фигура Владимира Петровича с его красивой седой шевелюрой и острым наблюдательным взглядом сквозь овальные стекла пенсне. Это был человек большой культуры и эрудиции, блестящего ораторского дарования.

Мы жили в полпредстве и ежедневно получали приглашение завтракать вместе с Владимиром Петровичем и Марьей Петровной — его женой, живой и деятельной маленькой старушкой.

Мы очень любили эти утренние встречи, которые всегда сопровождалась интереснейшими, сверкающими красноречием, полными юмора и наблюдательности рассказами, воспоминаниями и характеристиками, на которые Потемкин был большой мастер.

Затаив дыхание, слушали мы воспоминания о годах гражданской войны, когда Потемкин был начальником Политуправления Южного фронта; о любопытных черточках Кемаля-паши, которого Владимир Петрович наблюдал, будучи на работе в Анкаре; рассказы о его нынешнем, как он выражался, «дипломатическом партнере» Муссолини, о простоватом короле-нумизмате Викторе-Эмануэле и о многих занятных происшествиях дипломатической практики.

Помню забавный рассказ о том, как советник полпредства Р. в день первой аудиенции Потемкина у итальянского короля... забыл захватить с собой верительные грамоты для вручения их новым полпредом. Это обстоятельство обнаружилось в тот момент, когда торжественный кортеж уже двинулся от здания полпредства и запряженная шестеркой лошадей карета с советскими представителями, окруженная почетным караулом и пышным эскортом конной гвардии, находилась на полпути к Квиринальскому дворцу.

Все, впрочем, обошлось благополучно. Король охотно удовлетворился устным представлением Владимира Петровича, грамоты

были доставлены на другой день, и только начальник протокольной части королевского двора заболел от переживаний, так как, по его собственному признанию, подобного казуса не было во всей его многолетней протокольной деятельности...

Великолепно зная Италию, и в частности Рим, Потемкин заботливо наставлял нас советами, как в течение тех немногих дней, которые были в нашем распоряжении, увидеть самое интересное и значительное.

Мы добросовестно исходили почти что все знаменитые места. Не повезло только с Сикстинской капеллой — она почему-то была закрыта. Ильф никак не мог успокоиться.

— Новое дело, — ворчал он, — Сикстина закрыта на учет... Ресторан закрыт на обед... Ватикан закрыт, так как папа дал обет...

Его очень смешил коммерческо-деловой стиль папского государства, комфортабельная, банковская обстановка Ватикана. Кстати, в Ватикане имеется и самый настоящий банк. На массивной мраморной доске золотыми буквами высечено: «Banco di Santo Spirito» — Банк Святого Духа.

Заходили мы и в сравнительно менее известную, но довольно любопытную церковь Санта Скала, то есть «Святой лестницы», в которой установлена очень высокая и крутая каменная лестница, привезенная из Иерусалима. Согласно авторитетному свидетельству папских археологов, по этой самой лестнице Христа водили на допрос к Понтию Пилату.

В свете этих научных сведений набожные католики считают весьма полезным с точки зрения замаливания грехов раз или два в год совершить восхождение по святой лестнице. Однако не ногами, как по всякой нормальной лестнице (это было бы слишком просто!), а на коленях, с попутным чтением установленных на сей предмет молитв. При этом, между прочим, строго охраняется общественная нравственность, о чем свидетельствует большой плакат с четкой надписью: «Запрещается восхождение по Святой лестнице дамам и девицам в коротких платьях».

«Святая лестница» заинтересовала меня с чисто спортивной точки зрения, и мне взбрело в голову испробовать это упражнение. Осыпаясь остротами Ильфа и Петрова, я тем не менее занял исходную позицию и довольно бодро пополз вверх. Однако уже на третьей или четвертой ступеньке я понял легкомыслие своего поступка и быстро сполз обратно. Соавторы торжествовали...

Быстро пролетели римские дни. Тепло поблагодарив Владимира Петровича и Марью Петровну за гостеприимство, мы покинули вечный город.

## СНОВА В ПАРИЖЕ

После благодушного туристического времяпрепровождения в Риме я попал в напряженную, нервную атмосферу Парижа. Надо вспомнить, что в последние месяцы 1933 года внимание мировой общественности было приковано к лейпцигскому процессу, на котором несгибаемый революционер Георгий

Димитров мужественно и победоносно противостоял всей фашистской судебной машине, энергично разоблачая грубо сколоченную провокацию о поджоге рейхстага. Сидя на скамье подсудимых, Димитров из обвиняемого превратился в обвинителя.

Борьбы против фашизма организовали активнейшую кампанию в поддержку Димитрова. Митинги, собрания, выступления в печати — все было мобилизовано на антифашистскую пропаганду, на разоблачение гитлеровского террора и мракобесия. В Париже, а затем в Лондоне, прогрессивными общественными деятелями был организован заочный контрпроцесс над подлинными виновниками поджога рейхстага — Гитлером, Герингом, Геббельсом и их бандой. Была составлена и выпущена в свет известная «Коричневая книга» — сборник неопровержимых антифашистских документов и свидетельских показаний.

В этой большой идеологической битве против фашизма участвовал со свойственной ему энергией и Михаил Кольцов. Гитлеровские власти отказали ему в визе на въезд в Германию — он помчался сначала в Прагу, откуда ежедневно по телефону давал в «Правду» краткие корреспонденции о процессе, а затем переехал в Париж. Здесь он, специальный корреспондент «Правды», в тесном контакте с немецкими и французскими антифашистами вел большую общественную и пропагандистскую работу, направленную против гитлеровских клеветников и дезинформаторов, принимал активное участие в подготовке контрпроцесса.

Маленький номер Кольцова в отеле «Ванно» представлял собой, по сути дела, круглосуточно действующий корреспондентский пункт «Правды». Ни на минуту не умолкали телефонные звонки и пулеметный треск пишущей машинки. Бесперывно приходили и уходили посетители — журналисты, писатели, общественные деятели, члены различных антифашистских комитетов. Кольцов проводил время с утра до вечера в бесконечных разговорах, встречах, совещаниях, разъездах, в лихорадочной оперативной работе.

Я, чем мог, помогал брату, сопровождал его в различных поездках, выполнял отдельные поручения. Вместе с тем я кое-что рисовал и «корреспондировал» в Москву политические карикатуры для «Известий».

Вскоре приехали в Париж Ильф и Петров. Рано утром явились они в отель «Ванно», где их, как всегда дружелюбно и приветливо, встретил Кольцов. Он очень любил талантливых друзей-соавторов, охотно печатал их в журналах, которые редактировал, — в «Огоньке», «Чудак», «Крокодиле», «За рубежом».

Я очень обрадовался приезду своих товарищей по морскому походу и охотно вызвался показывать им город, куда они попали впервые, выкладывая все свои сведения о достопримечательностях Парижа скороговоркой опытного гида.

Соавторы слушали не без интереса, но не могли удержаться от ехидных замечаний.

— Боря, вы совершенно подавили нас эрудицией, — говорил обычно Женя Петров.

— И не спешите, — добавлял Ильф. — Надо сначала усвоить пройденное.

Надо, однако, сказать, что в этот мой приезд в Париж чисто туристические впечатления отступили на задний план. Все более напряженной становилась международная атмосфера Европы, в центре которой, лихорадя весь континент, набухал зловещий гитлеровский нарыв. Все более осязаемым становилось тревожное предчувствие близкого и решительного столкновения с фашизмом. Всеобщее внимание было сосредоточено на злободневных политических событиях.

Мне вспоминается один из многих эпизодов журналистской деятельности Кольцова в тот период — неотразимый снайперский удар по белогвардейской газете «Возрождение».

Сей малопочтенный орган печати, который даже среди других белых газет выделялся своим оголтелым черносотенством и зоологической ненавистью к Советской стране, систематически печатал чудовищные клеветнические бредни о якобы происходящих в СССР ужасах: голоде, людоедстве, разрухе и непрерывных восстаниях против советской власти.

Эти мутные потоки лжи и грязи не раз вызвали возражения и протесты французских прогрессивных кругов. Дошло до того, что виднейший общественный деятель Франции Эдуард Эррио на страницах парижской печати выразил свое возмущение живостью информации, которую поставляет «Ля ренессанс рюсс», и намекнул, что информация эта высосана из пальца под диктовку германских фашистов.

В ответ редактор «Возрождения», некто господин Семенов, разразился наглым и вызывающим «открытым письмом Эдуарду Эррио», упрекая последнего в легкомыслии и безответственности. «Беспочвенным суждениям» Эррио белогвардейский редактор противопоставлял свои «абсолютно верные и проверенные источники осведомления»: частные письма из России, которые-де пишут хорошо известные ему, Семенову, люди — «наши родные, друзья, знакомые».

После столкновения с Эррио «Возрождение» окончательно обнаглело, а «душераздирающие письма из России» стали появляться одно за другим.

Тут Кольцов решил заняться этим делом и вывести белобандитских фальсификаторов на чистую воду. Сделано это было очень просто, изящно и эффектно. Я присутствовал при том, как в маленьком номере отеля «Ванно» было написано очередное «письмо из России» за подписью «твоя Лиза» и опущено в почтовый ящик с адресом редакции «Возрождения».

Смысл затем состоял в том, что письмо, написанное Кольцовым, содержало в себе небольшую криптограмму: первые буквы каждого пятого слова составляли вместе следующую фразу:

«Наша белобандитская газета печатает всякую клевету о СССР».

Примерно на второй день письмо это появилось в газете, редактируемой господином Семеновым. Белогвардейский карась не за-

медлил проглотить наживку и скоро болтался ко всеобщему посмешищу на удочке большевистского журналиста.

Как только номер «Возрождения» с «письмом Лизы» был в руках Кольцова, он продиктовал короткий, полный сарказма фельетон, через несколько дней напечатанный в «Правде».

Эффект получился неописуемый. Не было ни одной парижской газеты, не исключая и правых, которая не отдала бы должное изобретательности советского журналиста, так убедительно разоблачившего бездарную и злобную клевету белогвардейцев.

Сам господин Семенов смог ответить только несколькими бессвязными строчками, проникнутыми бессильным бешенством, смысл которых сводился к тому, что его газета стала жертвой дьявольской интриги, и призывал «друзей «Возрождения» к расправе над засевшим в Париже большевистским агентом Кольцовым.

В ответ на эту наглую угрозу «Юманите» напечатало серьезное предупреждение белогвардейцам, сообщив, что рабочие Парижа берут на себя ответственность за безопасность корреспондента «Правды».

\* \* \*

Вспоминается мне еще один, волнующий и печальный, эпизод того парижского периода — встреча с замечательным, ярким человеком, выдающимся деятелем советской культуры и Советского государства — Анатолием Васильевичем Луначарским.

Узнав от Кольцова, что Луначарский находится на лечении в одной из парижских клиник, мы с Евгением Петровым решили навестить его и побывали у Анатолия Васильевича незадолго до рокового конца.

...Холодный парижский вечер. Рю Лиотэ — короткий тупик в тихом квартале Пасси.

Небольшая, ярко освещенная комната. Анатолий Васильевич лежит в постели. Возле нее невысокая полка с множеством книг, по другую сторону — телефон. Луначарский один.

— Здравствуйте, здравствуйте. Вам немножко не повезло — вы застаете меня в постели. Еще вчера я чувствовал себя совсем молодым, сидел в кресле одетым, собирался даже выходить. Да вдруг какую-то каверзу подстроил желудок и — вот, видите сами...

Анатолий Васильевич говорит с трудом, часто переводит дыхание.

Я внимательно вглядываюсь в исхудалое, бескровное лицо. По привычке стараюсь запомнить четкую линию профиля. Заострившийся костистый нос и длинный седой клин бородки придают Анатолию Васильевичу некоторое сходство с портретом Дон-Кихота.

— Меня здесь очень тормозят, — продолжает Луначарский, — но я очень рад, когда приходят наши. Откуда вы сейчас? Что видели? Присаживайтесь, рассказывайте.

Мы садимся в кресла по обе стороны кровати.

Завязывается беседа. Хотя, строго говоря, трудно назвать беседу наш разговор с Луначарским: постепенно загораясь и увлекаясь, он перенимает инициативу, как всегда, «овладевает аудиторией» и, с трудом переводя дыхание, произносит блестящий полтора-часовой монолог. По сути дела мы слушаем интереснейший политический и литературный обзор. Сколько тем, сколько вопросов!

Трудно запомнить все это разнообразие. Луначарский рассказывает о необычайно, глубоко интересе европейских деятелей культуры к Советскому Союзу. Он говорит о страшной пустоте, бесперспективности и пессимизме, в который погружена значительная часть буржуазной интеллигенции, испытывающей какой-то низменный страх перед варварством и средневековым фашизмом.

— Они еще не понимают, не в состоянии целиком понять коммунистических идей и потому побаиваются их... А притом среди всех этих людей существует страшная тоска по какой-то новой плодотворной идее, которая должна перестроить общество и весь мир. Отчаявшись в поисках, они чувствуют, что идея эта идет только от нас. И к нам они тянутся, к нам обращают взоры. Подумайте, какая колоссальная работа еще впереди у нас, работа по разъяснению всей правды о Советском Союзе и социалистическом строительстве, о нашей социалистической культуре. Недавно один известный европейский деятель — вы знаете, о ком я говорю, — выступил с прямой атакой на социализм. Я решил ответить ему большой серией статей, я докажу всю теоретическую беспомощность этого человека. Мне вообще приходится часто разговаривать здесь на эти темы. Договорился даже о цикле лекций для французской молодежи, да вот вдруг... заболел...

Анатолий Васильевич улыбается с беспомощным и почти виноватым видом.

— Я ведь много написал книг, — продолжает Луначарский, — но все эти вещи я всегда считал только вступлением к своей главной, обобщающей, литературно-философской работе. Мне все мешала приступить к этой книге то пропагандистская, то административная деятельность. Материалов накопилось уйма, хочу приступить — в Испании у меня будет спокойная обстановка для работы. Вот скоро поправлюсь и засяду за работу.

— Вы бывали раньше в Испании, Анатолий Васильевич?

— Нет. Это будет мое первое посещение этой чудесной страны. Она чрезвычайно меня интересует своей древней культурой, в которой так причудливо сочетались европейские и арабские влияния. Думаю основательно поездить и посмотреть. Изучаю испанский язык с увлечением и, говорят, сделал большие успехи.

Он рассказывает, снова оживившись, об общих чертах Испании и Италии, об итальянской литературе, о сокровищах Флоренции и Милана, о своем милом друге Владимире

Петровиче Потемкине, римском полпреде, снова о французской литературе, о критике...

— Сейчас пишу предисловие к новому собранию сочинений Марселя Пруста. Меня особенно интересует его последнее произведение, которое он писал, как известно, уже будучи тяжело больным человеком, и умер, не закончив его. И вот — это чрезвычайно любопытно! — я с поразительной ясностью вижу теперь влияние и следы, которые оставила на его творчестве болезнь. Мне стало совершенно ясно, что слова Достоевского о том, что больной человек ближе всего к своей душе, абсолютно неверны. Абсолютно неверны! Я теперь очень внимательно наблюдаю за собой и пришел к прямо противоположному выводу. А именно: больной человек ближе всего к своему телу. Причем к телу, в котором неправильно работают все органы. Вы прочтите, я об этом напишу.

И еще долго, увлекая нас и увлекаясь сам многообразием острых вопросов современной культуры и политики, говорит этот усталый больной человек и неутомимый, воинствующий пропагандист, боец, философ, коммунист.

Целиком во власти огромного впечатления, которое произвели на нас сила духа и блеск ума тяжело больного большевика, возвращались мы с Петровым от Луначарского, взволнованно перебирая детали и подробности прошедшего свидания.

— Нет, Боря, — повторял Петров, возбужденно размахивая длинными руками, — вы просто, я вижу, не отдаете себе отчета в том, что произошло! Вы хорошенько подумайте над тем, что мы видели! Слушайте! Мы с вами, два молодых здоровых парня, пришли проведать, то есть — ободрить и отвлечь от мрачных мыслей старого, больного, я вам прямо скажу, умирающего человека. И что же случилось? Боря! Не мы на него, а он на нас благотворно действовал своей бодростью, оптимизмом, жадной деятельностью, молодостью. Да, да, — молодостью! Я вам честно говорю, он вдохнул в меня, да и в вас тоже, новые силы и новый интерес к жизни. Какой человек! Ах, какой человек!

## САТИРА В БОРЬБЕ С ФАШИЗМОМ

Побывать на фронтах гражданской войны в Испании мне, к сожалению, не довелось, и только на страницах газет, в ряду других советских карикатуристов, я принимал участие в борьбе против Франко, Муссолини и Гитлера оружием сатиры.

Нет большей радости для художника, чем ощущение глубокой и тесной связи его творчества с чувствами и мыслями народа. Как приятно в дни больших и значительных, волнующих людские массы событий находиться на передовой линии фронта искусств — работать в газете! Когда еще придет в движение тяжелая артиллерия искусства — станковая живопись и графика (даже печатному плакату требуется определенный срок для полиграфического производства), — а газетный рисунок уже разносит по всей стра-

не подхваченную, угаданную и высказанную художником эмоцию многих миллионов людей — их радость или гнев, ликование или насмешку.

С момента выхода фашизма на историческую арену советская карикатура не уставала клеймить его варварство и изуверство, разоблачать его наглые претензии и беззастенчивую демагогию, издеваться над тупостью и мракобесием расистской идеологии. Но, к сожалению, очень редко представлялась нам возможность позлорадствовать по поводу какой-нибудь крупной неудачи фашизма. Используя попустительство и трусость западных политиков, недостаточную организованность антифашистских сил, Гитлер, Муссолини и Франко пока что шагали от успеха к успеху.

Советские карикатуристы много раз изображали гитлеризм наглым, угрожающим, шантажирующим, беснующимся, упоенным кровью, но еще не было, увы, повода нарисовать его битым. А как страстно этого хотелось!

И вот, наконец, пришел и на нашу улицу, правда еще недолгий, праздник: под Гвадалахарой республиканские части совместно с интернациональной бригадой разгромили войска итальянского экспедиционного корпуса, а некоторое время спустя под Мадридом нанесли поражение отрядам германских «добровольцев». Какая это была радость! Всеми владела одна мысль, одно ощущение, которое можно было выразить простыми словами:

— Наконец-то Гитлер получил по морде!

Это я и изобразил в карикатуре для «Известий», встретившей самое живое одобрение читателей, как можно было судить по многочисленным веселым откликам.

\* \* \*

Международные события шли своим чередом. Отдельные необъявленные войны свирепствовали в разных районах земного шара, неотвратимо приближая человечество к большой мировой войне.

В Китае и в Испании наглые захватчики истребляют мирное население, уничтожают памятники культуры и искусства, предают огню и мечу города и села. Итальянские и немецкие фашистские пираты бесчинствуют на морских путях. «Неизвестные» подводные лодки топят мирные суда в Средиземном море. Заправилы Лиги Наций и лондонский «Комитет по невмешательству» продолжают свое недостойное попустительство агрессорам.

Все более отчетливо вырисовывается перед народами отвратительный облик фашизма, все явственней становится опасность, которую несет миру гитлеровская банда убийц.

По горячим следам событий идет советская политическая сатира.

Изо дня в день на страницах «Правды», «Известий», «Красной Звезды», «Комсомольской правды», в каждом номере «Крокодила» появляются карикатуры, отражающие напряженную международную обстановку. Как и

другие художники, я работал весьма активно, но вместе с тем у меня возникло желание внести в антифашистскую пропаганду более существенный вклад, чем отдельные, хотя бы и систематически появляющиеся в печати карикатуры. Я задумал сделать большой, цельный антифашистский альбом-памфлет, положив в его основу четкое, звучащее одновременно и как научная формула и как судебный приговор, определение, данное XIII Пленумом ИККИ: «Фашизм у власти — это открытая террористическая диктатура наиболее реакционных, наиболее шовинистических, наиболее империалистических элементов финансового капитала».

Не оставляя текущей газетной работы, я взялся за альбом. Однако не всегда удавалось совместить и то и другое, поэтому, очутившись в некотором «цейтноте», я поселился в подмосковном доме отдыха Остафьево, чтобы, не отвлекаясь повседневными городскими делами, срочно закончить работу над альбомом. Я встретился там с Ильфом. Илья Арнольдович уже был тяжело, неизлечимо болен. Опасная легочная болезнь настигла его во время путешествия по США, описанного им и Евг. Петровым в книге «Одноэтажная Америка». Разговоров о своей болезни Ильф не поддерживал, был, как всегда, спокоен, остроумен, ироничен. Только однажды он печально пошутил, когда по ка-

кому-то поводу на столе появилось шампанское. Указывая на бокал с шипучим вином, он сказал, намекая на известные обстоятельства смерти А. П. Чехова:

— Шампанское марки «Ich sterbe»...

В его записных книжках сохранились короткие, отрывочные записи этого периода и среди них, между прочим, такая:

«...Мы возвращаемся назад и видим идущего с прогулки Борю в коротком пальто... Он торопится к себе на второй этаж рисовать сапоги...»

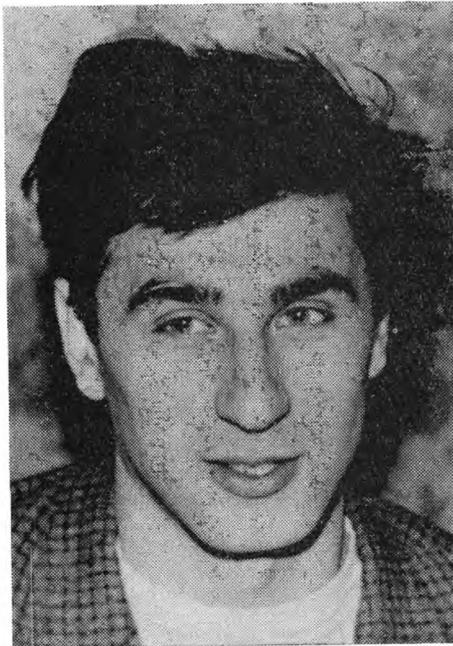
В этой, не очень понятной для читателя записи речь идет обо мне. Дело в том, что я поставил себе ежедневный «урок» — не менее пяти рисунков. А так как почти в каждой карикатуре антифашистского альбома неизбежно фигурировали штурмовики или эсэсовцы, то мне приходилось на протяжении рабочего дня рисовать не менее десятка пар сапог.

Ильф был в курсе дела и каждое утро в столовой за завтраком не забывал вежливо спросить:

— Сколько пар сапог выдано вчера нагоря, Боря?

Вскоре альбом «Фашизм — враг народов» вышел в свет.

То была канун небывалых и грозных событий. Великая Отечественная война стояла у порога Родины.



ВАЛЕНТИН  
КОЗЛОВ

*Моя  
новая  
роль*

*Театр*

*Ленинского комсомола*

Когда я учился в восьмом классе, в семье у нас купили телевизор. В первый вечер передавали «Ревизора» из Малого театра. Никогда до этого я телевизионных передач не смотрел, да и в театре не бывал. Спектакль произвел на меня огромное впечатление. Я стал проводить вечера у телевизора, записался в школьный драматический кружок. После школы учился в Гитисе, затем поступил в театр.

Сейчас мы поставили пьесу Николая Погодина «Цветы живые», в которой я играю комедийную характерную роль Карпа Сеновалова. Карпу не нравится его простое имя, он назвал себя более «звучно» — Карл, а товарищи прозвали его «Доном Карлосом».

Сеновалов — сварщик, член бригады, борющейся за звание бригады коммунистического труда, но это — озорной парень, долгое время находившийся под дурным влиянием, не знающий, куда девать избыток своей энергии.

Мне нравится моя новая роль. Хочется сыграть ее так, чтобы зритель видел: «Дон Карлос» совсем не безнадёжен...

## ЛЕОНИД ЛЕОНОВ О ТОЛСТОМ

У Леонова глуховатый голос неяркого, бедного оттенками тембра. Дикция его безупречна, и говорит он не по-ораторски, не обыгрывая и не выделяя фразу, а больше следуя той единой и все нарастающей ритмической волне, на которой и раскрывается для слушателей волевая динамика его мысли.

Слушать Леонова нелегко. И все-таки Большой театр всеми своими в золото окванными ярусами более часа внимательно и сторожко следовал за ним и, преодолевая акустические трудности, радостно отдавался трудностям постижения сложной и богато разветвленной леоновской мысли.

О языке Толстого Леонов сказал, что это язык емкий, с таким гулким эхом, что «позволяет читателю не только спускаться в глубь страницы по ступенькам строк, но и по прочтении книги долго бродить в ее волшебных окрестностях».

В емкости же особенность также и языка самого Леонова. Каждая его фраза начинена до предела. Она потому и ветвится бесконечными вводными предложениями, потому и взрывается все новыми и новыми дополнительными сравнениями и метафорами, что слишком уж много поворотов вокруг своей логической оси приходится ей сделать, чтобы воспроизвести мысль во всей ее полноте и живой подвижности. Леонов никогда не заботится о том, чтобы облегчить нам путь к сердцевине своей мысли. Он ведет нас самым долгим и самым трудным путем — через все возможные сечения и повороты, чтобы мы охватили предмет не в статике, не в закостенелой его определенности, а в изменчивости, в возможно большем ряду связей и опосредствований.

К тому же Леонов никогда не жертвует интенсивностью оттенков ради доминирующей краски. Он стремится быть предельно ярким на всем протяжении фразы, во всех ее излучинах и затонах. В свое время он заметил, что Чехов больше всего заботился о том, чтобы убрать, «смыть» слово, дабы «осталось лишь вырезанное навечно по брон-

Леонид Леонов. Слово о Толстом. Гослитиздат, М., 1960.

зовой доске». У самого Леонова слово, наоборот, подсвечено, подчеркнуто, поставлено так, чтобы мы все время ощущали его, воспринимали его игру, натыкались на его умеренно заостренные углы, чувствовали на себе излучение его образной энергии, всегда активизированной до предела. В каждую новую страницу Леонова вступаешь поэтому как в лабиринт. Ее нельзя проскочить одним махом, через нее необходимо пройти, не пропуская ни одной подробности, ощутив все нагромождения деталей, образов, картин, вникнув во все переплетения и связи, столь же буйные и неразъемные, как и те, что образуют под землей корневища древнего бора.

Как же трудно должно быть слушателю Леонова, лишенному возможности остановиться, осваивая неожиданный поворот мысли, восстанавливая глубоко запрятанную и не с ходу прощупывающуюся связь образов и идей! И тем не менее, повторяю, Большой театр покорно шел за Леоновым. Уставал, напрягался, но ни на минуту не отставал от него, захваченный движением мыслей, которые, как воинские подразделения, организованные единой направляющей волей, все шли и шли, устремляясь к самой вершине одного из величайших горных пиков планеты.

Туда, в эти дали, Леонов проложил маршрут, который обычно минует робкая школьная премудрость. Интересно, что, щедро наделенный чудодейственным пластическим даром, он, на этот раз почти не задерживаясь, прошел мимо изваянных из плоти самой жизни толстовских героев. Лишь на ходу он слегка коснулся их пальцами, и вот они встали, тесня друг за другом, в то время как Леонов шел все дальше и дальше, в самое ядро необъятного явления, вот уже столько десятилетий изумляющего весь мир.

Оставляя доцентам многосложные проблемы композиции толстовских романов и драм и лишь в одном штрихе воссоздав обаяние «узловатого и терпкого» толстовского языка, Леонов спешил так воспользоваться отведенным ему часом, чтобы и мы вслед за ним успели подняться на ту «гору

на столбовой дороге прогресса», с высоты которой видна «вековая, иссеченная тропами даль человеческой мысли». И вот мы увидели эту даль, бесконечную — в своей протяженности в будущее, и над ней — сверкающую снеговую вершину — Толстого, такого непостижимого в своем «поистине геркулесовом подвиге» и в то же время такого родного и каждому понятного. «Слово о Толстом», которое произнес Леонид Леонов 19 ноября 1960 года в Большом театре, потому-то и отозвалось радостным гулом в наших сердцах, что было оно произнесено как бы под небом самой истории, в заботе не о «толстооведах», в прилежную лупу рассматривающих каждую толстовскую строку, а о тех, в чьем каждодневном жизненном подвиге живет также и многоплодное толстовское зерно.

Толстой и мы — вот сквозная внутренняя тема леоновского раздумья, и вот почему не столько удивление ученика перед непостижимым даром учителя прозвучало в его «Слове», сколько отважное стремление изнутри понять запутаннейший чертеж толстовской жизни. Читая этот чертеж при свете ленинской мысли, Леонов прежде всего озабочен тем, чтобы расслышать ту мощную детонацию, которую толстовские книги все еще производят в толще народной жизни. Толстой для него — не только девяносто томов, покоящихся в библиотечной тиши, а и человек, грандиозный в своих порывах и парениях, трагически заблуждавшийся, живший мучительно сложно и неповторимо целеустремленно и, главное, все еще продолжающий свой путь в сознании миллионов. Самое волнующее, самое самобытное и интересное в леоновском «Слове о Толстом» как раз и обусловлено этим ощущением толстовского творчества как факта современной духовной жизни. Чтобы понять Толстого, Леонов возвращается к нему, в его глыбой революционных лет отделенное от нас историческое «далеко», и тут же вместе с ним переходит в наши дни, где, не иссякая, все продолжается жизнь великого писателя.

Отсюда та тревожная, напряженная интонация, которая явственно слышится в леоновском «Слове». Оно произнесено не у подножия памятника, в почтительном благоговении, а в порыве любви и уважения, питаемом сознанием жизненной важности откровенного и прямого объяснения. Объяснения — через десятилетия, но от этого не менее сложного и взволнованного. И если Толстой уместно уподоблен в «Слове» горной вершине, равно видной с любой точки земного шара, то, следуя за Леоновым, мы и сами ощущаем себя на вершине исторического опыта народа, откуда только и можно до конца понять содержание, заключенное в таком коротеньком и таком многоохватывающем слове: «Толстой». Вот почему, славя Толстого, Леонов в то же время ведет бой за него. В «Слове», не умолкая, кипит яростная полемика и с теми, кто при жизни Толстого цеплялся за колесницу его творчества, пытаясь оттянуть ее в свою сторону, и с теми, кто сейчас хотел бы ис-

кусить толстовскими ошибками и заблуждениями поднимающихся на борьбу за свою свободу угнетенных и обездоленных.

Но не будучи узко литературоведческим, «Слово» Леонова остается все же словом писателя о писателе. Ощущая Толстого как участника великих битв эпохи, Леонов выступает представителем литературы, которой доверено сыграть в этих битвах одну из наиболее активных ролей. Итог гигантской жизни Толстого занимает его еще и потому, что в ней аккумулятивна творческая энергия, способная питать наше литературное движение. «Литературный труд у подобных Толстому, — справедливо замечает Леонов, — скорее суровое призвание, чем профессия, — как, впрочем, и будет оно обстоит у всех тружеников, когда они при коммунизме научатся творчески относиться к своей человеческой должности на земле».

Каждый, кому доводилось прежде читать высказывания Леонова о литературе и творческом труде писателя, сразу поймет, какой ценой оплачено это как бы мимоходом брошенное замечание. Оно оплачено всем многолетним писательским подвигом автора «Русского леса», всеми его раздумьями над патриотическим долгом советской литературы, от которой Леонов всегда требует труда соответственно открытым перед нею возможностям. Сам не терпящий никакого податливого, легкого материала и в каждой написанной странице провидящий столько скрытых психологических и всяких иных координат, что прочертить их все не всегда удается даже и ему самому, необычайно изощрившемуся в изысканной многослойности рисунка, Леонов понимает творчество как Гете, который сказал некогда: гении — это волю. Только сила этих «волов» особого рода. Она — в богатстве и напряженности жизненного опыта, в том, насколько органично удалось им переработать в себе неисчерпаемый материал действительности. Вот почему, развивая свою характеристику Толстого, Леонов сказал: «Книги таких авторов являются своеобразными отчетами о работе над своею гигантской личностью, — главы их духовной биографии. Насколько дано мне понимать, каждый большой художник, помимо своей главной темы, включаемой им в интеллектуальную повестку века, сам по себе является носителем личной, иногда безупречно спрятанной проблемы, сложный душевный узел которой он и развязывает на протяжении всего творческого пути. Мне представляется даже, что это у них бывает сплетено воедино, причем наличие одного непременно свидетельствует о присутствии другого, — так по кимберлитовым образованиям узнается месторождение алмазов».

Цитата эта наверняка множество раз будет повторяться в статьях и книгах тех, кто пишет о Леонове. Это высказывание из числа тех, что будучи точно направленными на объект, в то же время проецируются и на самого автора. Фраза о творчестве, интерпретируемое как отчет о работе над своей собственной личностью, по-новому освещает переходы, ведущие нас от «Петуши-

хинского пролома» и «Унтиловска» к «Нашествию» и «Русскому лесу». Точно так же, как вовсе не об одном Толстом сказано и то, что следует за цитированными рассуждениями. Я имею в виду особым лирическим волнением освещенное место в «Слове», где Леонов говорит о том, как «тяжеловесное перо» Толстого-художника «никак не успевало за работой жадной мысли, которая ищет всего коснуться, чтобы, осмыслив, обогатив высшим разумением, устремиться вперед,— которая хочет на лету засечь протекающие сквозь нас вещи в мгновение, чтобы определить свои координаты в потоке бытия, без чего можно так жестоко заблудиться в этом слепительном и мглистом пространстве».

Все это, конечно, не только превосходный анализ психологии творчества Толстого, а и самоанализ. Вот именно это жадное стремление «всего коснуться, чтобы ...на лету засечь протекающие сквозь нас вещи», и придает такую внутреннюю подвижность до предела перенасыщенным громоздким и многослойным леоновским описаниям и диалогам.

И в то же время фраза о долге художника четко «определить свои координаты в потоке бытия» имеет значение не только для Толстого и уж, конечно, далеко не для одного Леонова. Эта фраза открывает перспективу на сложнейший круг творческих проблем, вне которых, по Леонову, вообще не может быть понято отношение литературы к жизни, ко времени. В его «Слове» Толстой не случайно выступает как герой в полном смысле этого понятия драматический. Леонов ощущает жизнь великого писателя как величавую сложную драму, напряженность которой вытекает из сложности отношения Толстого к жизни и времени. Ищущий путей к самому корню народной жизни и мучительно сознающий свою так до конца и не оплаченную вину перед миллионами, которые в действительности еще при жизни автора «Исповеди» перешагнули через мораль кротости и смирения, Толстой для автора «Слова» драгоценен не только своими свершениями, а и своим человеческим примером. Суровый к «толстовщине», он с восхищением, как творение гениального художника, анализирует ж и з н ь Толстого, в которой так ярко проступило это неукротимое стремление «определить свои координаты

в потоке бытия», включить свою человеческую тему в «интеллектуальную повесть века».

«Истинное произведение искусства, произведение слова — в особенности,— напоминает нам Леонов,— есть всегда изобретение по форме и открытие по содержанию».

Напоминание столь бесспорное, что могло бы показаться дидактическим, если бы не блестящая ироническая и страстная атака, которой это напоминание завершается. «В отличие от тыквы, за один сезон достигающей похвальных результатов, произведение словесного искусства,— говорит Леонов,— вырастает, как плодородное дерево; подобно любви, оно начинается с робкого предчувствия, с семечка в душевной борозде. И потом надо долго питать его соками души, бережно холить молодую крону, однако — с безжалостной прорезкой загущений и в постоянной тревоге за урожай, столь ненадежный в нашем континентальном климате».

Услышат ли эти прекрасные и честные слова те, к кому они обращены? Перечтут ли они вслед за Леоновым великую жизнь Толстого так, чтобы почерпнуть в ней силу для нового могучего рывка к вершинам искусства?

А ведь все леоновское «Слово о Толстом» есть в то же время и слово к тем, кому предстоит в будущем занять пустое пока толстовское кресло. Пусть же во всех уголках нашей земли, всюду, где творится многоязыкая литература социалистических наций, эхом отзовется взволнованное пророчество, которым завершается леоновская речь.

«На смену нам придут замечательные творцы слова,— говорил Леонов, и, казалось, все, кто с волнением внимал его речи в Большом театре, повторяли это вслед за ним,— и один из них объединит в своем сердце предания молвы народной, новую социалистическую человечность, материальные завоевания обновленной цивилизации, и это даст ему силу подняться в толстовскую высь, откуда видна будет с полета исправленная и дополненная карта мира и еще — как прожитая нами трудная эпоха вписывается в большой поток человечества».

Да будет так...

И. Гринберг

## ДЕЙСТВИЕ СЛОВОМ

В одной из корреспонденций военного времени были упомянуты названия нескольких ладожских деревень — Пиргала, Митала, Гавсарь, Выстав. Поставленные рядом на газетной полосе, они неожиданно сложились в знакомую стиховую строку. Ее можно было найти в первой книге Александра Прокофьева «Полдень»; прежде строка эта иным казалась странной и непонятной — нечто вроде знаменитого «дыр, бул, щил, убещур». Теперь те, кто пугливо сторонился каждого нового, непривычного слова, могли убедиться в том, что Прокофьев, действительно «ни капли в песне не заумен», ввел в стих достоверные звонкие имена Приладожья, чтобы восславить своего земляка, идущего на корабле «по чужим заморским сторонам».

Любовь к родной Ладоге и поныне живет в стихах Прокофьева. Совсем недавно он признался:

А я люблю ходить домой  
Из заграничной местности!

И точно, суровая и нежная красота северного края постоянно присутствует в прокофьевской поэзии. Обилие оттенков, изобретательность подходов, быстрая смена планов поражает и покоряет. Широкая, на сотни километров панорама и — выхваченная, приближенная, крупно поданная деталь ландшафта; стремительное движение, пробег по огромным пространствам и — мгновенная остановка, затишье, привал на лужке, меж валунов, у бойкого ручья... Здесь-то и звучат запевки, побаски, частушки, хороводные и плясовые, величальные и любовные, таким полноводным потоком вливающиеся в творчество Прокофьева.

И все-таки было бы жестокой несправедливостью назвать Прокофьева «певцом Ладоги». Для этого имеется так же мало оснований, как и для того, чтобы объявить Исаковского и Твардовского «певцами Смоленщины» или Есенина — «певцом Рязанской земли». Настоящий, большой поэт в своей приверженности к родному, с малых

лет любимому краю находит почву для создания образов, лишенных местной ограниченности, охватывающих народную жизнь, передающих черты времени. Так емка, многоохватна и поэзия Прокофьева. Богатство душевного, человеческого содержания лишь подчеркнуто «ладожским» своеобразием, не только не стесняющим поэта, но, напротив, вдохновляющим, ведущим его в бескрайний мир, открытый всем ветрам эпохи.

В самом деле, более тридцати лет тому назад, в первых же своих «Песнях о Ладоге», от имени земляков и сверстников — «мы, рядовые парни (сосновые кряжи)» — Прокофьев определил и свою родословную, вспомнив о Степане Пугачеве, о рабочих баррикадах, и свою меру ответственности перед временем.

Он писал тогда:

Таков закон моей страны, ее крутая речь.  
Мы все обязаны ее, Высокую, беречь!..

В прокофьевской строке сразу же открылись и забота о дальних братьях, и воля к борьбе, и то чувство, которое можно было бы назвать строевым. О нем надо сказать особо. Поэт, свободно и естественно живущий в своем творчестве, не таящий индивидуальных пристрастий, вкусов, наклонностей, так же органично и убежденно раскрывает желания и надежды, разделяемые всеми соотечественниками, всеми советскими людьми. Можно сказать, что именно это уверенное ощущение причастности к народной жизни и есть источник роста поэтического характера. И обратно — верное развитие творческой личности позволяет сильно и впечатляюще выразить общие устремления. Прокофьев-художник, очень последовательный в любви и в ненависти, изысканный обычно по-своему, так, как ему угодно, находящий собственные, оригинальные образные аргументы и вместе с тем бесконечно далекий от мелочного кокетства неповторимостью и особенностью — всей своей практикой свидетельствует о благотворном воздействии социализма на искус-

ство. Накал гражданский, политический, с первых же шагов поэта был неотделимым для него от накала стихового. Он поклялся в любви к слову. Своей клятве он верен и ныне.

Бывает так, что ошибки, промахи поэта дают возможность яснее увидеть «секрет» его успехов. Так обстоит дело и с творчеством Прокофьева. Несколькими годами назад из-под его пера появлялись стихи, которые можно назвать однообразно-украшенными, монотонно-праздничными. В них были подобраны, казалось бы, самые возвышенные и нарядные речения, но длительное и упорное повторение их, лишенное внутреннего огня, не приводило к искомому результату, не рождало ответной искры у читателя.

Прокофьев, обращаясь к собственной практике, мог бы убедиться в том, что любовное отношение к слову мало что общего имеет с вращением в тесном кругу одних и тех же подробностей, одних и тех же метафор и эпитетов. Здесь не помогает и словесная «селекция» — напротив, частое обращение к одним и тем же существительным — буря, заря, ветер, солнце, зная, звезда, слава, песня, — одним и тем же прилагательным — звонкая, высокая, молодая, — одним и тем же глаголам — звени, цветы, пой, ликуй, греми, — обедняет, опустошает стих, лишает его силы и содержательности.

Трудность напряженной работы со стихом, которую ведет Прокофьев, усугубляется тем, что он оказывает решительное предпочтение слову звонкому и красочному, насыщенному яркими тропами и смелыми переходами. Здесь особенно велика опасность повторения, «козленения» метафор и эпитетов, здесь особенно необходимо обновление чувств, переживаний, помыслов, освежающее и обогащающее словесный строй.

Именно новизной и привлекательны нынешние стихи Прокофьева, большими циклами публиковавшиеся в различных журналах и составившие теперь целостную книгу, недавно вышедшую в Ленинграде под названием «Приглашение к путешествию».

На первой странице можно было бы девизом поставить строки, завершающие одно из новых стихотворений поэта:

Ты сам горня, и выйдет чудо,  
Коль нету чуда — не стихи!

Эти до предела сжатые концентрированные строки содержат продуманную программу. Речь идет о необходимости собственного горения, о его плодотворности, способности создавать чудеса и о ценности чудесного в поэзии.

С яростью, не остуженной годами, Прокофьев обрушивается на небрежное, вялое, равнодушное отношение к стиховой речи.

Можно ли отречься от стихов? —

с гневным недоумением восклицает он.

Лишь в нечестии на веки веков!  
С полной глухотой и немотой,  
С полной, хуже смерти, маятой!

Вот как горько и резко говорит поэт

об отречении, об отказе от стихового творчества, вот какое место занимает оно в его жизни!

Слова мы не на паперти  
Выпрашивали где-то,  
Они у нас на скатерти,  
Сверкают, самоцветы!  
Они у нас рассеяны,  
Из золота отлиты,  
Они у нас весенние,  
Дождем весенним мыты!

Что и говорить, такое слово дорого стоит, им можно и нужно гордиться. Весеннее и самоцветное — это еще далеко не все определения, найденные Прокофьевым. Он уподобляет певучие слова молодым новобранцам и сверкающим молниям, разгорающейся звезде и стружке, падающей с верстака; он находит их «под зеленою ракушкой, под густым кустом» и берет с собой в дорогу как верных друзей; он произносит их для того, чтобы к нему пришло издали «волнение рек, дыхание моря и колокольчик ручейка». Подобное ощущение и понимание слова нельзя свести к так называемой предметности или вещности. Слово для Прокофьева это сама жизнь в ее сильных, острых, цельных, отчетливых проявлениях. И одновременно — мощное, действительное орудие строительства жизни.

О связи Прокофьева с народной поэзией, о творческом освоении ее сказано уже немало. Но вот что следует здесь подчеркнуть — народ видит в слове не только средство познания окружающего мира, но и средство его изменения. Об этой особенности народной поэзии Александр Блок писал: «Наша индивидуальная поэзия — только слово, и, не спрашиваясь его советов, мы рядом, но не заодно с нею, делаем пресловутые полезные дела. Первобытная гармония согласует эти слова и дело; слова становятся действием. Сила, устрояющая их согласие, — творческая сила ритма. Она поднимает слово на хребте музыкальной волны, и ритмическое слово заостряется как стрела, летящая прямо в цель».

Вот это важнейшее свойство народного творчества органически воспринял поэт и с успехом применил в своих стихах. Образы, им создаваемые, всегда либо отрицают, либо утверждают, всегда несут в себе предельно прямое, страстное, активное отношение поэта к изображаемому, и оно выступает в каждой клеточке стихотворения.

Вот строят дом, уже свели стропила.  
Готовь к столу, хозяйка, каравай!  
Стучит топор, и звонко ходят пилы,  
Бьют молотки... Всем дело есть... Давай!  
Давай! Давай! Россия любит дело.  
Всяк презирай, как трусов, беглецов.  
Давай! Давай! Россия любит смелых,  
А коль не смел — учись у храбрецов!

Поэт, как видим, начал рассказывать о строительстве дома. И — не утерпел, сам вошел в рисуемую им картину, вмешался в толпу своих героев, перекинулся словом с хозяйкой, и — тотчас действительно нашел и себе дело, обратился к товарищам с призывным, поднимающим стихом...

Так поступал Прокофьев и в дни вой-

ны. Из-под его пера выходили озорные и гневные, одические и сдобренные соленой шуткой строки, бьющие по врагу. Но он не ограничивался этим. Он твердо решил: «Чтоб ненависть была сильнее, давай говорить о любви». И в осажденном Ленинграде создавал образы, поражающие своей прозрачностью, сияющей нежностью и чистотой. Даже прославленный и беспощадный снайпер Ольга Маккавейская виделась ему девочкой с милыми косичками и развеселыми веснушками, которая бежит по жердочке-колодинке, «сама от счастья не своя». И в этом светлом облике таилась истина — ведь вчерашняя колхозная девушка взяла в подруги себе винтовку, чтобы воевать

За жизнь простую и отрадную,  
За золотой огонь души,  
За это озеро прохладное,  
За лозняки, за камыши,—

за красоту справедливого и свободного мира, выступающую в каждой строке этого военного, армейского стихотворения.

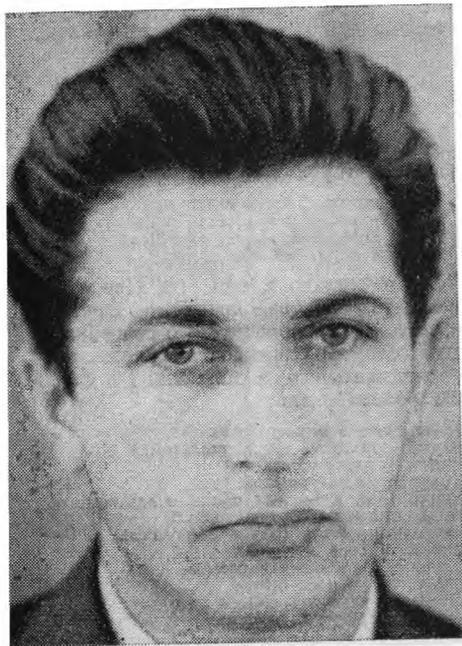
Не приходится удивляться тому, что у Прокофьева нет сюжетных стихов, нет и развернутых описаний. Повествовательность чужда ему. Поэту советовали испытать свои силы в эпической поэме. Однако его поэма «Россия» далека от обычных представлений об особенностях этого жанра. Она скорее может быть названа сюитой — череда образов различного звучания последовательно раскрывает тему воюющего народа — хозяина и защитника своей Родины.

И в новых циклах Прокофьев не отказывается от своей лирической действенности; по-прежнему он обходится без фабулы, описания, обстоятельной характеристики героя.

Но это отнюдь не значит, что его стих лишен изобразительной силы, пластичности, что он по преимуществу призывает, что музыкальная стихия полностью заслонила в нем живописную.

Нет, подвижная, стремительная строка Прокофьева обладает и большой емкостью, несет в себе реальные черты живой действительности, оказывается иногда в конечном счете «прозаически» точной, даже достоверной. Так внезапно пускается поэт в историко-лингвистические исследования — «А откуда на Ладоге украинская мова...» Или набрасывает портрет своего деда — столь определенный и вместе с тем многозначный, что его стоит здесь воспроизвести полностью как образец замечательного умения в гибком, летучем, словно бы невесомо-воздушном стихе охватить большое и сложное жизненное содержание.

Дед мой Прокофий  
Был ростом мал,  
Мал, да удал,  
Да фамилию дал!  
Да на деревню,  
На весь уезд,  
Дал для сынов  
И еще для невест;  
Дал, как поставил  
Печать с гербом!  
А что на печати?  
Да дед с горбом!  
А где о нем вести?  
Вдали, вдали!  
А где его песни?  
Да с ним легли!  
А где его слезы?  
В морской волне.  
А где его думы?  
По всей стране!  
А где его доля?  
В руках бойцов.  
А где его сердце?  
В земле отцоз!



ИГОРЬ  
КВАША

*Моя  
новая  
роль*

Театр-студия «Современник»

Мы заново ставим пьесу В. Розова «Вечно живые». Я играю в ней Володю Ковалева. Эта роль для меня и старая, и новая. Я работал над нею еще тогда, когда мы, молодые актеры разных театров, объединенные общими интересами, одинаковым пониманием жизни, создавали наш театр, собираясь по ночам для репетиций. Но в то время я приходил ко многим решениям интуитивно. Теперь надеюсь сыграть свою роль глубже, серьезнее.

Володя Ковалев — молодой парень. Получив ранение на фронте, он демобилизуется, возвращается домой. Это один из тех, кто в шестнадцать-семнадцать лет пошел добровольцем в армию, на фронте война оставила особенно глубокий след.

Володя увидел на войне не только ужасы и смерть, но и то прекрасное, что раскрывается в настоящем человеке в дни суровых испытаний: способность жертвовать собой ради своей страны, ради товарищей. Вернувшись домой, Володя смотрит на мир другими глазами, ему хочется сказать окружающим его людям, что жить надо как-то иначе, что надо отбросить все мелкое, наносное, быть такими же, как на фронте, — сильными, великодушными, открытыми...

Начинается это «жизнеописание» точнейшим сообщением о росте и о нраве деда, о месте, им занимаемом в деревне и в уезде, а разрастается в образ широкого обобщения. Перед нами встает вековечный труженик и песенник, завещавший новым, свободным поколениям и память о слезах прошлого, и думы о будущем, и заботу о доле народной, и живое, неостывающее сердце, прикипевшее, приросшее к отчей земле.

Право же, приведенные здесь шесть коротких строф говорят больше, чем иные растянутые и аккуратнo-обстоятельные многостраничные описания в рифмах, еще появляющиеся в сборниках наших поэтов, но не имеющие право именоваться поэтическими произведениями! Прокофьев стянул в один узел нити, ведущие ко многим представлениям и фактам, стянул прочно, сочетая воедино логику вдохновения и логику жизни — и оттого-то рамки простого, казалось бы, семейного воспоминания вдруг раздвинулись так просторно.

Это быстрое и неодолимое расширение стихового потока — важнейшая черта прокофьевского творчества. Здесь-то и надо вспомнить, что поэт начал свою работу над стихом с определения ответственности перед Родиной и человечеством, принятой на себя поколением бойцов гражданской войны. Эта ответственность, ставшая неотъемлемой частью поэтического характера, живет в сегодняшних стихах Прокофьева.

Иные лирики, воспевающие с детства любимые сельские края, почему-то считают необходимым подчеркнуть свое нежелание выйти за околицу, поглядеть на белый свет, почувствовать прелесть неизведанного, сблизиться с новыми людьми.

Несостоятельность, беспочвенность подобных представлений, далеких от целей и побуждений нашей поэзии, стихи Прокофьева подтверждают со всей очевидностью — любовь к родным местам ведет поэта все далее и далее, в пространства, открывающиеся взору вместе с движением времени.

Он идет на тихий Дон, чтобы узнать — весела ли там беседа; он любит Кронштадтом и кричит ему приветственные слова, зная, что голос его будет услышан; он стоит у могилы в Лахти, где лежат коммунисты и коммунистки, павшие за свободную Финляндию, «в неравном разбитые споре», он волнуется — «как моей Испании спалось». И будто подытоживает свои думы, свои поиски:

Друг, пока душа не онемела  
И откуда сердце знает бой,—  
До всего на свете есть мне дело,  
И не только мне, а мне с тобой.

Выраженное здесь чувство знакомо каждому поэту, живущему в лад с современностью. Отзывчивость и великодушие — вот источник создания стихов, воплощающих и многогранность жизни, и воодушевление художника, от этой жизни неотделимого. И еще примечательна способность Прокофьева — уверенно говорить от своего имени, очень лично и непосредственно, о побуж-

дениях и мечтах бесчисленных друзей и соратников. Он идет вместе с ними, у них общие цели, они — заодно, а призвание у него свое — поэтический труд, он отдается ему с той свободой и увлечением, которые свойственны убежденному борцу, не знающему, что такое колебания и нерешительность.

Вот почему так ненавистно Прокофьеву «онемение души». И надо сказать, что его стих хорошо защищен от этого нравственного недуга, который появляется там, где господствует равнодушие, где поэзия превращается в ремесло, где со строкой обращаются небрежно, где нет уважения ни к жизни, ни к слову, утверждающему жизнь.

Для Прокофьева складывание стихов это увлекательная работа, в которой мастерство и вдохновенные нераздельны. Часто он берет нужные ему слова из «бессчетных сказов, из драгоценных родников». Но он не попадает в плен к давней традиции, не занимается воспроизведением пройденного, а создает из найденных и проверенных слов образы новые по своей сути.

Я к тебе с певучим словом,  
Я с приветом, брат,  
Топольный, топольный,  
Друг мой Ленинград! —

так начинается стихотворение, посвященное любимому городу поэта. И когда вспоминаешь другие стихи Прокофьева о Ленинграде, просто диву даешься, как многоцветна галерея образов, им созданных, как тонко удалось ему передать различные грани красоты, найти в облике стократно воспетых улиц и площадей черты, прежде не подмеченные, не воплощенные.

Это обилие оттенков не сразу обнаружишь в стихах Прокофьева. Может показаться, что в них преобладают пламенные краски, что здесь не найти ни акварелей, ни пастели, что поэту не по душе полутона. Но это заблуждение. Рядом с пылающей картиной восхода —

Вижу, выйдя за порог,  
В зареве леса,  
Вижу, огненный восток  
Поднял паруса!..

находим пейзаж совершенно иной расцветки и иного настроения:

Заволокло! Куда годится!  
Заволокло, заволокло!  
И солнце на землю глядится  
Как через мутное стекло.

Дело не только в том, что Прокофьев умеет видеть различные краски действительности. Речь идет о большем — о способности взглядом единым охватывать окружающий мир, охватывать его в движении, в бесконечно разнообразии:

Все останься в памяти крылатой,  
Все, что поднялось тогда над злом:  
И салюта первые раскаты,  
И орудий наших зимний гром,  
Вешний гром в родных полях колхозных,  
Дождь, что провожает до дверей,  
И тяжелый гнев в глазах бесслезных,  
И тоска и горе матерей,  
И лазурь, наполненная светом,  
И паяк блокадного шена,  
Полинялый флаг над сельсоветом,  
И могил солдатских тишина.

И отбитый клочок земли с березкой  
Белогрудой, раненной в бою,  
Штукатур, заляпанный известкой,  
Гвардия, идущая в строю...

Возникает целостный образ — образ народного героизма. Но в этом единстве отчетливо различимы, то крупным, то общим планом переданные, горе и радость, утраты и победы, воинский подвиг и мирное созидание. Рядом, одной тесной группой стоят штукатур, гвардейцы, раненная в бою березка...

Снова березка! И, словно откликаясь на этот укоризненный возглас, Прокофьев пишет стихотворение в защиту березки, что идут то суглинком, то песком и на Крайний Север, хоть под ними только камень да лед, упорно продвигаясь, «белой смерти вопреки». Ответ поэта убедителен, потому что он аргументирует образами — точная характеристика северной березы, которая удовлетворила бы наверное и ученого ботаника, оказывается вместе с тем воплощением настойчивого, неотступного мужества.

Здесь ключ к прокофьевскому изображению природы — оно глубоко человечно и вводит читателя в круг людских чувств и стремлений. Правда, встречались в стихах Прокофьева и «декоративные» березки, — строки, лишённые внутреннего движения, обрзовывавшие только привычный узор. Но в новых циклах все видимое поэтом одушевлено, все осмыслено: камни-неулыбы охраняют рыбные богатства; озеро приветственно машет белой гривой; безыменная речка требует, чтоб ей дали прозвище; у фронтовой березки ноет к непогоде рана, закрытая припухшей корой; яблоня, похожая на голенастую девчонку, это — «счастье, устремленное к лазури»; волны падают, как солдаты в бою; распашные ветра ведут битву, в которой нет победителей, и, наконец, красногвардейские озера «участвуют и действуют в завоевании сердец»...

Так поэт высматривает и ценит в деревьях и камнях, в ветрах и волнах то, что ему дорого в человеческой жизни и творчестве. Оттого-то и природа в его стихах неуемная, полная сил, молодая... Таков и поэтический характер, созданный Прокофьевым. Он требует действия:

Делу нет предсла?  
Дело, отдых гоня,  
Хорошо завергело,  
Хорошо, что меня!

Движенье, работа, поиски — вот природная стихия, вот питательная среда прокофьевской поэзии. Жажда деятельности, острое ощущение жизни не уменьшаются, не иссякают. словно не прошло трех с лишним десятилетий с тех пор, как в одной из песен о Ладге поэт «рукою смелой и волей молодой» взял «за повод и воду и ветра»... Кажется, что с течением времени укрепилось это неуемное жизнелюбие, постоянная готовность работать и радоваться делу миллио-

нов рук, непримиримость ко всему, что враждебно этому справедливому делу.

Молодость таланта сберег не один Прокофьев. Николай Тихонов, продолжающий поэтические странствия и открытия, Николай Асеев, с неослабевающей страстью воюющий за новые чувства, против мешанского живучего старья; Михаил Светлов, верный комсомольским мечтам и стремлениям; Владимир Луговской, в последние месяцы жизни создавший лучшие свои книги. Так работает самое старшее поколение советских поэтов, не снижая накала вдохновения и уровня мастерства, не утрачивая чувства времени, не отказываясь от прав и обязанностей революционного художника.

Один из критиков, писавших о новых стихах Михаила Светлова, пытался доказать, что разговоры о сохранившейся молодости поэта неосновательны, что написанные в пятидесятых годах строки несхожи с написанными ранее и что старость наложила на них свой отпечаток.

Если автор этой рецензии намеревался высказать свое «особое мнение», резко расходившееся с суждениями других литераторов и читателей, ему это удалось. Однако он разошелся и с истиной, поставив знак равенства между старостью и зрелостью. Конечно же, работающий, движущийся с временем поэт находит новые и новые образы, краски, повороты стиховой речи. Исаковский на грани двадцатых и тридцатых годов перешел от «говорной» интонации к мелодическому стиху. Твардовский после окончания Великой Отечественной войны не повел своего Теркина на стройку, а написал сперва книгу лирики, а затем поэму совершенно нового для него склада. Перечень подобных примеров можно продлить — повторенье обычно противопоставлено поэзии, как и любому иному роду творчества. Но это рост, развитие, а не признак старости. О ней приходится говорить, когда в стихи входят вялость, равнодушие, когда дает себя знать нравственное утомление, бессилие. Но ведь подобных признаков нет ни у Светлова, ни у других упомянутых здесь поэтов.

Нет их и в творчестве Прокофьева. Он по-прежнему уверен —

А работать надо больше, больше,  
Будем жить тогда подольше!

и эти слова — не случайно высказанная сентенция, а программа жизни, подтверждаемая делом. Поэт упоен, поглощен своим трудом, потому что находит в нем удовлетворение своим гражданским чувствам и своей потребности словотворчества. Стихотворение, рассказывающее о том, как поэзия вошла в материнскую песенку и принесла с собой счастье, завершается решительным выводом:

Нет сильнее и нет прекрасней власти,  
Чем затронуть души и сердца!

Стихи Прокофьева обладают этой благородной властью. Его творчество имеет чистые, обильные истоки, и он им верен.

## ИДТИ В НАСТУПЛЕНИЕ!

*В. Московкин. Шарик лает на луну.*  
Повесть.— «Юность», № 5, 1960.

...С газетной страницы широко и чуть застенчиво улыбается человек, чье имя в ряду передовиков производства. Это — Василий Привезенцев, лучший экскаваторщик ярославского Нефтьстроя.

И я вспоминаю такой эпизод.

На краю гигантского котлована стоят юноша и девушка, вчерашние десятиклассники, впервые пришедшие на стройку. «Они приостановились у шеста. К нему была прибита фанерка с выцветшей надписью: «Здесь работает экскаваторщик Г. И. Перевезенцев...» Первым догадался Илья. «Какой-то герой», — сказал он и посмотрел в сторону ближайшего экскаватора, возле которого стояла очередь самосвалов... Лицо у экскаваторщика было круглое, загорелое и очень добродушное. Тяжелый ковш падал в котлован, вгрызался колунообразными зубьями в грунт и, стремительно взлетев вверх, раскрывал пасть над кузовом самосвала...»

Так начинается новая повесть писателя-ярославца Виктора Московкина.

Суть того, что происходит в повести, раскрывается в ее заключительных строках: «Для одного человека лучше сразу окунуться в жизнь, он перебродит и станет твердым как кремень. Для другого — сразу непосильно...»

Прав ли автор, сведя свой замысел к довольно-таки «узкой», на первый взгляд, теме? Я думаю, прав. Живая действительность неизмеримо сложнее самой искусной схемы, и в малой частице ее, если присмотреться внимательно, можно увидеть историю весь мир.

«Что же он такое?» Подобный вопрос задает себе не один Илья Коровин, молодой строитель, дорогою ценой разгадывающий эгоиста и пошляка Кобыкова. Его часто ставит и сам автор: перед собой, перед читателем.

В этом, по-моему, более всего проявляется творческое своеобразие Московкина — писателя размышляющего, ищущего не легкого собеседника, но зовущего думать, спорить, вторгаться в жизнь.

...Помнится, какую умную шутку сыграл с некоторыми наивными критиками его Семен Коротков (повесть «Как жизнь, Семен?») — паренек нелегкой судьбы, смело открывающий в свои тринадцать лет большой и трудный мир. Понадобилась острая полемика в центральной печати, чтобы зачислить Семена не в «хлопики», а в «ге-

рой», скромным, будничным трудом которых преобразается, расцветает земля.

Когда прошлой зимой на литературном вечере в клубе метростроителей Виктор Московкин читал главы из будущей повести, слушатели не сразу ответили признанием. Сперва — настороженное внимание, строгая проверка той жизненной правды, которой не должен поступаться писатель, и лишь затем — одобрение.

Я жалею, что на этом вечере не было литературных судий Семена Короткова: ведь им надлежит теперь вынести критический приговор героям нового произведения.

Между обеими повестями Московкина нет и двух лет. Но какое это волнующее, насыщенное историческими событиями время!

И естественно, что вместе со временем выросли духовно, возмужали герои писателя: Генка Забелин, напоминающий чем-то Семена, но глядящий на мир шире, Илья Коровин — один из тех, кто достоин принять трудовую эстафету от старшего поколения рабочего класса, и другие.

Заметно окрепло и художественное мастерство автора: зорче стал его глаз, точнее слово, выразительнее сделался диалог, глубже стали раздумья (превосходно написана, например, глава «Завод и люди» — своеобразное философское отступление).

...Но вернемся к Перевезенцеву. Так ли «прост» он, каким видится поначалу? Со всем неожиданно, например, этот «облаканный вниманием» человек может и отмахнуться от своей славы: «Сменщика нет — приходится перерабатывать... Я сам согласился, а меня за дурака принимают, по плечу похлопывают... Иногда хочется середнячком быть, честное слово: спокойно, тихо, никто тебя не замечает. Да не умею. Бирку на шесте навесили, как в зверинце». В характере героя писатель нашел свою «чудинку». И «бунтуя» против личной славы не просто из скромности, а ради успеха общего дела, который ему дороже собственных достижений, он по-настоящему живет на страницах повести, обретает неодолимую силу примера.

Недаром всем сердцем тянется к Перевезенцеву Генка Забелин, мечтающий о том дне, когда сам возьмет в руки рычаги экскаватора, и Илья Коровин в трудную минуту чувствует рядом крепкое плечо товарища, и Женя Першина, по-перевезенцевски не довольствуясь успехом только своей бригады, решает помочь отстающим арматурщикам.

И также не случайно кучка завязтых бездельников, вроде Гоги Соловьева, пытается зло, осмеять прежде всего именно Перевезенцева.

Правда, не на все и не на всех, к сожалению, хватило у автора сил, свежих и

ярких красок; статичен образ Василия, наивной кажется история Оли Кежун, впечатление «дежурных» персонажей производят комсомольские секретари Трофимов и Чайка...

Однако, пожалуй, не по этим, хотя и немаловажным частностям, предстоит спор о новой повести Московкина.

Повесть называется несколько странно. И даже читатель, наделенный богатым воображением, не станет отождествлять кобьяковых, приносящих вред нашему обществу, с безобидными дворнягами, подвывающими иногда на луну.

Между тем автор настаивает: все эти «мальчики-люкс» напоминают бездомных дворняжек, которые увязываются за каждым прохожим и облаивают то, что вчера лизали.

И, наконец,— прямая ассоциация — Илья кричит Кобьякову:

— Шарик! Шарик! Иди-ка сюда, дурашка этаким!

Думаю, добропорядочный четвероногий Шарик вправе вознегодовать: обидное сравнение и, что важнее,— неверное. Кобьяков отнюдь не «дурашка», он вполне сложившийся тип современного мещанинщиныка, лошеного наглеца. «Нельзя требовать от людей, чтобы они были такими же, как в двадцатые или тридцатые годы,— выговаривает он Василию.— Тогда все было проще. Скажут: надо — идут, раз надо, не раздумывают. Кое на чем обжигались, умнели. А нынче: надо! А кому надо? Мне надо ли? Нет, это не времена Павки Корчагина, героические и наивные. Они прошли... На практике не всегда выигрывает тот, кто стремится дать людям радость и счастье».

Чего больше в этой растрепанной «философии» — изошренного тунейства или «обоснованного» надругательства над советскими общественными принципами?

Нет, зря автор сглаживает остроту осуждения кобьяковщины, в одном случае усматривая корень зла в пресловутых брюках «дудочкой» и стильной прическе, в другом — противопоставляя хитроумной издевке Кобьякова лишь вялое морализаторство Василия, в третьем — используя за недостатком других аргументов «грубую» физическую силу своих героев.

А как реагирует на изобличение Кобьякова и ему подобных комсомольское собрание? Чересчур уж спокойно, с прохладцей, будто со стороны: «Вот заноза!» — вырвался у Генки Забелина чистосердечный возглас. «Важно, чтобы вы... не давали им распоясываться, обрывали всегда на полуслове... А сейчас перейдем к основному вопросу нашего собрания — выбору комсомольского бюро третьего участка», — невозмутимо заключает секретарь комитета комсомола Иван Чайка, словно идейный разгром кобьяковщины — дело десятое.

Откуда же эта «терпимость»? Разумеется, не от каких-либо симпатий автора к Кобьякову. Причина в ином. По складу своего художественного мышления Московкин не сторонник прямолинейной «тенденциоз-

ности». Что ж, право писателя избирать ту или иную форму суждения о жизни, участия в изображаемых событиях. Но в данном случае он впал, мне кажется, в противоположную крайность: увлекся «нейтрализмом».

Я вовсе не настаиваю на «любовом» решении конфликта, однако, чем опаснее враг, тем надежнее, отточеннее должно быть оружие против него. Недостаточно предупредить: осторожно — Кобьяков! Это — пассивная оборона. Нужно идти в наступление, в битву за коммунистические идеалы.

**В. Рымашевский**

## НАКОПЛЕНИЕ ИСТИНЫ

*Виктор Шкловский. Художественная проза. Размышления и разборы. М. «Советский писатель», 1959.*

Книга, выпущенная недавно шестидесятилетним Виктором Шкловским, — удивительный сплав опыта и молодой свежести ума, пронесенной сквозь полстолетия литературной деятельности. Это книжка в какой-то степени итоговая: она итожит не только накопленные наблюдения и раздумья, но и преодоленные ошибки. Шкловский решительно отмежевывается от тех своих буржуазных «исследователей», которые делали фетиш из его старых и неверных теорий.

Книгу Шкловского (это почти парадокс) трудно читать вот так «просто» — сесть и читать. Она с первого присеста может отпугнуть читателя неподготовленного. А Шкловский к читателю очень требователен. Его надо читать, не жалея усилий разума и не ожидая, что эти усилия окупятся немедленно. Они окупятся, но не сразу.

Афористичность и необычность стиля Шкловского упомянуты в энциклопедиях. Пародисты схватывали чисто внешне приемы этого стиля — его отрывистость, видимую разбросанность, неожиданные переходы от темы к теме. Пародисты вспоминали бузину, которая в огороде, и дядьку, который в Киеве, но все это очень плохо объясняло стиль Шкловского.

Во всех неожиданных прерывах и бросках мысли есть у Шкловского внутренняя закономерность. Когда человек быстро записывает что-то для себя, он записывает очень кратко и лишь основные мысли, оставляя как бы вежи и пропуская все, что можно по ним восстановить. Так пишет Шкловский. Неожиданный пейзаж в главе о Боккаччо («Все время на берег набегает седые волны и не могут вцепиться пеной в гравий; они, шурша и пенясь, возвращаются обратно») на другой странице вдруг помогает нам представить себе старость итальянского новеллиста, его одряхлевший талант и память о былом взлете: «Не время ушло — ушел сам молодой Бок-

каччо, только отметив на берегу уровень своего понимания так, как волны отмечают высоту прибоа на камне». Шкловского нельзя читать без напряжения мысли, но это напряжение мысли воспитывает читателя, оно обогащает его едва ли не больше, чем та энциклопедичность, которая отличает Шкловского.

И все-таки истинная оригинальность Шкловского — не в его манере писать «сбивчиво» и не в его богатой эрудиции, которой он пользуется с поразительной легкостью.

Оригинальность в том, что при всей своей эрудиции Шкловский умеет «забывать» о ней, что, находясь во всеоружии чужих мнений, он умеет освободить литературное произведение от сестей, наброшенных на него прежними исследователями, прочесть его «заново» так, что при этом открываются ранее неизвестные нам закономерности. Так удается Шкловскому нащупать всеобщий процесс творческого *обогащения литературы* и показать этот процесс на произведениях совершенно разных эпох и стилей.

Критик исследует в своей книге древние и новые произведения фольклора, греческий роман, «Декамерон» Боккаччо, творчество Сервантеса, Фильдинга, Стерна и Диккенса, прозу Гоголя, Толстого и Чехова, Шолохова и Хемингуэя.

Мысль Шкловского заключается в том, что риторика, которая вначале организовала все элементы литературного произведения, постепенно уступает место иным художественным закономерностям. Риторика — тоже ведь форма знания о жизни,

но риторика как бы пытается насильственно внести в жизненный материал свою предусмотренную стройность. Психологический анализ, правда характера долго не могут пробить себе дорогу, обосновываясь на второстепенных линиях произведений, организованных по риторическим сюжетам. Даже у Диккенса, при всем его психологическом богатстве, находит Шкловский следы чисто внешнего обобщения событий — роман «открытия тайн». Характер становится основой сюжета в русской классической прозе. Знание о характере, раскрытие психологической правды и социальной типичности становится у русских классиков внутренним, организующим повествование действием.

Шкловский ищет закономерность, которая, с одной стороны, объяснила бы внутреннюю логику всех элементов произведения, а с другой — подтверждалась бы классовой позицией писателя, его мировоззрением, мироощущением. Критик не признает разобщенного анализа идейной основы и художественных особенностей произведения. Он разбирает произведение комплексно, стараясь выявить закономерность, по которой сцеплены все его элементы.

Сцепление — термин, созданный Львом Толстым, — общее понятие о согласованности внутри произведения. Этот термин хорош тем, что он вскрывает согласованность на всех «этажах»: в масштабе фразы, в масштабе сцены, в масштабе книги. Он как бы создан для понимания произведения в его единстве. Можно принять или не принять на вооружение этот термин, но надо вооружиться умением пони-

## «И БОЛЬШИМ, И ДЕТЯМ»

С. Баруздин. Мой сосед. Изд-во «Молодая гвардия». 1960.

Как надо говорить с детьми? Громко или тихо? Ласково или строго? Пристально на корточки или взирать на них несколько свысока?.. Мы слишком привыкли к тому, что дети около нас, и зачастую забываем, что бок о бок с нами ходит, дышит, растет и требовательными глазами смотрит это, пока еще смешное, курносое, забрызганное веснушками будущее человечества. Будущее человечества! Ребенок еще бегаёт в коротеньких штанишках, он угловат, наивен, и потому как-то не верится, что это и есть тот человек, который потом возьмет в свои руки штурвал трактора, межпланетного корабля — и истории. Не ве-

рится. И мы начинаем сюсюкать, словно боимся поделиться с детьми своим опытом. Ничего, мол, подрастут, все сами узнают.

Дети хотят знать многое. Они припадают к книгам. И нередко с неудовлетворением откладывают сборники стихов: скучно. Ребята ждут более серьезного разговора о жизни. И отрадно, что некоторые наши поэты упорно ищут новые темы, новые образы и идеи, отмеченные не только дыханием сегодняшнего дня, но и дыханием будущего.

Примечательна новая книга стихов С. Баруздина «Мой сосед» не только глубоким содержанием, но и многоплановостью стихотворений. Из реального случая, из дружеского и непринужденного разговора как бы сам собой вытекает вывод, афо-

ристически венчающий всю вещь.

Автор ведет большой разговор о Человеке: его достоинстве, месте в жизни, воле, мужестве и готовности отдать себя до конца нашему общему делу. Все эти определяющие качества особенно привлекают внимание поэта, и он в лучших своих вещах умеет находить им выражение. Хорошо и то, что тут вопрос не решается «в лоб». На помощь Баруздину приходит лукавая, насмешливая улыбка, например, в стихотворении «Язык (не штука)». Простые и емкие строки о человеке и его словах звучат как поговорка:

Много слов на свете,  
Много дел на свете.  
Если дела нету,  
Слово — это ветер.  
Слово улетает,  
Не поймаешь снова.  
Человек без дела —  
Человек без слова.

мать литературу в ее комплексе, а не в соединении двух якобы самостоятельных половинок: содержательной основы и мастерства, с которым она воплощена в текст.

Мастерство — понятие необходимое в литературной учебе. Мастерство — это то, чему должен учиться начинающий писатель. И Шкловский пишет: «Что это оно за «мастерство»? Относится ли оно к сущности произведения или это что-то вроде грации, которая нужна для исполнения определенного танца, само движение которого уже известно наперед? Мне кажется, что отдельного мастерства не существует. Существует познание мира при помощи искусства».

Сегодняшней литературы В. Шкловский почти не касается. Он лишь в самой общей форме говорит о том новом, что после классиков внес в литературу социалистический реализм, о том, что социалистический реализм стремится познать мир в его целостности, в его историческом движении, о том, что усиливается элемент романтического, элемент документальной достоверности в прозе.

Книга кончается разбором «Тихого Дона» Шолохова. Закономерности, которые видит критик в социалистическом реализме, раскрыты здесь конкретно, на примере произведения мировой значимости: исторически достоверные факты, пронизывающие повествование; исторический смысл личной трагедии Григория Мелехова; новый синтез документальности изложения и правды характеров, поднятой до раскрытия законов истории.

Но, переломив некоторые закономерности социалистического реализма в анализе одного из высших достижений литературы XX века, Шкловский не показал процесса накопления истины всем развитием новой литературы (что так убедительно показал он в главах о литературе старой). Надобно ведь понять, как взаимосвязаны эти (и другие) закономерности, как они воплощаются в сегодняшней практике советской литературы. Это — тема будущих книг самого Шкловского и тех, кто будет увлечен его «личным примером». В будущих статьях и книгах, написанных нашими критиками, должно дать плоды сегодняшнее чтение Шкловского. Тогда и окупится полностью (мы говорили «не сразу») это чтение.

Чтение, повторяем, нелегкое, требующее активного читательского труда.

Чтение, благодарное для тех, кто не пожалев этого труда, для тех, кто по-настоящему интересуется литературой.

Л. Аннинский

## ЛУННАЯ ДОРОГА

Александр Казанцев. *Лунная дорога.*  
Журнал «Нева», № 5, 1960.

Лу Синь сказал: мечта — это не то, что уже существует, и не то, чего не может быть. Краткая в емком иероглифе, по-русски фраза неповоротлива, но очень точно определяет содержание новой научно-фан-

А разве не заставляет задуматься наивно, на первый взгляд, стихотворение «Окна и двери», когда в непритязательных строчках поэту удалось сказать о стремлении общения народов с народами, о жажде взаимного познания и выразить радостную уверенность в возможности сближения людей всех наций и рас.

Из книги встает наша жизнь в лесах новостроек, в меняющемся пейзаже города, в новых приметах, когда даже трамвай перекочевывает в сказку. В стихах — влюбленность в наши героические будни.

Однако налицо «издержки производства».

Ряд вещей, таких, как «Гора», «Дождь идет...», «Человек и птицы» — переговоры. Автор где-то сказал лишнюю строку, где-то две, а в «Человеке и птицах», нам кажется, и все последние восемь строк не нужны, потому что нового ничего не

вносят в стихотворение, да и написаны с излишним нажимом на восклицательные знаки. Законное раздражение вызывает и неточная рифмовка.

Снова перечитывая сборник, веришь, что Баруздин продолжит свой творческий поиск, и по соседству с «Моем соседом» вырастут новые стихи, новые книги, адресованные «и большим, и детям».

Б. Дубровин

## РЕВИЗИОНИСТСКИЕ ВЫДУМКИ

Сборник «О некоторых ревизионистских концепциях государства и права» под редакцией А. И. Денисова. Изд. МГУ. 1960.

Капитализм проигрывает в соревновании с социализмом во всех областях — в науке, технике, искусстве,

экономике. Но особенно наглядно его поражение в идеологической области.

Имperialистическая буржуазия и ее идеологи, несмотря на все их усилия, не смогли «изобрести» такое учение, которое, как они надеются, смогло бы отвратить народы «от безбожного коммунизма». Под растущими ударами нового, передового, жизнеспособного они могут лишь лихорадочно защищаться, стремясь приукрасить и переукрасить капитализм.

«Практика борьбы рабочего класса, — говорится в Заявлении Совещания представителей коммунистических и рабочих партий (1960 г.), — весь ход общественного развития дали новое блестящее подтверждение великой всепобеждающей силы и жизнеспособности марксизма-ленинизма и решительно опровергли все «теории» современных ревизионистов».

тастической повести Александра Казанцева «Лунная дорога».

В космосе еще не произошла драма, подобная той, что наблюдали на телевизионном экране своего корабля советские космонавты, герои «Лунной дороги». Но все, рассказанное в повести, так ощутимо близко, так заманчиво возможно, что с каждой прочитанной страницей нарастает странное чувство — это же не фантастика, это просто завтрашний день! А может быть, вечер сегодняшнего?.. Может быть, в отдельном издании повесть из научно-фантастической станет научно-популярной и уже входит в словарь неологизм — «звездолетчик»?

В наше время стремительных открытий человек недолго удивляется подвигам собственного разума. Разве не привыкли мы уже к тому, что в космосе живут нами созданные звезды, что Луну бесцеремонно оглядели со всех сторон, а из просторов галактики благополучно вернулись на землю первые мохнатые путешественники?

Герои фантастических произведений обычно безлики. Они лишь населяют чрезвычайно от нас далекий, технически неизмеримо более совершенный, но почти лишенный теплых, простых чувств дистиллированный мир.

В повести А. Казанцева люди живут. Они нам родственны, близки и понятны: Петр Громов, без кавычек герой, командир корабля — не так-то легко ему, уходя в полет, отказаться от личного счастья; чудесная его мать, которая так просто, так по-земному плачет, прощая сына; американская журналистка Эллен Кенни, маленькая, решительная женщина, добившаяся на

родине славы, но не счастья. Об этих людях можно серьезно и говорить, и думать. Обо всех героях повести. А прежде всего о Томе Годвине, первом американском космонавте, простом парне, для которого полет в космос — лишь последняя попытка заработать на хлеб.

Прежде всего — о Томе, потому что повесть Казанцева полемична в самом широком значении этого слова.

Не так давно в Америке была издана новелла «Неумолимое уравнение», принадлежащая перу новеллиста Тома Годвина (ею открывается вышедший на днях в Москве сборник научно-фантастических рассказов американских писателей).

Пилот обнаружил в ракете девушку — «космозайца», наивно стремящуюся на свидание к брату, работающему в экспедиции на далекой планете. Пилот, точно выполняя инструкцию, — в космическом корабле не должно быть лишнего груза, — одним движением кнопки выбрасывает девушку в космос.

Тома Годвина на «Лунной дороге» судьба загоняет в такую же ловушку. Но измученный безработицей, уставший от хронического безденежья, он все-таки не способен пойти на сознательное убийство.

Том Годвин сам уходит в космическое небытие...

Годвин — против Годвина. Любопытно, что именно советский писатель выступил против американского новеллиста, в защиту его героя, простого американского парня.

Вполне оправдана и обусловлена совершенная целенаправленность Петра Громова.

---

Авторы сборника спрavedливо указывают, что ревизионизм есть не что иное, как особая разновидность буржуазной идеологии. Ее источник — наличие буржуазного влияния внутри страны и давление империализма извне.

Будучи юристами, авторы сборника анализируют ревизионистские концепции по вопросам государства и права. Убедительной и аргументированной критике подвергаются взгляды целой группы ревизионистов (Э. Браудер, А. Биттелман, Д. Гейтс, Р. Лукич, Н. Пашич, Э. Кардель, А. Джолитти и др.) и их духовных собратьев — социал-реформистов (оба Каутских, Ж. Мок, Д. Стрэчи, Х. Гейтскелл и др.). Суть их рассуждений такова: капитализм якобы мирно и спокойно перерастает в социализм; уже сейчас в таких странах,

как США, Англия, Франция, ФРГ, налицо «социалистические тенденции», «смешанная экономика» и т. п.

Навязывание капитализму «социалистических тенденций» сочетается у ревизионистов с охаиванием советского государства, с умалением роли Коммунистической партии. Под лживым лозунгом «борьбы со сталинизмом» ревизионисты пытаются выхолостить революционную душу ленинизма, оставить от него лишь одно название. Особенно усердствуют в этом, как правильно отмечают авторы сборника, югославские ревизионисты, клеветующие на социалистическое государство и Коммунистическую партию Советского Союза.

Разоблачению ревизионистских взглядов на буржуазное и социалистическое право в сборнике посвящена

статья А. Ф. Шебанова. Автор вскрывает тенденциозный лживый характер утверждений ревизионистов о «чистой демократии», о роли буржуазного права «как средства выражения интересов всех классов общества».

Ревизионисты в своем отношении к буржуазному государству не отличаются от откровенно буржуазных теоретиков. Они приняли на вооружение такие стопроцентно буржуазные теории, как теория «народного государства», «государства всеобщего благоденствия» и т. п. Критическому разбору этих ревизионистских концепций посвящены в сборнике статьи В. Д. Попкова и В. Е. Гулиева. Опираясь многочисленными данными, почерпнутыми из иностранных источников, авторы не только разоблачают эти выдумки, но и раскрывают классовые кор-

Истоки его характера берут начало в наших днях, когда уже подготовлены первые космонавты, когда четверо юношей в океане явили всему миру образец бесстрашия и преданности долгу.

По привычке думаешь — но ведь все это происходит... на Луне!

Очень просто, по-деловому отвечает Петр Громов Эллен на подобные ее сомнения:

«На Луну стоит лететь лишь во имя Земли. Это ее седьмой континент, последнее белое пятно! Ведь Земля и Луна — это одна двухпланетная система. Мы рискуем меньше, чем Колумб, искавший Индию».

Очень хорошо, что отнюдь не все герои повести являют собой лишь высокие образцы духовных качеств. Евгений Громов — создатель управляемой с Земли танкетки — насколько он менее собран, организован и надежен, нежели его брат! Не случайно так теряется он в опаснейшую для всей экспедиции минуту, хотя сам в полнейшей безопасности находится на Земле. Не случайно и Эллен не Евгению — как можно было поначалу думать, — а Петру отдает свое первое, большое, совершенное ему не нужное, но искреннее чувство.

Во всей этой, казалось бы, лишь любовной ситуации очень непростая и важная заложена автором мысль: много есть высоких слов, жарких чувств и быстрых обещаний, но всегда дороже и ближе станет человек, который бок о бок с тобой прошел испытания, одолел трудности и добился цели.

«Чтобы почувствовать, что ты нахо-

дишься на Луне, надо, оказывается, быть на самой планете, а не только видеть ее скалы с помощью самой совершенной аппаратуры. Чтобы понимать человека, нужно быть подле него...»

Громов и Годвин оказались первыми землянами, похороненными на планете, которую они дерзнули покорить. Сцена их гибели, главы, посвященные спасению первых исследователей Луны, написаны так естественно и зримо, что заставляют начисто забыть о фантастике.

Спасение становится возможным лишь потому, что земным летчикам — рабочим людям всех стран — все-таки удастся заставить свои правительства объединить усилия, опоясать Землю единой цепью антенн...

«С летящего к Луне космического корабля «Разум» было передано на Землю сообщение. Удалось перехватить радиопередачу между шлемофонами оставшихся в живых лунных исследователей Эллен Кенни и Ивана Аникина. У них общее дыхание, они дышат одним воздухом...»

Радиокомментаторы и дикторы во всем мире, не стовариваясь друг с другом, к этому сообщению добавляли от себя, что люди Земли тоже дышат одним воздухом. Человечеству стоит иметь одно общее дыхание...»

Борьба за общее дыхание человечества... Мысль эта, прочно одетая сюжетным каркасом, не навязчиво и дидактично, но закономерно и действенно проходит через всю повесть, сообщая ей злободневность в лучшем смысле этого слова.

## Читаю ли вы?

ни и полное идейное родство ревизионистов с буржуазными теоретиками.

Объединенные усилия буржуазных, реформистских и ревизионистских «теоретиков» не могут скрыть антинародного и агрессивного характера современного империалистического государства, какое бы покрывало они на него ни набрасывали.

Сборник представляет собой ценное пособие не только для студентов, но и пропагандистов, слушателей школ партийного просвещения. Отдельные его недостатки (повторы, некоторые нечеткие формулировки) легко устранимы. Удивляет лишь то, что издательство МГУ выпустило эту важную книгу микроскопическим тиражом — в 3000 экземпляров.

**А. Мишин**

14\*

*Н. Попель. В тяжкую пору.*  
Воениздат. М.

Это не исторический роман, не повесть, а просто волнующий рассказ участника Великой Отечественной войны.

Мне кажется, само название книги «В тяжкую пору» отразило полностью ее содержание: правдиво описаны полные драматизма и высокого героизма боевые дни начала войны. Н. Попель не выдумывал эпизоды, они рождались ходом событий и в такой последовательности описаны. Он не искал героев, они все время были с ним рядом, его верные боевые друзья. Один из них — комбат Сытник — вступил в бой в первый день войны, другой — лейтенант Павловский — подбил

двенадцать танков. Капитана Мазаева, тяжело раненного, обожженного, вынесли из горящего танка, но он не покинул поле боя, попросил пересадить его в другой танк и продолжал командовать батальоном в течение двух суток...

Автор не скрывает, что было и незнание обстановки некоторыми военачальниками и растерянность. Но как ни тяжело складывались события, бойцы и командиры мужественно и беспощадно атаковали врага.

Шестидневные бои у Дубно показали стойкость отряда Попеля и умение драться. Это была не пассивная оборона, а жестокая борьба, заставившая врага бросить основные силы против небольшого отряда.

Не только у Н. Попеля

211

Радует, что на материале повести Казанцева можно ставить вопросы, интересующие писателя, работающего в любом жанре: использование ретроспекции, работа с деталью, речевая характеристика героев, использование пейзажа как дополнительного средства разработки образа...

Первые страницы повести. Два командира двух космических кораблей. Для Громова полет — мечта всей его жизни, и грозным, но великолепным предстает перед ним космос.

«Разноцветные колючие звезды горели без мерцания, мертвым жгучим светом, который не рассеивал окружающей их черноты. Несовместимое соседство света и тьмы было особенно диким и странным близ злобно-яркого, взъерошенного Солнца, огненно-косматого, похожего на ослепительную медузу в море мрака».

Годвин рискует собой только из-за денег. И какой же предстает перед ним Луна? «Отвратительный шар без облаков!..» — и только.

Эллен Кенни и академик Беляев, дилетант и ученый. Вот их разговор:

«...— Как люди дерзки. Но им не дано достать неба...

...— Человеку ничего не дано. Он все берет сам».

Есть ли в этой хорошей повести недостатки?

Есть, конечно, и их, наверное, еще отметят, потому что произведение достойно серьезного разговора о нем в прессе. Мне же хотелось сказать о ее достоинствах, хотелось, чтоб как можно больше читате-

лей ознакомились с этой интересной книгой. О научных открытиях рассказано в ней зримо и понятно, а фантастика...

Да полно! Уж фантастика ли это?.. Не ушла ли уже на Луну танкетка Евгения Громова? Не готовится ли к старту «Искатель 3»? Если да,— то доброго им пути! Доброй лунной дороги!

*Евг. Леваковская*

## СТИХИ О СОЛНЦЕ, О ВЕСНЕ

*Владислав Шошин. Солнце в серебряных тополях. Л., «Советский писатель», 1959.*

Небольшой сборник Владислава Шошина открывается стихами, в которых автор определяет свое отношение к жизни и свое место в ней. Он пишет о солнце, о весне, о «друзьях со всех сторон», о хорошем, бодром настроении, о желании идти в ногу со временем.

Зайчик лови рукою,  
Ломай залежалый наст.  
Вставай! Все равно покою  
Апрель по утру не даст!

А дальше рассказ о том, что видел поэт на Севере: стихи о буксире, без усталости бороздящем море, о красивом, хотя и несладком порой труде моряков, о скромной и

и его командиров, но и у всех бойцов после поражения у Дубно было неукротимое стремление вырваться из тактического окружения и снова бить и бить врага. Казалось, в такое время в арсенале командира нет иного решения, как расчленив тысячный отряд на мелкие группы и побыстрее увести их в глубь леса. Но Н. Попель решает по-другому. В эти критические минуты он ищет помощи у партии. И находит ее. Попель собирает коммунистов, информирует их о положении и призывает единым кулаком бить врага, всем выходить из окружения. И в этот тяжкий день партийная организация отряда увеличилась на 26 коммунистов.

«Мы армия. Мы должны истреблять врага и заставить его усомниться в

своем триумфе»,— говорили бойцы. И они искали выход из окружения — шли, боролись: Родина, от которой они были отрезаны врагом, жила в сердце каждого.

**П. Бурмак,**  
*генерал лейтенант  
в отставке*

*В. Андрианов. Свободная Куба. М. Соцэкгиз. 1960.*

В новогоднюю ночь 1959 года пала кровавая диктатура Батисты. Государственный аппарат тирании был уничтожен, к власти пришли революционные силы. Брошюра знаменит читателя с героической историей борьбы кубинского народа

против тирании Батисты и засилья американских монополий.

В ней рассказывается о боевых делах Повстанческой армии, о деятельности Народно-социалистической (Коммунистической) партии Кубы, о мероприятиях, проводимых революционным правительством Кубы после прихода к власти, о борьбе кубинского народа за свою свободу и независимость, за расцвет экономики и культуры.

Автор брошюры использовал прогрессивную печать Кубы и других стран Латинской Америки, беседовал лично с кубинскими патриотами, участвовавшими в повстанческом движении.

*Читали ли вы?*

мужественной девушке-рыбачке, о бушующем бескрайнем океане, в котором — «ни капли пресной» (переносный смысл этого выражения почему-то оказался непонятным творцу «заметы» в «Звезде»). Основной мотив этого цикла: ощущение силы и жизни «у самых северных широт».

Завершают книгу произведения, посвященные матери, стихи о любви — то тревожной, то несущей радость, воспоминания о войне, о людях разной судьбы, встреченных поэтом.

В. Шошин безусловно способный поэт. У него зоркий глаз, образная речь. «С асфальта тяжелым ломом подтаявший сбит февраль», — это хорошо и точно сказано. Поэт умеет быть кратким. В одной картине, в одной строке ему удается порой выразить большую мысль, вместить значительное содержание.

Автору книги удается и наиболее трудное — естественные, внутренне мотивированные переходы от частного к общему, от конкретного факта и образа — к обобщению.

Герой В. Шошина стоит в начале своего жизненного пути. У него «в душе весна и щебет рощи», он принимает и славит яркую, красочную действительность:

И петь скворцам, и цвстть гвоздикам,  
И жизнь горька и хороша,  
И, как всегда, чиста дуча  
Во всем — и в малом, и в великом!

Порой он по-юношески восторжен. Он еще мало знает, мало видел и, может быть, поэтому он чаще созерцает жизнь, чем участвует в ней. Вместе с тем, многие стихи,

помещенные в этой же самой книге, написаны как бы совсем другим человеком — более опытным, более зрелым, много думавшим и пережившим. Особенно удачны стихи, объединенные в цикл «Воспоминания о войне».

Тут автор находит самые сильные, прямые слова:

Не только песни старины —  
И наши скорбны и суровы:  
В курганах памятной войны  
Не схоронили горе вдовы.  
Их мир был холоден и пуст,  
В глазах обида и смятение,  
А ты твердишь в недоумение —  
Откуда боль моя и грусть?

Но мужественная грусть поэта, «пустою песней не тревожа молчанье праведных могил», не замыкается в себе, она находит выход — традиционный, если передать его своими словами, глубоко пережитый и прочувствованный, если иметь в виду образы самого автора: «...Погибших ты забыть не вправе, но прошлым сердце не печаль».

Встаёт ольха со дна воронки,  
Нарядны бусы бузины,  
И на ветру осинник тонкий  
Не от взрывной дрожит волны.

«Солнце в серебристых тополях» — вторая книга Владислава Шошина. Думается, однако, что ошибки и огрехи автора простекают не только от его творческой молодости. Они объясняются и тем, что иногда автор относится к себе недостаточно требовательно. Неужели не знает, не чувствует он, например, что «звонкая моло-

## ЗАГАДКА ПУШКИНА

Страстно любя и ценя народное поэтическое творчество, Пушкин никогда не упускал случая познакомиться с ним, записывать его. Особенно много приложил он старания к собиранию народных песен, намереваясь даже издать сборник. Узнав, однако, что П. В. Киреевский готовит такое издание, Пушкин передал ему свои записи.

По свидетельству Ф. И. Буслаева, поэт сказал при этом Киреевскому: «Когда-нибудь от нечего делать разберете-ка, которые поет народ и которые смастерил я сам».

К сожалению, драгоценнейшее собрание Киреевского, насчитывавшее десятки тысяч песен, в значительной своей части пропало. Пропала и тетрадка Пушкина.

Правда, П. В. Киреевский, ценя записи поэта, успел снять с них копии, которые постоянно находились в архиве. Публикация их началась с конца XIX века. С этого времени началось и усиленное разгадывание учеными «загадки Пушкина».

Литература, посвященная этому вопросу, огромна. Но «загадка» так и не решена до сих пор. Мешала, в частности, неразбериха с количеством песен: Бартенев уверял, что в тетради Пушкина было около сорока песен, а сам Киреевский свидетельствовал, что их было пятьдесят.

Уже к началу XX века было найдено более сорока песен, записанных Пушкиным, а песни все находились и находились... К 1959 году, казалось, были отысканы все пятьдесят текстов: сорок де-

вать в копиях и один — в автографе. Пушкинисты сочли, что «в настоящее время все пятьдесят пушкинских записей найдены в собрании Киреевского».

Но эта арифметика неожиданно потерпела крах. В 1959 году автор этих строк нашел в архиве Киреевского еще две песни в копиях П. В. Киреевского на отдельных листочках в  $\frac{1}{8}$  долю листа. Внизу, как и под ранее найденными песнями, подписано: «Пушкин». Первая песня свадебная, вторая — семейно-бытовая. Находка этих песен подтверждает ранее высказанное мною предположение, что Пушкин не ограничился передачей Киреевскому одной тетради, а доставлял и другие песни.

Есть основания предполагать, что Киреевский говорил об одной тетради, а Бар-

дость», «былинная тропа» — это штампы? Буксир «спешит с беспечностью ребенка» — это плохо, потому что работага-буксир не может быть сопоставлен с беспечным ребенком.

В одном из стихотворений В. Шошин, восторгаясь увиденным, говорит: «Все так и просится в стихи». Не хочу придирается к этой строке, но после знакомства с некоторыми стихами невольно создается впечатление, что автор сделал их именно по такому методу. «На пустом моем балконе — материнская печаль». Откуда этот балкон? Как эта деталь соотносится с замыслом? Непонятно.

В. Шошин должен идти к современности в самом широком смысле слова — к современному характеру, современному образу, современной речи и строю стиха.

**Вл. Бахтин**

## ОБЫЧНАЯ РОМАНТИКА

*Римма Казакова. Там, где ты. «Советский писатель», М., 1960.*

На стройки, на целину, в далекие лес-промхозы молодые люди едут, чтобы сделать краше родину. И еще — чтобы самим сделаться сильнее, мужественнее, проще. К этому «целинному» мужаящему поколению во многом принадлежит и поэтесса Римма Казакова.

Туда хотелось мне бы,

где не такое небо,

где не такие люди,

где все иначе будет.

Иначе — то есть проще,

но многое на ощупь...

Иначе — то есть легче,

но больший груз на плечи.

И это не детская романтика, не страсть к далеким путешествиям, навеянная книгой или чужим рассказом. Нет, это достаточно продуманное осуждение какого-то очень неправильного пути, понятого поэтессой как «бескрылость и бездумность», как изнеженность и нежелание идти навстречу трудностям жизни.

На Дальнем Востоке жизнь открылась ей в своих простых и строгих чертах — в трудных дорогах среди приморских сопок, у походных костров.

Юности, которой «подавай на блюдечке рыбешку, а не удочки», Римма Казакова противопоставляет открывшийся ей в даурских краях мир простых людей — душевных, отзывчивых, внешне грубоватых, мир «друзей с руками жесткими — рыбацкими и флотскими, гражданскими, армейскими, рабочими и сельскими». Быть вот такой же, как они, обветренной всеми ветрами, с кипящей в сердце радостью дела! В этом видимая цель поэтессы, ближайшая ее задача.

Два пути — один легкий и бездумный, другой — путь настоящей трудовой жизни — все время сталкиваются в стихах поэтессы. Они как бы вместе живут в ее сознании, схватываются и борются, как борются в жизни.

Чем обратили на себя внимание Риммы Казаковой вот эти солдаты, сидящие

тень о другой. В первую тетрадь, очевидно, входили только свадебные песни, записанные в Псковской губернии. К настоящему времени из этой тетради найдено тридцать три песни. Во вторую тетрадь, должно быть, входили необрядовые песни, записанные в Нижегородской губернии. Из этой тетради пока найдено только девятнадцать текстов. Трудно судить, какое количество песен входило в эту тетрадь, но тот факт, что на вновь найденной песне в правом углу внизу стоит цифра «43», может свидетельствовать о неточности показаний Бартенева.

Конечно, всякий раз, когда обнаруживается новая находка, исследователь задается вопросом: а не та ли перед нами песня, которую написал сам поэт.

Основной критерий народности песен — их быто-

вание в народе и, в связи с этим, наличие нескольких ее вариантов. Первая из найденных песен зарегистрирована в нескольких вариантах в различных областях страны, в том числе и в Псковской. Сомневаться в подлинной народности ее текста нет оснований. Заметим кстати, что для всех свадебных песен, записанных Пушкиным, найдены народные параллели, поэтому ни одна из них у исследователей не вызвала сомнений в подлинности.

А вот вторая песня... Приведем ее текст:

Как по селам спят, по деревьям спят;  
О полночи петухи поют,  
Добрый молодец домой идет;  
Он в окошечко посматривает,  
Посматривает, приговаривает:  
Аль спит жена, аль не спит жена?  
Меня молодца дожидается,  
Журить, бранить собирается:  
«А долго ли тебе по ночам  
не спать,

По ночам не спать, до зари гулять,  
По чужим дворам, да по чужим женам?»

Али я тебе опостылела,  
Опостылела, опротивела?  
Али мало тебе своей жены?  
Уж выдать ли мне, чтоб поймали тебя,  
Чтоб поймали, притаскали,  
приговаривали:  
Не ходи, б....., по чужим женам,  
У тебя, б....., своя жена.

К этой песне нами не найдено ни одного варианта. Больше того, нет даже песен близких по содержанию; ни одна строка приведенного текста не встречается в других народных песнях. Ритм песни — не типично фольклорный, а дольник, которым, кстати, написана часть «Песен западных славян».

Конечно, нельзя полностью поручиться, что перед нами не народная песня. Но имеются серьезные основания предполагать, что найдено неизвестное стихотворение Пушкина.

**П. Ухов**

у костра («Солдаты греют руки у огня»), о чем думает она, глядя на бойцов?

А я опять задумаюсь о тех,  
в чьей жизни нет  
больших суровых вех...

В этом раздумье, несомненно искреннем, чувствуется пережитое. Не потому ли вот здесь, у огня, согревающего солдат, наступает какой-то сдвиг в душе, происходит освобождение от облегченных «городских», мешающих жизни и поэзии представлений? Становится понятной эта раздумчивость, эта подвижность внутреннего облика поэтессы.

Я похожа на землю,  
что была в запустенные веками.  
Небеса очень туго,  
очень трудно ко мне привыкали,—

пишет Римма Казакова. В этих строчках, конечно, немало книжного, преувеличенного, наигранного. Но это — поиски «своего корня», своего пути в народную жизнь.

Среди литературных сверстников Казаковой немало поэтов, иначе пришедших к творчеству, нашедших свой голос. У них нет сложных раздумий автора сборника «Там, где ты». В их росте есть нечто напоминающее стремление вверх молодой елочки, выросшей на лесной поляне среди деревьев. Навстречу этой простоте, глубокой связи с землей идет Римма Казакова. Идет порой неровно, нет-нет да и раздражаясь строками нервными, почти испуганными:

Буду эхом, вещью,  
судомойкой, чтивом...  
Только любви!

Поэтическое возмужание Риммы Казаковой еще не завершилось. Но тем большее значение в ее творчестве приобретает «дяурская» тема. Думается, именно здесь находит поэтесса реальную почву, именно здесь приходит к ней

близкая и родная,  
обычная на Востоке  
романтика трудного края,  
неустроенность невестройки.

Обычная романтика! Здесь очень точно определено то верное, нужное на-

правление поэзии, тот необходимый угол зрения, который помог поэтессе найти Хабаровский край. Здесь Римма Казакова подает руку другому хабаровцу — поэту Павлу Халову, который «давно привык к командировкам, к дымным полустанкам и ветрам».

Обычная романтика — это не отказ от достигнутого, от той душевной тонкости и чуткости, без которых не было бы поэзии Риммы Казаковой. Ведь и эти строки стихотворения «Тайга» — тоже «думающие» стихи — о мужестве, о честности человека перед собой, перед страной:

Тайга, где тонут.  
Где не стонут.  
до крови ноги разодрав.  
Где все — до капли — жизни стоит.  
Где надо все еще построить  
над омутом дремучих трав!  
Тайга, ты край наш. Грубо, трудно  
и безоглядно дорога.  
Ты не для труса, не для трутня,  
дальневосточная тайга.

В драматическом рассказе Казаковой об освоении дорогого ей края «дремучих трав» присутствует не только мужество, но и большое глубокое понимание жизни, которое ищет поэтесса.

Амур, Охотское море становятся для Казаковой той «малой» родиной, которая, по слову Твардовского, есть у каждого человека и помогает ему понять великую родину — Россию. Звучнее, проще, выразительнее становится стих, а сами мысли, звучавшие в поэзии Риммы Казаковой и раньше, словно крупнеют, естественнее вписываются в оправу дальневосточного пейзажа...

...Молодым, еще не устроенным душой людям, выходящим навстречу всем ветрам жизни, предстоит определиться, найти свой «корень». Они найдут его в тайге и на стройках, возмужают, окрепнут в своих гражданских чувствах. Об этом с большой искренностью и рассказала Римма Казакова в своем новом сборнике, где книжность и поза побеждаются обычной невыдуманной романтикой жизни.

А. Хайлов

## Между строк

### НАЧИНАЮТ С МАЛОГО

Нельзя требовать, чтобы все театры сразу показали яркие образцы работы над современным репертуаром. Начнем с Малого, о Большом трудно пока говорить.

### И ХОЧЕТСЯ, И КОЛЕТСЯ

В помидорах его пугали соли, которые откладываются в его почках, но привлекали витамины, которые противодействуют этому откладыванию.

### ОБОЗРЕВАЯ ПУТЬ...

Самое лучшее, что он написал за свою жизнь, это статья «Как я пишу».

### СУДЬБА УЛЫБАЕТСЯ КРИТИКУ

Критик, выступающий против бездарного автора, имеет такого могучего союзника, как судьба, которая уже достаточно покарала критикуемого.

## Между строк





В Голландии нет гор, но есть альпинисты. Скалу заменила одна из старинных церквей Амстердама.



Трудно сказать, кто кого изумил в этом матче: то ли безупречной техникой пражане москвичей, то ли сверхскоростями и маневренностью москвичи пражан.

Великолепен был Всеволод Бобров. В сравнении с ним поблек даже Владимир Забродский, которого называли «лучшим центрфорвардом мира». А ведь Забродский в ту пору, по крайней мере в Европе, считался непревзойденным техником хоккея. Казалось непостижимым, как удается ему на полном ходу перекидывать шайбу с одной стороны клюшки на другую, не отпуская ее ни на сантиметр. Шайба выбивала дробь по льду, а затем в какой-то неуловимый миг от мощного удара чуть ли не с центра поля летела в ворота с такой силой, что вратарю оставалось уповать лишь на случайную везучесть.

Изумил москвичей пражский вратарь Богумил Модрий — лучший тогда в Европе. Оказалось, что «вытянуть» вратаря из ворот, найти «мертвый» угол, куда бы не дотянулась его перчатка или клюшка, труднее, чем обвести подряд всех защитников. А главное, в самых безнадежных ситуациях его отличало поразительное хладнокровие.



#### Был ли гол!

И еще один хоккейный казус. Он произошел в Москве в матче между армейской клубной командой и игроками Московского авиационного института. Мощным броском защитник студенческой команды послал шайбу в армейские ворота. Шайба, ударившись о штангу, раскололась надвое, причем одна половина отлетела к борту, а другая угодила в сетку ворот. Как быть — засчитать гол или нет? В хоккейных правилах такой случай не предусмотрен. Тогда судья принял решение, исходя из практики родственного футбола. А там есть такой пункт — гол не засчитывается, если в ворота попал лопнувший мяч.



И еще с одним малоизученным явлением столкнулись москвичи — с защитником Станиславом Конопасеком. У нападающих буквально сыпались искры из глаз, трещали суставы, когда этот рыжеволосый детина с разгона «припечатывал» их к борту.

Когда Конопасеку в дружеской беседе говорили, что, мол, можно играть и поделикатнее, он, не вдаваясь в объяснения, только пожимал плечами. Недоумение Конопасека стало понятно лишь несколько лет спустя, когда нашим мастерам пришлось столкнуться с канадцами. Вот тогда они, наверное, уже не с осуждением, а с благодарностью вспомнили пражанина, преподавшего им первый урок «силовой борьбы».

Общий итог встреч был для нас лестным не только по счету (11:10 в нашу пользу). Яснее стали перспективы советского хоккея. И вполне реальным прозвучало пророчество Владимира Забродского: «Я не сомневаюсь, что советская команда может в короткий срок стать сильнейшей в мире».

#### «В СТОКГОЛЬМЕ — РЕВОЛЮЦИЯ!»

Это произошло в феврале 1954 года. «В Стокгольме — революция! Никогда еще королей не свергали с трона столь бесцеремонно», — писали шведские газеты.

Речь шла о канадских «королях хоккея», потерпевших в финальном матче сокрушительное поражение от советской сборной. Семь шайб пропустил заморский вратарь, признанный лучшим в турнире, и лишь двумя ответили канадцы.

Так сбылось пророчество Владимира Забродского.

Впрочем, для нас оно не было откровением. Примерно то же самое, что и Забродский, говорил и Михаил Якушин, только двенадцатью годами раньше, когда о премудростях хоккея с шайбой мы могли судить только по скупым строчкам спортивной хроники.

Михаил Якушин утверждал (хоккей с шайбой он увидел в Париже во время поездки советских футболистов во Францию), что богатейшие традиции русского хоккея, резерв искусных игроков-скоростников позволят нам за несколько лет создать отечественную школу хоккея с шайбой, равной которой не будет в Европе. Это было авторитетное мнение тонкого знатока, «профессора хоккея», отмеченное не бахвальством, а скрупулезным анализом.

Тогда к мнению Якушина и других поборников хоккея с шайбой не прислушались, и только в 1947 году был сделан первый робкий шаг. Спустя восемь лет он привел нас к вершинам мировой славы.

#### «ТАЙНОЕ ОРУЖИЕ РУССКИХ»

Для канадцев Стокгольм был сюрпризом. А европейцы, хотя в душе и радовались крушению «титанов», не могли прийти в себя от изумления.

Сенсация требовала объяснений Их искали в высокомерии канадцев, которые перед финальным матчем не пожелали даже взглянуть, каков их соперник в игре, всячески преувеличивали элемент неожиданности. И мало кому пришла в голову простая мысль, что на Королевском стадионе на пьедестал почета взошел представитель новой самобытной школы хоккея, школы, обогащенной вихревым темпом русского хоккея и комбинационностью футбола. Это и было «тайное оружие русских», которое искали, да так и не обнаружили буржуазные специалисты спорта, считавшие канадцев образцовыми исполнителями единственно возможных и привычных схем игры.

Школу представляют люди. И в среднем игроке, и в яркой индивидуальности проявляются ее богатство и многообразие.

Канадского хоккеиста ни с кем не спутаешь. Помните Ковальчука из «Келовны Пеккерс»? Без тени раздумья, не жалея ни себя, ни соперников, он бросался в любую «свалку» и, словно боевой конь, направленный умелым ездоком, разворачивался во всю мощь, одержимый одним желанием — смять противника.

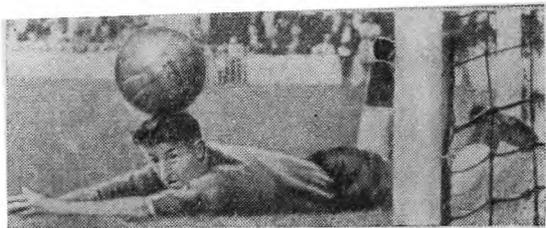
Пожалуй, зря москвичи освистывали этого «злого» в бою и добродушного в жизни парня. Здесь не было намеренной грубости. Ковальчук — типичный представитель канадской школы хоккея.

Или Дьюсбери — «черный ястреб» из «Белвилл Макфарландс», команды, которая увезла из Праги золотые медали. Про него даже земляки говорили: «В одном Оле сто процентов нашего хоккея».

Двухметрового роста, с квадратной челюстью и по-детски наивными глазами, он в одном из матчей просидел восемнадцать минут на скамье штрафников за грехи, которые у нас оценили бы не менее, чем в пятнадцать суток.

Отвага, физическая мощь, подкрепленная незаурядным знанием технических приемов и умением выполнять их, неукротимость в схватке — самые типичные черты канадского хоккея, основы всей школы.

Всеволода Боброва, Евгения Бабича, Алексея Гурышева, Николая Хлыстова, Василия Трофимова тоже нельзя ни с кем спутать. Они тоже были типичными представителями своей школы.



Можно и так отбивать мячи. Вратарь лондонской команды «Тоттенхэм Хотспурс» спасает команду от гола...



Эта типичность — в скорости бега, в привычке чувствовать себя одним из рычагов комбинационного механизма, рычагом, который, несмотря на органическую связь с машиной, обладает всеми степенями свободы.

Тренеру, создавшему такой механизм, легко было решать любые тактические задачи. Причем таких великолепных игроков, как Бобров и Бабич, тренерская схема не связывала, она помогала сделать все, что у них было яркого, индивидуального, главным оружием команды — оружием, перед которым не устояла хваленая канадская команда.

Так было в Стокгольме, так повторилось два года спустя в Кортине д'Ампеццо.

#### НА ПЕРЕПУТЬЕ

Знал ли Всеволод Бобров, когда он с кубком в руках покидал пьедестал почета у подножья Доломитовых Альп, что его наследникам так долго не придется взойти на эту высшую ступеньку? Знал бы — продлил сладкое мгновенье.

Вот уже четыре года, как с уходом старой гвардии, начинавшей свой путь на просторах полей русского хоккея, мы не можем вернуть утраченных лавров.

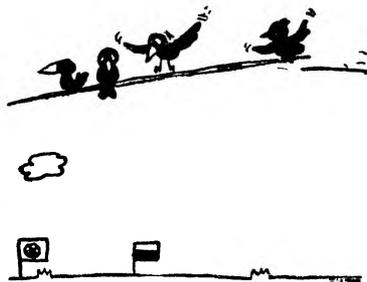
Наша школа уже и в глазах зарубежных критиков не эксперимент, а прообраз будущего хоккея, во всяком случае, хоккея более творческого и, честно говоря, более интересного, чем канадский. Послушаем хотя бы президента Европейской федерации хоккея Джона Ахерна. Он говорил: «Канадский хоккей похож на регби. Он так же чужд европейцам, как и американский футбол. В любой европейской столице зритель



#### «ПОМИРАТЬ НАМ РАНОВАТО...»

Это было в позапрошлом году на мировом хоккейном чемпионате в Праге. В одном из последних матчей турнира наши встретились со шведами. Скандинавы, на редкость неудачно выступавшие в этом чемпионате, неожиданно разыгрались и после первого периода повели со счетом 2 : 0.

Вот тогда в перерыве под сводами пражского зимнего стадиона и пропела голосом Бернеса пластинка: «Помирать нам рановато...» Нарочно ли завели ее наши пражские друзья, стремясь подбодрить советских хоккеистов, или это был случайный выбор, но для советской сборной знакомая мелодия и знакомые слова прозвучали боевым призывом. Не советские мастера, а шведы ушли с поля побежденными.



отдает предпочтение Стэнли Мэтьюзу, и никогда грубому, прямолинейному игроку, хотя бы тот и «забивал голы».

Но сохранила ли сегодня наша школа хоккея всю свою самобытность?

Пожалуй, канадцы, полностью используя традиции своего хоккея и кое-что переняв у нас, стали для нас более грозными соперниками, чем были в Стокгольме.

Разгром «отшельников», побывавших в Москве не так давно, мало что доказывает. Мы увидели у себя не сильнейшую, а одну из посредственных, «рыхлых» команд (есть и такие в Канаде). Гордый титул победителя «Кубка Алана», увенчавший «Чатам Мэрунс», — это скорее спортивная случайность.

Вспомним аналогичный случай, когда к нам пожаловал американский чемпион «Броктон». Американцев с завидной легкостью громили на льду Дворца спорта (общий счет заброшенных и пропущенных шайб 62 : 7 в пользу наших сборных и клубных команд). А вот на олимпиаде в Скво Вэлли именно американцы оказались сильнейшими. Сдается, что и в начале нынешнего сезона мы познакомимся с канадским вариантом американского «Броктона».

Хорошо или плохо, но мы освоили многое из технического арсенала канадцев. Риском сказать, что даже такие скромные по своим возможностям игроки, как Деконский или Петухов, умеют выполнять приемы, которых не имели на вооружении ни Бобров, ни Бабич. И все же наш хоккей не вырос, мало чем обогатился.

Список утрат, пожалуй, длиннее, чем список приобретений. Так явно не хватает молодой поросли. Первый и главный минус — нет настоящей жажды спортивной борьбы, подкрепленной отвагой.

Самый типичный пример — молодой армеец Вениамин Александров, игрок, в котором поспешили увидеть преемника Всеволода Боброва.

Быть может, и не стоило упоминать Вениамина Александрова, если, мягко говоря, малодушие на чемпионатах мира в самый острый для команды момент не было бы свойственно и другим молодым игрокам.

Годами наши авторитетнейшие тренеры, как только опустится занавес над зимним сезоном, провозглашают одной из самых важных и актуальных задач воспитание в молодежи мужества, бойцовских качеств. Провозглашают и... не воспитывают.

Всем ясно — и тренеру и болельщикам — без закаленных молодых хоккейных бойцов канадцев не сокрушить. Тут не поможет самая совершенная тактика. Кажется, наши тренеры сборной могли бы уяснить эту несложную истину на примерах игр в Скво Вэлли и особенно в Праге.

В Чехословакии канадцы играли на редкость грубо. Уже в одном из первых предварительных матчей в Братиславе они, используя весь свой богатый арсенал запрещенных приемов, устроили чехословацким хоккеистам форменное побоище. Это была «психическая атака», предпринятая с единственной целью — устроить противника.

Молодые чехословацкие мастера не испугались. В финальном матче они бурным отважным натиском смяли «макфарландцев» и взяли реванш.

Но вот на нашу команду «братиславская репетиция» подействовала удручающе. И когда в Праге она встретилась с канадцами, наши хоккеисты, словно заранее смирившись с поражением, действовали как застенчивые ученики, хотя на сей раз «макфарландцы» играли корректно.

Многое утрачено, мало приобретено. И не потому ли за два последних года мы начинаем слепо копировать и в тактике, и в отдельных приемах канадский хоккей в его далеко не лучшем варианте?

Побывайте в Сокольниках. Как часто над искусственным катком слышится милый хоккеисту нестройный рев: «Дави!».

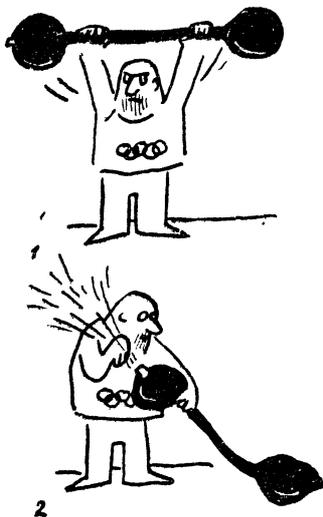
От тренеров этого не услышишь. Но иной раз их многословное стратегическое напутствие своим питомцам, ей-богу, можно было бы заменить этим коротким и неблагозвучным словом.

Подражателей ждет незавидная участь. Вспомним шведов на пражском турнире. Их тренировал канадец. А потом газеты писали, что «разучившись играть в свой шведский хоккей, скандинавы не научились и канадскому». В итоге шведы оказались в хвосте турнирной таблицы.

Иное показали молодые американские хоккеисты, которые через год стали чемпионами мира, обыграв и нас и канадцев. Кажется бы, у американцев и канадцев и школа хоккея одна, и схожи традиции. Уж кому, как не им, копировать канадский стиль? Но вот в Праге американцы поразили остроумной комбинационной игрой. Это был не канадский, а в лучшем смысле европейский стиль.

Быть может, читателю покажется, что в статье слишком сгущены краски. Ведь не забыли же наши хоккеисты путь к пьедесталу почета, хотя и давно не были на его высшей ступеньке!

Нет, автор статьи — не пессимист. И он убежден, что советские хоккеисты вернут себе славу сильнейших в мире. Нынешние «осечки» — явление временное. Количественный рост армии наших хоккеистов в ближайшие годы не может не привести к большим качественным изменениям. Армия подтягивает резервы. Они обеспечат успех в грядущих сражениях.



## Вечер в гостинице «Украина»

Все двадцать восемь этажей гостиницы «Украина» заполнены учеными и рабочими, министрами и дипломатами, актерами и журналистами, писателями и инженерами, купцами и предпринимателями, съехавшимися и слетевшимися в Москву со всех концов света.

Круг моих новых знакомых быстро растет. Я едва успеваю записывать их имена. Слышу десятки реплик и восклицаний: гости обмениваются впечатлениями. Гости разные, впечатления разные, и все-таки в этом многоязыком говоре выделяются слова, понятные без перевода: Мавзолей... Университет... Третьяковка... «Лебединое озеро»... Спутник.

В гостинице целая армия переводчиков. Это девушки, окончившие институт иностранных языков. Многие из них настоящие полиглоты. Дирижирует этим «оркестром» заведующий бюро обслуживания Павел Петрович Давыдов, он же любезно помогает мне интервьюировать итальянских туристов.

Часто приходится обращаться к дежурному администратору. Но ему не до меня: возле барьера — новые и новые приезжие. И поэтому дежурный делает знак рукой, приглашая познакомиться с карточкой. Как только я очутился по ту сторону барьера, гости, приняв меня за работника гостиницы, словно по команде хлынули ко мне.

В гостинице еще раз убеждаешься, что в наши дни нельзя себе представить Москву без мужественного кубинца, вступившего впервые на московскую землю, без жителя Африки, только что получившего свободу, полного смелых планов и идей, впитывающего с жадностью все новое, без сдержанного англичанина или американца, бомбардирующего вопросами переводчиц и администраторов.

Не успел житель Судана или Сомали налюбоваться шапкой-ушанкой, купленной только что в универмаге, как в холл входит его земляк. Он опускает воротник своего легкого пальто, снимает шарф...

Вот только что прилетевшие два марокканца. Первый, лет сорока, с тонкими чертами лица, острым взглядом, — генеральный директор агентства «Маграб араб-пресс» Мехди Бенуна. Второй — молодой, худоща-

вый, с чуть-чуть насмешливыми глазами — Мустафа Эль-Аллауи, генеральный директор газеты «Аль-Фагр».

— Русский язык, — сказал старший, владеющий свободно арабским, французским, английским, испанским, итальянским, немецким, — до войны не был популярен в Африке. Сейчас интерес к нему резко повысился. Ваш язык стал интернациональным.

Молодой марокканец добавляет:

— Господин Мехди Бенуна говорит и по-русски.

И я слышу дружеские слова о Советском Союзе, о советских людях, которыми восторгаются на всех континентах, которых любят за их самоотверженную, последовательную борьбу за мир.

Тут же марокканцы посвящают меня в свою журналистскую жизнь. Поразила молодость генерального директора газеты «Аль-Фагр» — ему всего двадцать шесть лет.

Господин Мехди Бенуна, как бы догадавшись об этом, замечает:

— Учтите, Мустафа Эль-Аллауи в своей газете совершил настоящую революцию. Да, он молод, а одержал победу над газетными китами, матерыми французскими капиталистами. Он добился того, что редактируемая им газета действительно выражает взгляды народа.

Подошедший к нам парижский мыловар Морис Бьер заметил, что в семье у него тоже интересуются русским языком. Попу-

Прилетели кубинские журналисты...



лярную песню «Кипучая, могучая...» исполняют хором всей семьей.

Мое внимание привлекли кубинцы, которые прямо с аэродрома, заснеженные, вошли в холл гостиницы. Интервью с ними было самым коротким. Пока что их впечатления о Москве ограничиваются дорогой от аэродрома до «Украины». Но надо было видеть, как наши люди встречают гостей, с какой любовью глядят они на посланцев маленькой свободолюбивой страны, к которой в наши дни приковано внимание всего прогрессивного человечества.

## С РАЗНЫХ КОНТИНЕНТОВ

Высокий молодой человек в белом свитере, весело смеясь, сказал:

— Всю дорогу от Гаваны до Москвы мы только и делали что одевались,— и показал пальцами на свитер.

Это Хосе Пардо Льяда, директор газеты «Ла Палобра».

— Мы только что прибыли в вашу страну,— говорит он.— Для всех нас это не просто путешествие, а исполнение самой заветной мечты.

— Мы еще мало увидели,— дополняет другой член делегации.— Но зато много почувствовали, поняли, что такое гостеприимство, дружелюбие советских людей.

Один из кубинских журналистов замечает, что он, в свою очередь, хотел бы побеседовать с советскими людьми.

Его тут же знакомят с молодой четой. Это Анатолий Николаевич Глущенко, механик одного из автопарков в Якутии, и его жена Клавдия Ивановна — ветеринарный врач. На руках у нее — сын Саша, ему три месяца, он родился в дороге. Анатолий и Клавдия Глущенко жили на Курилах, на Сахалине, а теперь переехали поближе к родной Полтаве в... Якутию. Мы объяснили кубинцам, что значит «поближе». Расстояние от Якутска до Полтавы примерно такое же, как от Гаваны до Москвы, и летают туда на таком же самолете, на каком они сами прилетели в Москву.

Анатолий и Клавдия Глущенко рассказали кубинским друзьям о своем крае, о труде советских людей, о борьбе с суровой природой, о новых открытиях ученых...

Саша родился в дороге...



Здесь же, в гостинице, живут советские инженеры, ученые, архитекторы, приехавшие по неотложным делам. Все они, несмотря на свою занятость, рады рассказать о своей работе, поделиться впечатлениями, планами. Ленинградский инженер возвращается домой, защитив докторскую диссертацию. Директор киргизского совхоза Джамангулов Асанал возвращается с Выставки достижений народного хозяйства СССР, где рассказывал о работе скотоводов своей республики. Дальневосточник геофизик говорит о том, какое это большое счастье знать, что началось промышленное освоение открытого тобой месторождения...

## ОНИ ПРИЛЕТЕЛИ ИЗ СУДАНА

Высокий юноша с открытой курчавой головой только что прилетел из Судана. Рядом с ним я увидел человека в белой одежде и чалме, покрытой белой шалью. Наряд этот напомнил мне одежду бедуина, известную с детства по картинкам в учебниках географии. Это оказались отец и сын Эль-Фадли-Эль-Моинши. Отцу пятьдесят лет. Он купец, торгует в родном городе строительными материалами, сын — студент. Прилетели они в Москву в качестве туристов. Хотят своими глазами увидеть город, о котором всюду так много говорят. В Москве у них масса дел. Отец намерен повстречаться с представителями деловых кругов Советского Союза, чтобы выяснить возможность закупки строительного леса. Сын хочет увидеть своих однокашников, которые теперь учатся в Московском государственном университете. Ему надо выяснить, сможет ли он перевестись в Москву.

— Захворал я немного в дороге,— говорит отец.

И тут сын вспоминает, что в Москве, в медицинском институте, учатся его товарищи; можно будет их попросить, и они осмотрят отца.

— Бесплатно лечат? — недоумевают суданцы.



— Зачем же? — говорю я.— У нас есть специальная поликлиника, где лечат интуристов.

— Да,— колеблется отец,— но ведь это, наверно, дорого стоит.

— У нас лечат всех без исключения бесплатно,— говорю я.

— Как бесплатно?! — недоумевают гости. В номер к суданцам входит несколько молодых йеменцев. Узнав, что в гостинице остановились их соседи по Красному морю, они поторопились к ним. Йеменцы возвращаются из Одессы, где проходили практику в порту. Они свободно говорят по-русски.

— В Советском Союзе мы научились не только говорить, но и работать, — замечает Мухамед Абдул вахаб Арики. — Приедем к себе в Ходейда и покажем на практике.

## МОСКВА — ПАРИЖ

Парижский мыловар Морис Бьер приехал по делам фирмы «Лотье-фис». В Москве он четвертый раз, знает ее не хуже иного москвича. Он говорит, что с каждым годом Москва приближается к аэродромам, появляются новые кварталы, новые улицы...

Морис Бьер проводит много времени на московских фабриках «Свобода» и «Новая заря». Ему нравятся наши люди своим дружелюбием, сердечностью.

— Мне приходится бывать и в других странах. Там знакомства с людьми обычно ограничиваются сухими, деловыми связями, — говорит он. — А в Москве у меня настоящие большие друзья. Они очень внимательны ко мне, я многому у них учусь, рассказываю им и о наших делах, выступаю на фабрике «Свобода» с лекциями.

Мне известно, что у Мориса Бьера — жена Кристина и четверо детей. С особой нежностью говорит он о самом младшем сыне — Франсуа.

— А что, — говорю, — если заодно и упомянуть, что где-то в Париже живет мальчик Франсуа, что ему пять лет, что у него большие черные глаза и каждое утро, просыпаясь, он спрашивает у матери — где наш папа? На что госпожа Кристина Бьер неизменно отвечает...

— В Москве, дает интервью корреспондентам, — шутит Морис Бьер. — Но зачем тогда писать: «Где-то в Париже». Я вам дам свой адрес, — и он записывает его в мой блокнот. — Это между Лионским вокзалом и зоологическим парком. Может, знаете? В тридцатых годах там была Всемирная вы-



Парижанин Морис Бьер рассказывает о своих детях...

ставка... Давайте мысленно совершим путешествие ко мне домой. Лифт доставит вас на девятый этаж, и как только нажмете кнопку, навстречу выбежит Паскаль, мой старший — ему сегодня исполняется двенадцать лет. У него точно такие же черные глаза, как и у Франсуа. Паскаль пригласит вас в зал. Но не успеете вы и шагу сделать, как возле вас появится семилетний Лионель и, громко поздоровавшись, даст вам игрушку. За ним придет десятилетняя Кристина. Она ласково улыбнется и побежит за матерью. Та, к сожалению, не сможет сразу появиться: готовит на кухне начинку для сладкого пирога, и возле нее топчется неравнодушный к сладкому Франсуа. В конце концов встретит вас и госпожа Бьер. Тем временем вы успеете разглядеть, что в ваших руках матрешка, да, матрешка, купленная в Москве, в магазине

## ДАР ДРУЖБЫ

Изящный кубок из серебристого металла. На нем надпись: «От муниципалитета Александрии».

Как попал этот кубок в витрину Музея истории и реконструкции Москвы? Его привезли недавно в столицу Советского Союза как дар дружбы итальянские коммунисты Копурро и Минетти — герои борьбы против фашистских захватчиков.

Плечом к плечу с ними в партизанских отрядах воевали и русские, бежавшие из концлагерей.

Одной из партизанских бригад командовал Копурро. Фашисты искали его по всей стране. Однажды врагам удалось захватить героя. Они всадили в патриота пять пуль. Через сутки к месту расстрела пробрались партизаны, чтобы унести тело своего командира и похоронить. Но оказалось,

что Копурро еще жив. Его удалось вылечить.

Копурро и Минетти, в годы войны командовавшие партизанским районом, и сейчас не забывают своих русских друзей. Привезенный ими кубок — свидетельство любви и уважения к советскому народу.

*Московский*  
**КАЛЕЙДОСКОП**

«Детский мир». Впрочем, долго удивляться вам этому не придется, потому что с появлением госпожи Бьер комната наполнится знакомым запахом московских духов «Вечер». И вот появляется сам Бьер. После обоюдных приветствий я предлагаю вам московскую сигарету, а затем мы пройдем в кабинет и выпьем по рюмочке «Столичной». Вы не без удивления обнаружите на стеллажах книги: «Одетые камнем» Ольги Форш, «Педагогическую поэму» Макаренко, «Девятый вал» Эренбурга, «Хождение по мукам» Толстого, «Весну на Одере» Казакевича, широко известную книгу о пребывании Н. С. Хрущева в США «Лицом к лицу с Америкой», альбомы с фотографиями Кремля, Эрмитажа и множество русских сказок...

— Все это здорово,— говорю я Бьеру.— Но куда же девался Франсуа?

Морис Бьер лукаво глядит на меня:

— Вы, конечно, помните о том, что в нашей семье существует маленький хор и мы дружно исполняем на русском языке популярны советские песни. Так вот, перед обедом я приглашу вас на прогулку, а в это время Франсуа, который считается лучшим солистом нашего хора, заставит всех прорепетировать к приходу московского гостя «Кипучую, могучую...»

### ЧАСОВЩИК С МЫСА ДОБРОЙ НАДЕЖДЫ

На нем шляпа из толстого фетра. Весь багаж — небольшой, туго набитый саквояж. Мне показалось, что человек этот что-то сказал по-русски. Когда он направился к лифту, я узнал от дежурного, что передо мной только что стоял гость из Южной Африки. Он прибыл в Москву из города Кейптаун, с мыса Доброй Надежды, с самой южной точки Африки.

Вскоре я увидел его в бюро обслуживания, где он справлялся о самолете на Лондон.

— Здравствуйтесь,— сказал я ему по-русски, не уверенный в том, что он поймет меня.

— Здравствуйтесь,— ответил он и, глянув на мои часы, спросил:

— «Победа»?

— «Победа»,— ответил я.

— Часы хорошие, ничуть не уступают швейцарским. Ко мне такие часы заносил в мастерскую в Кейптауне один матрос с китобойной флотилии «Слава». У него разбилось стекло, ну я заменил ему, а заодно заглянул в механизм... Очень хороший механизм! Вот я и принял вас за старого знакомого.

— По часам?

— По часам.

— Но такие часы у многих, едва ли не у всех,— смеюсь я.

В Москву часовщик прибыл, чтобы повидаться с братом из Литвы, которого не видел тридцать пять лет.

— Брат,— сказал он,— участвовал в Великой Отечественной войне, был ранен...

В вестибюле я не раз уже наблюдал



П. А. Лагутко из Пенсильвании  
с московской обновкой...

встречи братьев, сестер, не видевших друг друга десять лет. Расстались маленькими и вот встретились пожилыми людьми.

...Семидесятирехлетний Петр Андреевич Лагутко возвращался из деревни Озеричино, Пуховичского района, Минской области в штат Пенсильванию. В Белоруссии у него четверо братьев, восемнадцать племянников, множество друзей родни. Он уехал из Белоруссии еще в 1912 году. И вот на старости лет его потянуло в родные места.

— Тянет сюда,— говорит он.— Плачу как ребенок. Повстречал своих однокашников. Вместе телят пасли, вместе купались в речке, а сейчас они, как и я, старики. Какое это удовольствие говорить с близкими людьми, быть вместе с ними. Работал вместе с родней на сенокосе. Показалось, что я опять молодой. Очень мне нравится в Белоруссии... Открыл свое сердце братьям и племянникам, и они рады принять меня. Возвращаюсь в Америку, с тем чтоб снова приехать в Советский Союз, но уже навсегда.

### ТРОЕ ИЗ МОНАКО

Фекини Шарль — владелец ресторана в Монако. В Москву он приехал вместе с женой Камиллой и гестем Пьером. Шарль немножко удивлен, что к нему обращается советский журналист.

— Я приехал как турист. Что я могу сказать? Москва — большой, современный город. Очень понравился мне Кремль, Красная площадь, Московский университет, метро. Между прочим, могу вам сообщить, что у нас в Монако кто-то пустил слух, что московским метро могут пользоваться только зажиточные люди. Теперь я убедился, что это абсурд... Я из очень маленького государства. Вы, наверное, слышали о Монако. У нас существуют такие же правительственные учреждения, как в любом государстве, но все наше государство может свободно уместиться на территории вашего университета.

Тут же ресторатор замечает, что, по его мнению, официанты у нас очень медлительны.

— Я быстро бы вылетел в трубу,— говорит он,— если бы у меня в ресторане так обслуживали.

Я спрашиваю у Фекини Шарля, что думают у них, в Монако, о международных делах.

— На этот вопрос я не смогу вам ответить. В Монако политикой не занимаются. Это дело лучше знают где-либо в Париже или Марселе.

Во время нашего разговора к нам подходит марсельский сварщик Ги Тестон. Он принимал участие в строительстве завода по приготовлению кормов для скота. Вместе с ним работали еще несколько французов. Сварщик показывает фотографию башен, построенных французами совместно с нашими рабочими в Таллине. В отличие от моего предыдущего собеседника Ги Тестон охотно говорит о политике:

— Около десяти месяцев мы работали в советской стране и хорошо понимали друг друга. Мы всегда выполняли задание раньше намеченного срока. Это доказывает, что русские и французские рабочие нашли общий язык. Советские люди, как и французские, отличаются большим трудолюбием, и им одинаково дорог мир.

Ги Тестон у нас не только строил: в Таллине он женился на советской девушке, медицинской сестре Сильвии Рондле.

— Судьба есть судьба,— говорит он.— Но люди устраивают сами свою судьбу. Теперь я к вашей стране ближе, чем прежде, можно сказать, в родстве.



Марсельский сварщик Ги Тестон (сидит) встретился в гостинице с другом из Таллина инженером В. А. Титаренко...

...Это рассказ всего лишь о нескольких встречах с гостями Москвы. Со многими еще хотелось бы познакомиться, но уже поздно. На Москву опускается ночь. Валит снег. Сквозь крупные снежные хлопья видно, как в окнах всех двадцати восьми этажей «Украины» зажигаются огни.

## МАСТЕР ЗЕЛЕНОГО ПОЛЯ

Как невозможно представить себе город без старожилков, так нельзя представить стадион «Динамо» без Алексея Тимофеевича Гришкина.

Когда двадцатилетний Алексей Гришкин приехал из деревни в Москву и впервые пришел на стадион, футбольного поля там не было. На его месте находился трек. В 1929 году решили достроить трибуны и сделать поле с беговыми дорожками.

Группа рабочих, в числе которых был и А. Т. Гришкин, долго искала специальный состав грунта, чтобы он был упругим и твердым, плотным и в то же время пористым. Не проще было найти и такой сорт травы, чтобы своими корнями она связала верхний слой почвы, образовала пружинистый дерн.

Уже давно не работают на стадионе рабочие той первой бригады. Остался один только Гришкин.

У него морщинистое, красное лицо, будто сожженное солнцем, огрубевшие темные руки. Потягивая еще тлеющую папироску и наблюдая за рабочими, копающимися на зеленом поле, он медленно рассказывает:

— Много на этом поле играло знаменитых футболистов. Помню, как тренировались здесь Федя Селин, Серега Стояров, Александр Квасников. Со многими был я знаком. Михаил Якушин и сейчас справляется о моем здоровье...

## Московский КАЛЕЙДОСКОП

Если вы придете на стадион, когда здесь идет тренировка, то среди разноцветных маек спортсменов, бегающих и прыгающих на дорожках и секторах, всегда увидите этого человека. Он не торопясь обследует метр за метром футбольное поле. У легкоатлетов спросит, как им нравится сегодня дорожка, не надо ли ее укатать, приподнять... И так с утра до вечера. Каждый день. Каждый месяц. Уже тридцать лет.

### ЗАМЕЧЕННАЯ ОПЕЧАТКА

На 79-й стр. этого номера в стихотворении А. Софронова допущена опечатка.

Вторую строку второго четверостишия следует читать так:

Какие б им слова ты ни готовил

Подписано к печати 23/XI 1960 г. А-04277. Тираж 60 000 экз. Формат бумаги 70 × 108<sup>1</sup>/<sub>16</sub>. Печ. л. 14. 19,18 усл. печ. л. = 21,812 + вкладыш = 22,693 уч.-изд. л. Заказ № 2143. Цена 50 коп.

Типография «Красный пролетарий» Госполитиздата Министерства культуры СССР. Москва, Краснопролетарская, 16.

50 коп.

